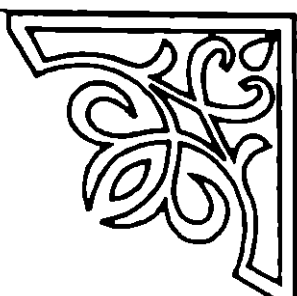
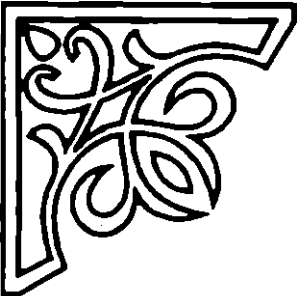


Николай
Данилевский

ГОРЬ ПОБЕДИТЕЛЯ



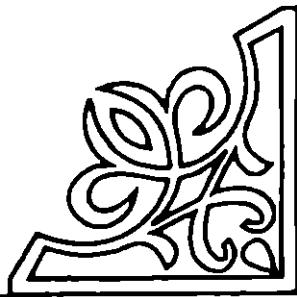
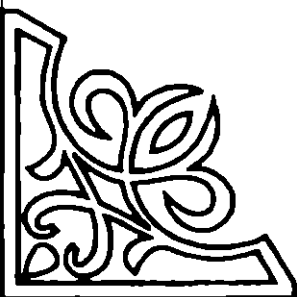




**Николай Яковлевич
Данилевский**

ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Политические статьи



«АЛИР»
ГУП «Облиздат»
1998

Данилевский Н. Я.

Д 18 Горе победителям / Вступительная статья, примечания, приложение А. В. Ефремова. — М.: «АЛИР», ГУП «ОБЛИЗДАТ», 1998. — 416 с.

Николай Яковлевич Данилевский, известный как выдающийся русский мыслитель, в своем фундаментальном труде «Россия и Европа» опередил на полстолетия поиски мировой историософской мысли. В настоящем издании представлен сборник публицистики Данилевского, вышедший в 1890 году и более не переиздававшийся. Политическая публицистика великого философа продолжает и развивает основные темы «России и Европы»: геополитическое будущее России, Россия и славянский мир, Запад как главный противник русско-славянского культурно-исторического типа. Кроме того, Данилевский касается крайне актуальных тогда и сейчас проблем внутренней жизни России, исследуя феномен русского нигилизма, а также polemизирует с латинскими пристрастиями Владимира Соловьева. Данное издание должно не только познакомить читателя с ранее труднодоступными работами Данилевского, но и расширить современное представление о мыслителе, с трудами которого, по словам В. В. Розанова «по сложности, по силе развиваемой мысли» не может сравниться ни одна работа, вышедшая из-под пера русских западников.

ISBN 5-89653-020-X

© Составление, оформление: издательство «Алир», 1998.

© Вступительная статья, примечания, приложение: А. В. Ефремов, 1998.

СТЕЗЯ НИКОЛАЯ ДАНИЛЕВСКОГО

Если жить суждено, и на свет
не родиться нельзя,
Как отрадна, о странник почивший,
твоя мне стезя.

«Памяти Данилевского»
А. Фет

...в нас есть бродило духа — совесть
И наш великий покаянный дар.
...В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, — рядом
С любым из европейцев — человек.

М. Волошин

В одной из своих статей К. Леонтьев писал о Н. Я. Данилевском, которого считал своим учителем, что «замечательный человек этот скончался, не доживши не только до заслуженной им славы, но и до справедливой оценки большинства своих русских сограждан». Однако, вскоре после смерти Данилевского его главное историософское произведение «Россия и Европа», во многом благодаря неутомимой деятельности Н. Н. Страхова, превратилась из «литературного курьеза», по предвзятой, но характерной оценке Владимира Соловьева, в «Библию славянофильства», по определению Павла Милюкова.

Негативная оценка творчества Данилевского в советское время сменилась ныне довольно значительным интересом к его работам. Первое, после 1917 года, издание в нашей стране «России и Европы», сделанное С. А. Вайгачевым в 1991 году, имело весьма крупный для такого рода литературы тираж — 90000 экземпляров, но уже в 1995 году в С-Петербурге было

воспроизведено 6-е дореволюционное издание этой книги с предисловием Н. Н. Страхова и статей К. Н. Бестужева-Рюмина.

Данилевский, крупнейший русский мыслитель, по праву возвращается на свое место, и имя его, наряду с именами К. Н. Леонтьева, Н. Н. Страхова, Л. А. Тихомирова, действительно является национальной гордостью великороссов.

Родился Николай Яковлевич Данилевский в селе Оберец Орловской губернии Ливенского уезда, т.е. в тех местах, откуда вышла чуть ли не большая часть создателей золотого века русской культуры. Род Данилевского происходил от малороссийского казачьего сотника, перебравшегося в Великороссию. Отец Николая Яковлевича — Яков Иванович (1789-1855) во многом предопределил путь сына. 1812 год застал его студентом-медиком Московского университета (сын станет профессиональным биологом), в 1843-49 гг. Яков Иванович — генеральный консул в Сербии, что, конечно, повлияло на будущее славянофильство автора «России и Европы». Наполеоновское нашествие привело Якова Ивановича в ряды русской армии (по другим сведениям он служил с 1806 г.), где он не раз отличался в сражениях, был награжден множеством орденов и медалей, в том числе и орденом св. великомученика Георгия, и получил ранение в «битве народов» под Лейпцигом. Умер он 2 августа 1855 года после смотра ополчения, начальником которого был избран и которое готовилось к борьбе с англо-французской армией, в начавшуюся в это время Крымскую войну.

Николаю Яковлевичу было тогда 33 года. К этому времени он успел окончить Царскосельский лицей, где на всю жизнь сдружился с братом известного путешественника П. П. Семенова-Тянь-Шанского Николаем Петровичем, впоследствии крупным государственным деятелем, и полный курс естественного факультета Петербургского университета.

Н. Страхов вспоминал о Данилевском-студенте: «Между студентами, вдруг, пронесся говор: «Данилевский, Данилевский!» — и я увидел, как около высокого молодого человека, одетого не в студенческую форму, образовалась и стала расти большая толпа. Все жадно слушали, что он говорит, ближайšie к нему задавали вопросы, а он отвечал и давал объяснения. Дело шло о бытии Божиим и о системе Фурье».

Увлечение Фурье привело молодого Данилевского на «пятницы» М. В. Петрашевского, которые он посещал почти три года 1845-48 гг., однако в обществе «петрашевцев» Данилевский развивает только экономическое учение Фурье, не имея каких-либо политических мотивов. Здесь он встречается молодого Ф. М. Достоевского, который позже будет вспоминать Данилевского того периода, «как яркого фурьериста», а также Н. А. Спешнева, с которым он даже собирался издавать «Энциклопедию естественных и исторических наук». (Ряд литературоведов считают Спешнева прототипом известного персонажа романа «Бесы» Ф. М. Достоевского — Николая Ставрогина).

Летом 1849 года, когда Данилевский вместе с П. П. Семеновым (будущим Тянь-Шанским) изучал флору Тульской губернии, Данилевского арестовали. После нескольких месяцев, проведенных в Петропавловской крепости, в 1850 году, он признается невиновным, однако высылается из Петербурга и зачисляется в канцелярию Вологодского губернатора. В Вологде Данилевский пишет несколько научных статей, посвященных природе этого края, в том числе «Климат Вологодской губернии», за которую получает премию русского географического общества. Тогда же он женится на Вере Николаевне Беклемишевой, с которой успел объясниться накануне ареста.

Вскоре Вера Николаевна умирает от холеры. Ее неожиданную смерть Данилевский переживал крайне тяжело. (Через два года от той же болезни скончается и отец Данилевского).

В конце 1852 года Николай Яковлевич переводится в Самару. Летом 1853 года он отправляется в научную экспедицию, руководителем которой был знаменитый естествоиспытатель, основатель эмбриологии К. Бэр. Во время этой экспедиции Данилевский познакомился с Т. Г. Шевченко, о чем напишет в одном из писем: «Я с ним сблизился до самой искренней дружбы». В дальнейшем Данилевский совершил еще несколько экспедиций и его труды легли в основу законодательства Российской империи по рыболовству.

В 1861 году Данилевский вторично женился. Его избранницей стала Ольга Александровна Межакова, дочь умершего вологодского друга. Следует отметить, что родной бабушкой Ольги Александровны была двоюродная сестра св. Игнатия Брянчанинова. В 1869 году Данилевский вместе с семьей перебирается на южный берег Крыма, в Мшатку, где его позже посещали И. С. Аксаков, Н. Н. Страхов, Л. Н. Толстой. В том же году в издаваемом В. В. Кашпиревым журнале «Заря» появляется знаменитая впоследствии книга Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому».

В «России и Европе» Данилевский впервые сформулировал теорию культурно-исторических типов, каждый из которых самодостаточен, развивается индивидуально, имеет для своего развития не только пространство, но и время, т.е. не бесконечно прогрессирует, а рождается и умирает как явление не только социальное, но и природное, причем «начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа, каждый тип вырабатывает ее для себя, при большем или меньшем влиянии чуждых ему предшествующих или современных цивилизаций». Как отмечал К. В. Султанов, «в основу схемы Данилевского положена концепция культуры в ее современном антропологическом, или точнее, этнопсихологическом

смысле, основной тезис которой гласит: культура — есть объективизация национального характера».

А знаменитый П. Сорокин утверждал, что «Данилевский выдвинул несколько общих принципов современной социологии и антропологии, относительно диффузии, миграции, экспансии и мобильности культуры». Конечно, концепция Данилевского родилась не на пустом месте и в Европе, России и на Востоке раньше высказывались мысли, сходные с идеями Данилевского, но формула и обоснование самого принципа культурно-исторических типов — безусловный приоритет русского мыслителя.

Данилевский помог русскому обществу понять причины не любви Европы к России, причем любой Европы к любой сильной России. Россия огромная, чужая, в общем, другая. Даже в наиболее политически близкой к России монархии Гогенцоллернов, почти столетие бывшей нашим неизменным союзником, рейхсканцлер граф Каприви смог сказать адмиралу Тирпицу в 1893 году: «Мы сможем думать о создании мощного германского флота (т.е. о борьбе с Англией — А. Е.) лишь по удовлетворению психологической потребности народа в войне с Россией». То есть нужно воевать с Россией, не имея на это веских рациональных причин, либо выдвигая эти причины, как прикрытие иррациональной «психологической потребности». Кстати, и русские, в большинстве интеллигенты и западники, оказавшись в Европе в эмиграции после октября 1917 г., вдруг устами Александра Вертинского провозгласили:

Здесь живут чужие города
И чужая радость и беда
Мы для них — чужие навсегда!

Действительно, в ненависти к России и славянам вообще сходились представители совершенно различных политических групп и партий.

В лагере ненавистников России оказывались непримиримые враги — лорд Пальмерстон и Маркс, Наполеон III и орлеанисты, Чарльз Диккенс и банкиры Сити. Европа «жидовствующая, биржевая, спекулирующая» и Европа «демократическая, революционная, социалистическая, начиная с народно-революционных партий... до космополитической интернационалки» — все сходились на нелюбви к исторической России, отметил Данилевский в статье «Как отнеслась Европа к русско-турецкой распре».

Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас.

Писал Пушкин, гениально почувствовав самую сердцевину двух, иногда похожих, но все-таки очень разных вселенных — России и Европы.

Трагически воспринималась Данилевским потеря образованным русским обществом ясного понимания конкретных национальных задач, не говоря уже о метафизике национально-государственного бытия. Утратившие под ногами твердую почву отеческих преданий, «повторяя, как попугаи, чужие слова и мысли» российские интеллигенты стали восприимчивы к любым доктринам, вплоть до самых нелепых и разрушительных. Русские головы все более засорялись европейским идеологическим мусором, и эта ядовитая грязь вызывала в России болезнь отречения от национальных корней, которую Данилевский определил как европейничанье (можно сказать — европобесие). Ныне эта болезнь, увы, приняла у нас еще более страшную форму — американобесие.

На знамени, под которым выступал Запад против России, было написано: «Свобода» и «Культура». Защита европейской «свободы» от русского (или советского, что в данном контексте одно и то же) «деспотизма», и европейской «цивилизации» от

восточного «варварства», и, якобы, существовавших русских планов подчинения Европы — идеологическое прикрытие всех нашествий на Россию с Запада.

Данилевский, понимал свободу как категорию религиозную и бытийную, а социальным основанием ее считал близость к земле, к почве. Либеральное толкование свободы, как юридически ограниченной воли и набора различных «прав», представлялось ему чисто формальной вульгаризацией этого сложнейшего понятия, причем понятия, прежде всего, богословского, а не, допустим, политического.

Запад отверг святоотеческую христианскую диалектику и заменил ее заимствованной из языческого Рима идеей однолинейного бесконечного прогресса, где он — «запад» — является идеалом и эталоном для остального человечества, а прогресс — это постоянное развитие потребления, распространение секулярной культуры, уход в натуральную бытийность, — становится новой религией Запада.

По Данилевскому, «прогресс состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он прекратился бы), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях», т.е. действительное развитие возможно лишь при реализации всех потенций, заложенных в каждом народе.

Полная политическая реализация славянской идеи, по Данилевскому, состоит в создании Федерации, а точнее, империи-союза всей Восточной Европы во главе с русским Царем (отчасти эту идею реализовал Сталин, при создании т.н. Социалистического содружества, хотя, конечно, духовная основа этого содружества была совершенно иной, чем та, о которой мечтал Данилевский). Для реализации этого проекта в те времена было необходимо освободить славян от турецкого и немецкого господства, что было внешнеполитической задачей России, и сформулировать духовно-политический принцип, который мог бы

сплотить славянский мир. По мнению Данилевского, этим принципом была триада — Православие, Славянство, Крестьянский надел, включающая духовную силу Православия, племенную общность славян и социальную идиллию крестьянского землевладения. Историческая действительность, свидетелем которой был Данилевский, принесла ему, однако, больше разочарований, чем радостей.

Мысли Данилевского, высказанные в книге «Россия и Европа», придали новый интеллектуальный импульс славянскому движению в России, которое к этому времени в значительной мере уже исчерпало идейную базу старших славянофилов. Кроме того, естественнонаучное обоснование, сделанное Данилевским в своих выводах было понятнее людям 60-70-х годов, когда места Гегеля и Шеллинга в философской кумирне заняли Дарвин, Бюхнер, Мошотт, и когда необыкновенно вырос престиж точных и естественных наук.

Публицистические работы Данилевского были собраны и опубликованы Страховым в 1890 году в «Сборнике политических и экономических статей Н. Я. Данилевского». В разряд «политических» попали работы, которые можно разделить на две части. Первая часть состоит из статей, посвященных внешнеполитической проблематике. Это — «Россия и франко-германская война», «Война за Болгарию» и «Горе победителям». Вторая часть касается, главным образом, внутренних проблем России. Это — «Несколько слов по поводу конституционных вождений нашей либеральной прессы» и «Происхождение нашего нигилизма» с приложением критического этюда о латинофильских пристрастиях Владимира Соловьева, будущего критика идей Данилевского.

Политическая публицистика Данилевского, в сущности, продолжает и развивает те идеологические установки, которые были им сформулированы в «России и Европе».

Собственно, первая по времени написания политико-публицистическая статья «Россия и франко-германская война» (1871 г.) имеет подзаголовок «Дополнение к книге «Россия и Европа».

Стержнем публицистики Данилевского по-прежнему остается славянский вопрос, ибо Европа, особенно после русско-турецкой войны 1877-78 гг., выступила на стороне Турции, против славянства, причем выступила безоговорочно, отказавшись от маски непредвзятости и «честного маклерства». Бомбы, падавшие на православных сербов с американских самолетов в совсем недавнем прошлом лишь за то, что этот маленький славянский народ пытался сопротивляться мусульманскому и католическому натиску, как говорится, лишь продолжение традиционной политики Запада «другими средствами».

Страстно переживая происходящее, Данилевский без лживой и кощунственной «объективности» обличал политику европейцев — предельно корыстную, милитаристскую и цинично-фарисейскую одновременно. Жажда справедливости и страстное желание правды искупали у Данилевского некоторые недостатки стиля. «Статья «Горе победителям», говорящая о Берлинском конгрессе, есть, без сомнения, лучшая политическая статья, написанная на русском языке», — считал, может быть с некоторым преувеличением, Страхов. Следует отметить, что как «Россия и Европа», так и публицистика Данилевского полна идеями, составившими в дальнейшем целые научные школы. Без сомнения, некоторые части «Войны за Болгарию», например, глава «Константинополь» вполне попадает под определение «геополитической работы», а многие страницы его текстов могли принадлежать будущим евразийцам (последние, впрочем, всегда называли Данилевского среди своих предтеч).

В то же время антинигилистические выступления Данилевского, может быть не всегда броские, но зато тщательно продуманные и взвешенные, можно поставить в ряд с лучшей публицистикой того времени на эту тему. В этом смысле, статьи Дани-

сплотить славянский мир. По мнению Данилевского, этим принципом была триада — Православие, Славянство, Крестьянский надел, включающая духовную силу Православия, племенную общность славян и социальную идиллию крестьянского землевладения. Историческая действительность, свидетелем которой был Данилевский, принесла ему, однако, больше разочарований, чем радостей.

Мысли Данилевского, высказанные в книге «Россия и Европа», придали новый интеллектуальный импульс славянскому движению в России, которое к этому времени в значительной мере уже исчерпало идейную базу старших славянофилов. Кроме того, естественнонаучное обоснование, сделанное Данилевским в своих выводах было понятнее людям 60-70-х годов, когда места Гегеля и Шеллинга в философской кумирне заняли Дарвин, Бюхнер, Мошотт, и когда необыкновенно вырос престиж точных и естественных наук.

Публицистические работы Данилевского были собраны и опубликованы Страховым в 1890 году в «Сборнике политических и экономических статей Н. Я. Данилевского». В разряд «политических» попали работы, которые можно разделить на две части. Первая часть состоит из статей, посвященных внешнеполитической проблематике. Это — «Россия и франко-германская война», «Война за Болгарию» и «Горе победителям». Вторая часть касается, главным образом, внутренних проблем России. Это — «Несколько слов по поводу конституционных вождений нашей либеральной прессы» и «Происхождение нашего нигилизма» с приложением критического этюда о латинофильских пристрастиях Владимира Соловьева, будущего критика идей Данилевского.

Политическая публицистика Данилевского, в сущности, продолжает и развивает те идеологические установки, которые были им сформулированы в «России и Европе».

Собственно, первая по времени написания политико-публицистическая статья «Россия и франко-германская война» (1871 г.) имеет подзаголовок «Дополнение к книге «Россия и Европа».

Стержнем публицистики Данилевского по-прежнему остается славянский вопрос, ибо Европа, особенно после русско-турецкой войны 1877-78 гг., выступила на стороне Турции, против славянства, причем выступила безоговорочно, отказавшись от маски непредвзятости и «честного маклерства». Бомбы, падавшие на православных сербов с американских самолетов в совсем недавнем прошлом лишь за то, что этот маленький славянский народ пытался сопротивляться мусульманскому и католическому натиску, как говорится, лишь продолжение традиционной политики Запада «другими средствами».

Страстно переживая происходящее, Данилевский без лживой и кощунственной «объективности» обличал политику европейцев — предельно корыстную, милитаристскую и цинично-фарисейскую одновременно. Жажда справедливости и страстное желание правды искупали у Данилевского некоторые недостатки стиля. «Статья «Горе победителям», говорящая о Берлинском конгрессе, есть, без сомнения, лучшая политическая статья, написанная на русском языке», — считал, может быть с некоторым преувеличением, Страхов. Следует отметить, что как «Россия и Европа», так и публицистика Данилевского полна идеями, составившими в дальнейшем целые научные школы. Без сомнения, некоторые части «Войны за Болгарию», например, глава «Константинополь» вполне попадает под определение «геополитической работы», а многие страницы его текстов могли принадлежать будущим евразийцам (последние, впрочем, всегда называли Данилевского среди своих предтеч).

В то же время антинигилистические выступления Данилевского, может быть не всегда броские, но зато тщательно продуманные и взвешенные, можно поставить в ряд с лучшей публицистикой того времени на эту тему. В этом смысле, статьи Дани-

левского против отечественных нигилистов, не газетный фельетон, а скорее научно-публицистический очерк. По свидетельству все того же Страхова, публицистические статьи Данилевского «хотя не возбуждали общего внимания, производили, однако, глубокое впечатление на многих читателей, сердечно преданных чести и благу России и навсегда остались в их памяти».

Последние годы жизни Данилевский посвятил теоретическим обобщениям своих естественнонаучных воззрений. Вершиной его деятельности в этой области, несомненно, стала книга «Дарвинизм». Впрочем, «Дарвинизм» не был чисто научной работой, а являлся еще и мировоззренческим и даже, отчасти, богословским трудом. Сам Данилевский определял его, как «естественное богословие». Свою книгу русский ученый посвятил критическому разбору учения Дарвина.

Данилевскому, считавшему природу «сотворенной Богом красотой», претило учение, ставшее, как известно, «одним из источников марксизма». Нравственное неприятие теории Дарвина подтверждалось и научным опытом Данилевского. Последняя треть XIX века, время, когда идеи Дарвина становились господствующими в европейской науке, и не только из-за своей научной убедительности, но и из-за адекватности новому европейскому сознанию, уже «преодолевшему христианство» и жадно ищущему новой теории происхождения жизни, где Богу не оставалось места.

Поэтому неудивительно, что значительная часть специалистов естественников отнеслась к труду Данилевского весьма отрицательно. «Дарвинизм» был объявлен лишь суммированием и систематизацией ранее существующих доводов, которые выдвигали противники эволюционной теории знаменитого англичанина.

Уничижительные характеристики «Дарвинизма» попали и в массовые справочные издания, видимо под влиянием статей в

знаменитой энциклопедии Брокгауза и Эфрона, где биографическую статью о Данилевском написал В. Соловьев, а естественнонаучный раздел вел К. А. Тимирязев — оба яростные критики Данилевского.

Между тем, книга, 2-й том которой вышел благодаря усилиям Страхова лишь через четыре года после смерти автора, да и то не был закончен, вызвала сильную полемику и как мировоззренческое сочинение. / В качестве примера можно указать статьи А. С. Фомицына в «Вестнике Европы» 1889 г. 21 и К. А. Тимирязева в «Русской Мысли» 1889 г. 5-7 /.

Уже в советское время высокую оценку «Дарвинизму» давали такие авторитеты, как академик Л. С. Берг. В публицистике советского времени антидарвинизм постоянно ставился в вину Данилевскому, как признак реакционности «дипломированного лакея поповщины», при этом странным образом широко не обсуждалось отвержение дарвиновской концепции развития природы такими прогрессистами как Чернышевский и Кропоткин, совершенно резонно считавшими основной догмат дарвинизма — «борьбу за существование» — безнравственным.

Несмотря на сложность темы, «Дарвинизм» стал одним из тех произведений, которые занимают важное место в борьбе идей и мнений. В своих воспоминаниях митрополит Вениамин (Федченков) пишет, что: «Меня ужасно раздражила его / Дарвина / идея о родстве моем с обезьянами, в противоречие высокому библейскому учению об особом создании Богом человека по своему образу и подобию... Я ходил в Тамбовскую публичную библиотеку (очень солидную) и там читал опровержение дарвинизму какого-то ученого Данилевского.» Справедливости ради, нужно отметить, что на Вениамина доводы Данилевского не произвели особого впечатления.

Значительность произведения часто можно определить по актуальности, т.е. адекватности эпохе своего создания и, в то же время, известной «внемоментности», т.е. преодолением зло-

бы дня. «Дарвинизм», как показала жизнь, отвечает обоим этим условиям. В современных спорах о теории эволюции часто воспроизводятся полемические доводы как критиков труда Данилевского, так и его заступников. /см. Курочкин Л. И. к спорам о дарвинизме. — «Химия и жизнь», 1985, №5/. И дело не только в том, что дарвинизм и в наши дни одна из господствующих естественнонаучных теорий, но и в том, что спор ведется, в сущности, о двух основных взглядах на природу человека.

Данилевский внешне и внутренне был человеком, тип которого традиционно относили к истинно русским натурам. Его правнучка Валентина Яковлевна Данильченко воспроизводит описание его внешности, оставленное на полях книги «Россия и Европа» неизвестным современником философа: «Блондин с темно-русыми волосами и серыми глазами, высокого роста и ровной полнотой, напоминающий атлета; размашистыми манерами и могучим голосом — он, таким образом, представлял редкий тип русского богатыря духа и тела, натура идейная и самобытная. Говорил всегда хорошо, сильно и одушевленно. При этих свойствах чисто русского таланта, он соединял трудолюбие и немецкую усидчивость и добросовестность изучения, феноменальной личностью он был и в нравственном отношении. При глубоком знании естественных наук, при громадной эрудиции вообще, он выдавался логичностью мышления и был силен в диалектике.». /«Историческая газета», январь 1998 г./.

Даже оппоненты отмечали в Данилевском сильный ум, огромные знания, прямоту и интеллектуальную честность. В «Русском биографическом словаре» сказано, что огромная работа, делавшаяся русским мыслителем на благо России, послужила началом сердечной болезни, от которой он и умер 19 ноября 1885 года.

На смерть философа откликнулась вся Россия. Интересно, что кроме многочисленных некрологов в светской печати, круп-

ные церковные авторитеты того времени также оплакивали эту кончину и молились за умершего. Приведу лишь один пример. В своих дневниках известный архиерей и церковный писатель Савва (Тихомиров), бывший когда-то экономом Филарета Московского, поместил в своих дневниках прочувствованную запись о смерти философа.

Похоронили Данилевского на Южном берегу Крыма, в его любимой Мшатке. В 30-е годы, когда особенно яростной стала борьба с национальными святынями, могила русского мыслителя была залита бетоном.

По воспоминаниям В. Я. Данильченко, на месте захоронения Данилевского была устроена спортивная площадка, а затем там останавливались приезжающие в Крым туристы. Их палатки стояли на могилах Данилевского и его жены О. А. Межановой.

25 мая 1996 года бетон был снят с могилы, поставлен крест, а 22 мая 1997 года возле захоронения был установлен камень с надписью: «На сем месте 22 мая 1997 года в день памяти «Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар» — заложен сей камень в фундамент будущей часовни и в знак увековечивания памяти великого славянского философа и ученого Николая Яковлевича Данилевского».

А. В. Ефремов.

РОССИЯ И ФРАНКО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Дополнение к книге «Россия и Европа»

(«Заря», 1871, янв.)

Существеннейшее содержание длинного ряда статей, помещенных в «Заре» за 1869 год, под заглавием «Россия и Европа»¹, — не политического, а преимущественно историко-философского свойства. Тем не менее, однако же, в них приходилось рассматривать и вопросы чисто политические, оценивать некоторые явления политической жизни Европы в их отношении к России и Славянству — и, как бывает необходимо при рассматривании вопросов близкого прошедшего и настоящего, — высказывать предположения о будущем направлении событий. Но вот совершаются на Западе события первостепенной важности, которые не могут оставаться без огромного влияния на судьбы Славянства и России. О вероятном характере этого влияния считаем себя так сказать обязанными изложить наши мысли, ибо без этого весь взгляд наш на политические отношения России к Европе должен бы показаться не полным, потерявшим всякое современное значение, хотя собственно говоря ни в чем существенном он не изменяется. «Без ненависти и без любви», говорили мы, «равнодушные и к красному и к белому, к демагогии и к деспотизму, к легитизму и к революции, к *Немцам*, к *Французам*, к *Англичанам*, к *Итальянцам*, к *Наполеону*, к *Бисмарку*, к *Гладстону*, к *Гарибальди*, — мы верный друг и союзник тому, кто хочет и может содействовать нашей единственной и

неизменной цели. Если ценою нашего союза и дружбы мы делаем шаг вперед к освобождению и объединению Славянства, приближаемся к Цареграду, — не совершенно ли нам все равно: купятся ли этою ценою: Египет — Францией или Англией, Рейнская граница — Французами, Вогезская — Немцами, Бельгия — Наполеоном, или Голландия — Бисмарком.» Вот единственная точка зрения, с которой, по нашему мнению, должны мы смотреть на политическую борьбу европейских государств вообще, а следовательно и на настоящую борьбу Франции с Пруссией.

Воспользовались ли мы настоящим случаем, когда дружба наша была так нужна Пруссии, — ибо что бы стали делать Пруссаки, если бы Россия, поставив 300.000 или 400.000 войска на границе Пруссии, сказала стой немецким победам? — приблизились ли мы к достижению наших народных целей; не упустили ли и этого случая, — этого никто не знал до последнего времени; но циркуляр князя Горчакова успокоил все опасения, удовлетворил всем надеждам. Каков бы ни был результат франко-германской распри, — для нас не осталась она бесплодною, мы воспользовались ею, чтобы сбросить с себя те унижительные ограничения, которыми нас опутали несправедливость и ненависть Европы. Циркуляр князя Горчакова есть великое национальное торжество, и не столько по его великолепной, дух возвышающей форме, и еще потому, что он составляет залог того, что наша политика перестала заботиться о том, «что скажет княгиня Марья Алексеевна»², что она и впредь будет иметь в виду свои особые русские цели, которые будут стоять для ней выше всего, и не все остальные события мира, как бы ни были они сами по себе важны, будет смотреть как на побочные обстоятельства, благоприятствующие или нет достижению наших, якобы своекорыстных, целей, а не поступаться ими как несвоевременными в виду великих так называемых общеевропейских столкновений и замешательств. С дней Екатерины Великой, когда она пользовалась замешательством, производимым французской

революцией, для того, чтобы докончить возвращение русских земель из-под польского ига³, мы не видали еще подобного примера, мы не умели, или не хотели, пользоваться ни честолюбием Наполеона I, ни смутами 1848 года для достижения своих особых, русских и славянских целей; и потому, нельзя не видеть огромного шага вперед в том, что захотели и сумели воспользоваться честолюбием Пруссии и Бисмарка. Был ли этот шаг результатом предварительного соглашения с гениальным руководителем Прусской политики, или это сюрприз и для него, на который он принужден делать *bonne mine à mauvais jeu*⁴ — сущность дела от этого не изменяется. Но оставим это блистательное действие русской политики и обратимся к рассмотрению, какое отношение имеют настоящие события сами по себе, по необходимой силе вещей, помимо всякого с нашей стороны содействия или противодействия, к тому, что составляет настоящую политическую задачу России. Ибо, как мы уже говорили, хотим ли мы или не хотим, а за разрешение ей придется приняться, по нашему ли почину, или следуя непреодолимому историческому потоку.

Но прежде бросим безотносительный взгляд на действия Пруссии, потому, что в этом отношении высказывается, по нашему мнению, много неверного и несправедливого смотрящими с самых противоположных точек зрения. С одной стороны сыплются на Пруссию и на руководителя ее политики самые разнообразные укоры; даже воинственный и политический энтузиазм немцев осуждается, как нечто недостойное этой велемудрой нации. Громко и откровенно выражаемое ею желание возобновить Германскую империю славных времен Гогенштауфенов⁵ служит текстом для нападений и поруганий разыгравшегося немецкого патриотизма. Не питая ни малейшей симпатии ни к Германии вообще, ни к Пруссии в частности, ибо, сообразно указаниям истории, видим в них главных и прямых врагов Славянства, мы думаем однако же, что беспристрастие не позволяет разде-

лять этих порицаний. Действия Пруссии и Бисмарка заслуживают удивления и подражания, ибо цель их, объединение немецкого племени в одно сильное политическое целое, — и законна и справедлива, и сообразна с главным током исторических событий XIX столетия, направляющим все великие народные движения к целям национальным, как было нам показано и доказано в своем месте. Неужели гневаться на немцев за то, что они смело и ловко ведут свое историческое дело? По нашему мнению, в общих чертах и Пруссия, и Бисмарк не заслуживают ничего другого, кроме удивления и подражания. В одном только отношении действия Пруссиков возбуждают справедливое негодование — это их варварский способ ведения войны, организованный грабеж городов и сел для доставления тевтонским воинам не необходимого только пропитания, а сигар и шампанского, сожжение целых селений с женщинами и детьми, расстрел взявшихся за оружие для защиты своего отечества. Эти действия вполне оправдывают данное пруссакам Герценом прозвание ученых варваров. Нас впрочем это нисколько не удивляет и кажется совершенно в порядке вещей; мы ничего другого и не ожидали от прирожденной насильственности истинных представителей германского племени. Хорош однако же прогресс в течение 56 лет, прошедших между настоящим и предшествующим ему вторжением иноземцев во Францию, с 1814 по 1870 год! Но тогда во главе вторгнувшегося ополчения стояла варварская Россия, отмщавшая за пожар Москвы, за взрыв Кремля; теперь же высокоцивилизованной Пруссии развязаны руки, никто не мешает ей взрывать Иенский мост⁶.

С другой стороны, также неосновательно обвинять Францию, или даже одного Наполеона, за начало настоящей войны, видеть в них беспричинных нарушителей европейского мира. Никто добровольно не отказывается в политике от высоты занимаемого им положения. Не совершенно ли понятно, что Франция должна была стараться воспрепятствовать не только объе-

динению на ее восточной границе 38-миллионной Германской Империи, но еще распространению ее влияния на Пиренейский полуостров? Не подобное ли действие Людовика XIV возбудило некогда тринадцатилетнюю войну за испанское наследство⁷, восхваляемую всеми историками за восстановление ею нарушенного Францией политического равновесия? Конечно, родственные и династические связи между монархами не имеют теперь такого значения, как за полтораста лет тому назад. Но влияния этого все-таки нельзя отрицать, все еще оно довольно значительно, особенно в начале царствования новой династии, пока она не усвоит себе сполна характера и интересов той народности, во главе которой поставлена, пока не утратит, с течением времени, своих прежних семейных и национальных преданий и пристрастий. Хотя личная политика государей имела в Англии ограниченный круг деятельности, по самому государственному устройству ее с самого 1689 года — не придавали ли, в течении долгого времени, особой окраски внешней политике ее — Голландское происхождение Вильгельма III⁸, и Ганноверское — Георгов⁹? — Что европейские политики вовсе не равнодушны до сих пор к происхождению кандидатов на вновь открывающиеся вакантные троны, служит доказательством недавнее избрание английского принца в короли Греции¹⁰. Итак, Франция, начиная войну с Германией, была права с точки зрения политического равновесия, которое есть один из жизненных принципов европейской (Романо-Германской) системы государств, как мы доказывали это на своем месте (см. «Заря» 1869 г. сентябрь, стр. 46-49) Германия, принуждая Францию объявить ей эту войну, была права с точки зрения интересов ее национальности.

Но довольно о внутренней безотносительной политической правоте борющихся в настоящее время соперников. Перейдем к гораздо более для нас интересному вопросу о влиянии этой борьбы на наши русские и на неразделимые от них славянские инте-

ресы. И в этом отношении, мы не можем согласиться с мнениями, высказываемыми самыми влиятельными органами нашей печати. Одни видят в успехах Пруссии и в унижении Франции предмет непоследовательного для нас торжества, как в отмщении за Севастопольскую невзгоду, за нанесенное нам ею оскорбление, так и в вероятности более благоприятного поворота в Восточном вопросе, через содействие возвеличившейся Пруссии. Другие считают усиление Германии величайшею для нас опасностью, грозящею нам величайшими бедствиями. — Первое мнение просто смешно. Крымская война, много повредившая нашим интересам, не заключает в себе ничего такого, что могло бы оскорбить нашу народную гордость, а следовательно и не требует отмщения с точки зрения народного гонора — ведь оборона Севастополя непохожа не только на Седанскую или Мецкую катастрофу, но даже и на пресловутую защиту Страсбурга.

Но если бы даже мы могли чувствовать себя оскорбленными, то мстить за такие оскорбления предстоит только нам самим, а никак уже не Пруссии. Этот способ восстановления народной чести оскорбительнее самой неудачно и дурно веденной войны. Недоставало еще того, чтобы Пруссия стала нашей покровительницей! Что же касается до более благоприятного решения Восточного вопроса при содействии Пруссии, мы были того мнения, что Пруссия была единственною возможною для нас в этом деле союзницею, и потому, что она по меньшей мере столько же нуждалась в нас, сколько мы в ней, и потому, что никакие воспоминания, никакие политические предрассудки нас не разделяли. Заветные желания Пруссии, перешедшие уже из области патриотических мечтаний в систематически осуществляемый план, — не могли быть исполнены без нашего допущения, без нашего, пассивного по крайней мере, содействия; и за это допущение, за это содействие мы могли бы требовать если не всего, то многого и весьма многого — Пруссия ни перед какими

требованиями бы не отступила. Новейшие события доказали верность нашего взгляда; Пруссия сделалась нашей союзницей в Восточном вопросе: вольною или невольною, сознательною или бессознательною — это в настоящем случае все равно. Но теперь допущение это уже сделано и плата за него уплачена — достаточная или недостаточная — это другой вопрос, на который ответит будущее. Объединение Германии совершилось; единственный действительно заинтересованный в противодействии ему противник низвержен. Пруссия, по-видимому, уже достигла своего и закрепив свои приобретения блистательным миром, сделается совершенно свободною от нашего влияния. Действиями ее будет руководить отныне единственно то, что считается ею сообразным с ее собственным и обще-немецким интересом, без всяких уступок, которыми приходится покупать имеющиеся в виду выгоды, как в частной, так и в политической жизни, тем, кто еще не совсем оперился, не стал еще твердо на ноги.

Что германские интересы противны нашим, — об этом распространяться нечего. Исконная борьба Немцев с Славянами, географическое положение Чехии, течение Дуная, который Немцы считают, вопреки географии, истории и этнографии, так же точно своею рукою, как и действительно немецкий Рейн, — служат достаточным тому ручательством. Сочувствие Англии увеличивающемуся политическому могуществу Немцев составляет другой, не менее ясный и преложный призрак, что и в собственно так называемом Восточном вопросе, в вопросе о Турции и Константинополе, немецкие интересы вполне противоположны нашим.

Вообще, мнение об опасности для нас возвышения Германии гораздо основательнее и серьезнее, — и, если принимать Россию за один из членов европейской семьи, считать ее интересы солидарными с общеевропейскими интересами, как, к сожалению, это всегда делается, то мнение это даже и совершенно, безусловно справедливо. Несправедливым остается только сам

этот коренной взгляд, лежащий в основании почти всех суждений о политической роли и судьбе России. Опровержению его, как с общей культурно-исторической, так и с специально-политической точки зрения, посвятили мы всю нашу книгу, озаглавленную «Россия и Европа», и потому напомним теперь только вкратце развитое там в подробности.

Если бы мы могли на неопределенное время продолжать мирное жительство с европейскими государствами на основании в разное время установившихся трактатов, как один из членов европейской семьи народов, устраняя, при постоянном миролюбии, то своевременною уступчивостью и непритязательностью, то твердостью политики, могущие от времени до времени возникать *«прискорбные недоразумения»*, как выражаются на языке дипломатии, что, конечно, было бы возможно при общности действительно существенных интересов: тогда, конечно, возникновение могущественного и вместе честолюбивого государства у наших границ должно бы почитаться обстоятельством вполне неблагоприятным, могущим нарушить идиллический ток нашей истории. Но к сожалению, или к счастью, это не так. Противоположность наших существеннейших интересов с интересами европейскими — самая положительная, самая коренная, ничем не устранимая. Мы — представители Славянства, и в качестве таковых должны содействовать его политическому освобождению из-под немецкого, из-под мадьярского и из-под турецкого гнета и, затем, его политическому объединению, дабы доставить тем и себе и ему достаточную силу сопротивления против всяких грядущих политических невзгод. Такова наша историческая роль, и если бы даже мы сами ее не поняли, или не хотели понять, другие понимают за нас, и постараются, при всяком удобном случае, вредить нам, чтобы препятствовать исполнению этой нашей исторической задачи. — Всех бдительнее в этом отношении Англия, которая, кроме общеевропейских, имеет свои особые причины опасаться нас в Азии. Благодаря свое-

му политическому искусству и особенностям своего островного положения, она издавна уже руководит общим ходом европейской политики. Вспомним войны против Людовика XIV и XV, против республики и первой Империи, Восточную войну¹¹, последнее польское восстание... Да что приводить частные примеры — можно сказать, что с конца XVII столетия не было в Европе политического события, которое в конце концов не разрешалось бы сообразно видам и интересам Англии, причем орудиями ее служили попеременно то одно, то другое континентальное государство, то несколько вместе. — До низвержения Наполеона I целью Англии было ослабление и унижение Франции, с 1815 же года, или по крайней мере с начала двадцатых годов, — место Франции заняла Россия. Зная проницательность Англии и упорство ее в достижении своих целей, можно ручаться, что ею не упустятся случаи вредить России и, при представившейся возможности, возбуждать против нее Европу, — а такие случаи, или предлоги, доставят всегда в изобилии и Турция, и Греция, и Сербия, и Румынские княжества, и Чехия, и Польша, и пожалуй даже Остзейские провинции. Надо только, чтобы что-нибудь ближайшее, насущнейшее не занимало собою Европы.

Вот почему мы думаем что: 1). борьба с Европой во всяком случае неизбежна, что 2). всякое нарушение политического равновесия в Европе выгодно для России.

Положения эти были подробно доказаны в своем месте; теперь нам надо только рассмотреть, как и в чем видоизменяются они возвышением Пруссии и унижением Франции.

Прежде и главное всего, думаем мы, сложные, запутанные отношения между Европой и Россией этим упрощаются; — отдергивается еще одно покрывало, снимается еще одна маска; истинные отношения разъясняются; настоящие враги становятся лицом к лицу; политические предрассудки и предубеждения окончательно рассеиваются силою событий, подобно тому, на-

пример, как марево Священного союза¹² рассеялось во время Восточной войны. В отношениях России и Франции стоит целый ряд предрассудков, уже издавна препятствующих им сблизиться. Со стороны Франции это предрассудок польский и католический, со стороны России предрассудок немцелюбия и легитизма, или ненависти революции. Ряд напрасных столкновений, натянутых, недружелюбных отношений, ратное товарищество французов и поляков, польская агитация, сочувствие к политическим изгнанникам — обратились в России в политико-дипломатическое предание, во Франции в настоящий народный предрассудок, не способный уже выслушивать голоса здравого политического расчета. Такое, почти полтора столетия длящееся, политическое недоразумение, в котором обе стороны виноваты, объясняем мы требованиями высшей исторической логики. «Франция» — говорили мы, — «есть истинный, так сказать нормальный представитель Европы, главный политический проявитель европейских идей с самого начала европейской истории и настоящего дня. Россия есть представитель славянства. И вот, вопреки всем расчетам политической мудрости, всем внушениям здраво понятого политического интереса, эти два государства, так сказать против своей воли, становятся почти постоянно враждебными соперниками с самого начала их деятельных взаимных сношений... и этому антагонизму не ныне предстоит кончиться».

Об отношениях России к Пруссии мы выразили такое мнение: «опять странное историческое явление, удивительная комбинация! Западные Славяне и Немцы были в течение всей европейской истории враждебны друг другу. Первые были угнетателями, вторые угнетенными, а властительная историческая судьба заставляет представителей германства и славянства — Пруссию и Россию, содействовать друг другу в достижении их по видимому противоположных целей. Пруссия, собственно говоря, возросла под крылом России, и теперь может на нее только

опираться для довершения германского единства, которое в свою очередь становится первым звеном в отделении Славянского от Немецкого... В теперешнем положении дел, Россия не может иметь другого союзника, как Пруссия, точно также, как Пруссия другого союзника, как Россия. Так представляется дело на первых порах. Что будет дальше — другой вопрос. По достижении первых успехов, безобидных для обеих сторон, отношения могут и вероятно должны перемениться». («Заря» 1869 г. октябрь, стр. 76-77). Вот эта-то перемена и совершается на наших глазах. Первые успехи, безобидные для России, могут считаться достигнутыми Пруссией. Кое-что достигнуто и Россией. Самая обидная и вредная для России статья Парижского трактата¹³ может считаться уничтоженной. Конечно, достигнутые результаты не равны. Пруссия извлекла несравненно более выгод от России, чем Россия от Пруссии, но она во всяком случае достигла того, что отношения ее к Пруссии переменились по самой сущности дела. Антагонизм между Россией и Францией прекратился, ибо горький опыт на этот раз кажется достаточно протрезвит Францию. Все предрассудки ее: и польский, и католический, отступят на далекий задний план, когда дело идет о самом ее существовании, как великой европейской державы, и восстановлении ее утраченного значения. Надо надеяться, что если еще не рассеялись, то в скором времени рассеются и русские предрассудки. Россия также не замедлит узнать, кто ее действительно настоящий, не напускной враг. Мы подчеркнули в сделанной выписке слова «и этому антагонизму не нынче предстоит кончиться» — чтобы выставить нашу грубую ошибку. Да! судьба была гораздо милостивее, чем можно было предполагать, рассеяв так быстро, так неожиданно туман, застилавший глаза и России, и Франции, заставлявший их враждовать, не потому, чтобы их интересы были действительно противоположны, а так сказать по недоразумению, что бы они слепо исполняли назначенную им политическую роль.

Роль романских народов очевидно умаляется; их как первенцев европейской культуры, ранее должна постигнуть историческая дряхлость. Деятельная, передовая роль очевидно переходит к более молодым, чисто германским племенам. Они должны будут главным образом нести бремя, налагаемое европейским историческим тяглом. С ними следовательно, и предстоит преимущественно бороться Славянству.

Мы видели, как со времени Восточной войны, борьба России за Славянство, принимавшая временно форму борьбы против Турции, получила свой настоящий характер борьбы против Европы, представителем которой являлась Франция, лично, индивидуально вовсе не заинтересованная в борьбе против Славянства. Теперь исчезает и это недоразумение. Враждебная нам вообще Европа сосредоточивается собственно в чисто германскую ее половину; с нею придется нам в будущем вести свои счета.

Эти прямые, незамаскированные отношения, при которых врагами являются именно те, интересы которых действительно противоположны, имеют большие, несомненные выгоды на своей стороне; они развязывают руки, позволяют идти прямой дорогой, освобождают от необходимости принимать в соображение разные оттенки, избавляют от неестественных политических комбинаций, при которых одна сторона бывает всегда более или менее одурачиваемая. Мы испытывали это с самой кончины Великой Императрицы¹⁴, особенно же со времени Священного союза включительно до Восточной войны, во время которой фальшивые отношения наши к Австрии, Пруссии и вообще Германии нам всего более повредили. Не надеясь на них, Россия или отклонила бы войну, или лучше бы к ней приготовилась, и, отбросив опасения нарушить германские интересы, с самого начала иначе повела бы ее. Франция испытала то же самое во время ее *entente cordiale*¹⁵ с Англией, за что теперь и казнится. И до сих пор наши отношения к Пруссии, с которою

считаем себя связанными старинною дружбою, связывали и спутывали нас как во внешней, так, может быть еще более, во внутренней политике.

Другое влияние теперешней франко-немецкой борьбы на русские дела состоит в том, что она необходимо должна приблизить последний фазис Восточного вопроса. Справедливое сознание военной силы и политического искусства укрепилось в умах немецкого народа рядом быстрых, решительных успехов, приобретенных с 1864 по 1870 год. Политическое честолюбие разыгралось во всех сословиях и, когда ближайшая цель этого честолюбия будет достигнута, то есть вне-австрийская Германия соединена в одно целое, и мнимо-немецкая Эльзас и Лорен к ней присоединены, — честолюбие это не успокоится на этих первых шагах и, по всем вероятностям, примется за осуществление дальнейших целей. После столь долгих стремлений соединиться в могущественное политическое целое, надо этому целому дать почувствовать свое могущество. Надо же и немецкому народу разыграть наконец мироправительную роль, которая по очереди доставалась всем его соседям. Против этого искушения не устоять Немцам, тем более, что многое их к тому приглашает. Ежели бы *Северо-германский союз*¹⁶ и превратился в *Германский просто*, под именем Империи, — то все еще не будет он союзом *Всегерманским*; вне его останется юго-восточная или Австрийская Германия — и те Славянские земли, которые, как Чехия, по своему географическому положению врезаются в нее, и где не умевшая исполнить своей германской задачи Австрия допустила зажитья, окрепнуть и получить влияние славянской мысли и славянскому движению. Исключение Австрии из Германии было конечно только предварительным действием, чтобы развязать руки Пруссии, и, конечно в умах немецких патриотов не должно и не может иметь своим последствием отчуждение от общего великого отечества 5-ти или 6-ти миллионов немцев и освобождение из немецкой власти и влияния де-

сятка миллионов Славян в Чехии, Моравии, Штирии, Каринтии, Крайне, Истрии. Такой ход дела был очевидно ко вреду общенемецких интересов, и Пруссия, сделавшая их своими интересами с того времени, как стала расширяться в Германию, конечно не может допустить в них такого ущерба, не потеряв своего обаяния. Не может еще и потому, что прибрание к немецким рукам так называемой Цислейтании¹⁷ окажется, подобно французской войне, необходимым для сплочения германского единства, для отвлечения от внутренних вопросов, для вознаграждения величием, силою и блеском того, что утрачено значительною долею немецкого народа в экономии, спокойствии и свободе. Осуществление части этой задачи, то есть присоединение к единой Германии действительно немецких земель, каковы: Эргерцогство Австрийское, Тироль, Зальцбург, часть Штирии и Каринтии, нельзя даже не назвать справедливым и законным. Но в том-то и дело, что невозможно предположить, чтобы этим справедливым ограничилось прусско-немецкое честолюбие, оставив Славянские земли устраиваться, как они сами пожелают.

Это было бы не только сочтено всеми Немцами за измену немецкому делу, но даже просто не может и войти в немецкую голову. А поглощение западных Славянских земель настоящею немецкою державою, с сильно возбужденным национальным духом, в то время когда разлагающаяся Австрия обещает им в недалеком будущем самостоятельность и свободу, не может быть терпимо Россией, если в ней есть капля политического смысла. Но если бы даже, вопреки всем своим выгодам, вопреки историческому смыслу своего существования, Россия оказала самое грубое политическое непонимание, самое непростительное равнодушие к судьбе западных Славян, из этого непонимания и равнодушия вывело бы ее нарушение тех ближайших интересов, которые она по историческому и дипломатическому преданию всегда причисляла к насущнейшим вопросам своей полити-

ки; ибо присоединение к Германской Империи западных Австрийских земель не могло бы совершиться без вознаграждения Австрии на Востоке, в землях, лежащих по нижнему Дунаю. Есть, как известно, еще другой предмет немецкого честолюбия, который если и не ближе русскому сердцу, то непосредственнее касается специально русских государственных интересов. Это наши прибалтийские губернии. Нас не может успокаивать то, что прусским государственным людям очень хорошо известно, насколько эти губернии немецкие. Если бы это обстоятельство и могло воздержать от враждебной инициативы руководителей прусской политики, — они вынуждены к ней общественным мнением Германии, наиболее враждебным изо всего сонма враждебных нам европейских мнений. Но плоха надежда и на прусских государственных людей, когда принадлежность Эльзаса и Лорени в незапамятные времена к Германской Империи служит для них достаточным поводом для присоединения их к теперешней Германии, несмотря на решительное офранцуживание тамошнего населения. Ведь забывают же эти государственные люди, что одно из двух: или этнографический, или исторический принцип должен лежать в основании государственного права, что они несовместимы, что этак и мы можем потребовать себе Померанию и остров Рюген, потому что некогда были они поприщем славянской жизни и культуры. Почему же не прибегнуть для оправдания честолюбивых замыслов еще к третьему — культурному принципу? Разве немецкая культура прибалтийских губерний не перевесит в их глазах ненемецкий племенной состав массы их народонаселения и отсутствие всякого на них исторического права? Возможно ли сомневаться, по всем этим причинам, что со временем остзейский вопрос сделается в руках немцев тем, чем был вопрос польский в руках французов?

Или западно-славянский, или остзейский вопрос начнутся, как только успеет отдохнуть Германия от напряжений, которых ей стоит французская война (предполагая конечно, что она удачно

кончится для Немцев). Ей некуда более обратить своего честолюбия, и ничто не может так цементировать здание возникшей Новогерманской Империи, так упрочить в ней преобладание прусского элемента, как именно война против России. Вспомним, что этой ценою даже столь ненавистный в глазах Европы бонапартизм сумел легитимировать себя в ее глазах. Мы видим, что в войне против Франции, с тех пор, как она потеряла характер войны против Наполеона, есть, по крайней мере один из общественных элементов Германии — элемент социально-демократический, который симпатизирует побежденным. В войне против России не будет и этого разногласия, единомыслие будет полное.¹⁸

Но это ускорение борьбы, разумеемой нами под общим именем Восточного вопроса, — борьбы, во всяком случае, неминуемой, скорее полезно, чем вредно для России, ибо настоящие события уже в достаточной мере раскрывают нам глаза, достаточно предупреждают нас и дают время приготовиться. Сама же борьба с Немцами более, чем что-либо на свете, послужит к отрезвлению нашего взгляда, к уяснению наших истинных народных интересов. Она, и только одна она, разорвет наконец вполне ту сеть, которой была опутана русская политика вот уже три четверти столетия. Крымская война распутала ее только отчасти именно по отношению к Австрии. Покуда Пруссия нуждалась в нас, мы служили ее интересам как во внешней так и во внутренней политике, даже в столь независимой от политики вещи, как в направлении железнодорожных линий, и поэтому нельзя не назвать счастливым того исторического момента, с которого Пруссия перестанет в нас нуждаться и прямо выскажет те чувства, которые до поры до времени считала для себя полезным и необходимым маскировать. Пусть хоть сама она сдернет надетые нам на нос очки, если мы никак не хотим снять их добровольно.

Вообще, несмотря на нашу европейскую репутацию тонких дипломатов и искусных политиков, мы, в сущности, политики самые плохие, по крайней мере со смерти Великой Императри-

цы, потому что чужие интересы почти всегда считали важнее своих; и вот почему для нас гораздо выгоднее прямая открытая игра, чем политические жмурки. До такой степени выгоднее, что даже неудачная на первых порах война с Немцами (ибо в сущности мы все-таки гораздо сильнее их) принесла нам огромную пользу. Она заставила бы теснее соединить наши интересы с интересами западных и южных Славян, заставила бы видеть в них наших естественных союзников, помогать которым всеми силами нас заставляет не только честь и совесть, но самые ближайшие, наисущественнейшие интересы; а в делах мира сего это, к сожалению, весьма и весьма много значит. Во внутренних делах она показала бы, кого мы должны считать нашими злейшими врагами, и развила бы наконец *den trotzigen Widerstandgeist* против Немцев, как наружных, так и внутренних.

Но кроме этих соображений, по которым ускорение борьбы скорее полезно, чем вредно для России, главное заключается в том, что для нас весьма выгодно, если приступ к решению Восточного вопроса (под именем которого мы разумеем всякую борьбу с Западом из-за русских и славянских интересов) падет на время нарушения политического равновесия в Европы; когда, по пословице: своя рубашка к телу ближе, — внутренние раздоры, взаимные обиды европейских народов на более или менее продолжительное время отвлекут некоторые из них от их общей вражды к Славянству. Это ведет нас к рассмотрению третьего влияния франко-прусской войны на русские интересы, через посредство влияния ее на политическое равновесие европейских государств.

Мы говорили («Заря» 1869, октябрь, стр. 67): «Влияние политического равновесия Европы и его нарушение на судьбы России можно выразить следующей формулой: при всяком нарушении равновесия, Европа естественно разделяется на две партии, на нарушителя с держащими волею или неволею его

сторону, и на претерпевших от нарушения, стремящихся восстановить равновесие. Обе эти партии, естественным образом, стараются привлечь на свою сторону единственного сильного соседа, находящегося, по сущности вещей (каковы бы ни были впрочем формы, слова и названия), вне их семьи, вне их системы. Обе партии заискивают, следовательно в России. Одна ищет у ней помощи для сохранения полученного преобладания, другая — для освобождения от власти, влияния или опасности со стороны нарушителя. Россия может выбирать по произволу. Напротив того, при существовании равновесия, политическая деятельность Европы направляется наружу, — и враждебность ее против России получает свой полный вид. Тут, вместо двух партий, наперерыв заискивающих в России, Европа сливается в одно — явно или тайно враждебное России целое».

Для примера из новой истории: войны Наполеона I и Восточная война вполне подходят под эту формулу. Но всякая формула видоизменяется через представление на место ее общих знаков определенных величин, видоизменяется иногда до неузнаваемости. Так в настоящем случае видоизменение заключается в том, что первая половина ее, выраженная словами: *одна партия ищет у России помощи для сохранения полученного ею преобладания* (как Наполеон после Тильзитского мира), оказывается как бы несправедливою, или — продолжая нашу математическую метафору — обращается в нуль от внутреннего значения подставленных в нее определенных величин.

В самом деле, Пруссия, нуждаясь еще в благосклонном нейтралитете России, пока не одолеет энергетического сопротивления Франции, — осилив его и обратившись в Германскую Империю, не будет иметь никакой особенной надобности в поддержке России для сохранения полученного ею преобладания, потому что не имеет ни малейшего основания предвидеть образование против себя европейской коалиции.

Англию, бывшую издавна душою всех коалиций, не может нисколько тревожить усиление Германии, потому что Германия не имеет ни флота, ни колоний, и следовательно долго еще не может быть ее соперницею в других частях света¹⁹, как в былые времена Испания, Голландия и Франция, против которых она вела столь упорные войны, и как в настоящее время Америка и Россия. Такое положение дела продолжится до тех пор, пока Германия не вздумает присоединить к себе Голландии. И вот причина, почему она не сделает этого, или сделает после всего, достигнув всех своих прочих целей, хотя никакое другое приобретение не могло бы поставить Германию на такую высоту могущества, как именно приобретение Голландии, которое доставило бы ей устья Рейна, значительный флот, верфи, открытые гавани, великолепные, после английских, самые обширные и богатые колонии, и сверх всего этого предоставило бы ей огромные, веками скопленные капиталы и соединенное с ними денежное влияние. С присоединением Голландии, Германия скоро могла бы сделаться страшною для Англии, и тогда, без сомнения, видели бы мы полное оправдание нашей формулы, как во времена Наполеона I. Но пока, могущество Германии не только нимало не опасно для Англии, а напротив может служить самым удобным для нее орудием. Победив к началу XIX столетия всех своих морских соперников, Испанию, Голландию и Францию, — Англия увидела нового соперника в России, хотя и чисто континентального, но который, по своему географическому положению и влиянию на востоке, мог быть ей столько же, и даже более опасен, чем самая могущественная морская держава на том именно материка, на котором преимущественно сосредоточены ее интересы. Поэтому, почти с самого низвержения первой французской империи враждебность Англии обратилась против России. Предлогами служили ей то пагубное влияние России на Турцию, то усилия ее к порабощению героических кавказских народов, то горькая участь Польши и т.д. Отношения России к

Германии, которые в сущности парализовали все истинно народные стремления нашей политики, имели однако же вид грозного и непоколебимого союза, главою которого как будто бы была Россия. Поэтому Англия соединилась узами дружбы со своим исконным врагом — Францией, которым и пользовалась насколько могла. Но союз с Францией был во всяком случае *ipis aller*²⁰, во-первых потому, что, собственно говоря, русские и французские интересы не были существенно противоположны на востоке, и следовательно, туман обоюдных предрассудков, мешающим обеим понять это, мог рассеяться при известных обстоятельствах, как это и случилось в 1807 и 1828 годах; во-вторых потому, что Франция, не будучи соседкой России, не могла употребить против нее всей своей сухопутной силы. Все это упрощается и улаживается с возникновением сильной могущественной Германии. Англия, следовательно, если не всегда, то еще долго будет другом и пособником, а не врагом и соперником Германии.

Что касается Австрии, то конечно, казалось, не могло бы не страшить ее усиление возникшей на ее счете Германии, из которой она исключена, и в которую может быть отчасти включена вновь не иначе, как на вассальных отношениях к Пруссии, по раздроблении и перенесении ее политического центра тяжести из немецких земель в венгерские, собственно говоря даже не иначе, как через превращение Австрии в Венгрию. Это усиление прежней ее соперницы Пруссии действительно и пугало бы Австрию, если она уже не перестала быть государством, хотя бы даже искусственным, и не обратилась с воцарением дуализма, в какую-то нелепую династико-дипломатическую комбинацию, держащуюся одной эквилибристикой, как балансер на канате. С этого времени потеряла она даже самое имя свое, — она более не Австрия, а какая-то соединенная Цис-и-Транслейтания. — Человеческий ум уж так устроен, что он может знать и понимать вещь только дав ей имя; без этого и мыслить о ней он

не в состоянии. Имя, название, номенклатура — великая вещь. Это — отражение действительности в нашем разуме, и потому-то так и заботятся науки о точности, правильности и рациональности своей номенклатуры. Если, поэтому, понадобилось и вошло неприметно во всеобщее употребление такое, ни исторического, ни этнографического смысла на имеющее название, как Цис-и-Транслейтания; то можно быть уверенным, что под этою нелепою номенклатурною оболочкою скрывается не менее нелепая сущность. И потому-то, что Австрия вовсе перестала быть политическим индивидуумом, хотя бы искусственным, оживленным не государственною идеею, а только временным суррогатом идеи, — она и не может иметь своих настоящих индивидуальных политических интересов. Хотя и прежде, во времена Меттерниха, Баха, Шмерлинга, Белькреди²¹, интересы Австрии были всегда интересами ложными, несоответствующими настоящим выгодам народов, соединенных под Габсбургским венцом, — однако же такие интересы были, существовали, и сообразная им политическая деятельность могла проявляться, и по временам весьма сильным даже образом. Теперь их нет вовсе, они перестали существовать, — а вместе с тем парализовалась и всякая возбуждаемая ими деятельность. Австрия представляет собой колесницу, влекомую щукой, раком и лебедем. Эта басня — символ, эмблема ее в настоящей момент ее развития — или правильное ее разложения. Результат деятельности ее, — равнодействующая всех этих в разные стороны направленных стремлений, — нуль. И до тех пор будет она находиться в таком положении, пока какая либо внешняя сила не захватит, не втянет ее в круг своего политического притяжения и не будет распоряжаться ее элементарными, потерявшими жизненную индивидуальность силами. Весьма вероятно, что этою внешнею силою будет Пруско-Германская. Сама по себе Австрия не может ничего. Если бы она была способна к какой то ни было политической самостоятельности, не заставил ли бы ее самый очевид-

ный и простой расчет стать на сторону Франции и с лихвой возвратить все, что она потеряла при Садовой²²? Но немецкие элементы Австрии на стороне Пруссии: они не хотят и не могут противодействовать успехам и величию их настоящего Германского отечества. На стороне Пруссии же и мадьярские элементы, потому что прозорливая и политически вышколенная мадьярская аристократия хорошо понимает, что, только опираясь на немецкую силу вне и внутри Австрии, могут Мадыяры поддерживать свое господство над Славянами, и тем отклонять неминуемое без этого поглощение Славянством. Противодействие славянских элементов, вероятно, сделало бы столь же невозможною самодеятельную и сколько-нибудь успешную помощь Австрии Германии, но об этой альтернативе нам нет надобности теперь распространяться. Для нашей цели достаточно доказать, что Австрия не только не может противодействовать Германии, но не может даже и хотеть этого.

Италия, наконец, умевшая весьма искусно воспользоваться всеми совершившимися политическими комбинациями для достижения своих внутренних целей: Восточною войною для приобретения симпатий Франции и Англии и положения оснований своему единству и независимости, Австро-прусскою войною для приобретения Венеции, и наконец разгромом Наполеоновской Империи — для присоединения Рима, — слишком ослаблена своими напряжениями, чтобы оказывать какое-нибудь длительное вмешательство в дела, происходящие по ту сторону Альп. — Притом же, пока Германия не вздумает притянуть к себе Австрийских земель вплоть до берегов Адриатического моря, и не уничтожить этим всяких надежд на присоединение Итальянской части Тироля, и всяких видов на дальнейшее расширение вдоль берегов Адриатического моря, или не захватить Швейцарии, — до тех пор Италия может так же мало тревожиться успехами немцев, как и Англия, пока они не коснутся Голландии. С другой стороны, конечно, не имеет Италия никаких причин и

благоприятствовать усилению немецкого могущества. — Таким образом, Германии нечего опасаться коалиции нейтральных европейских держав, имеющей целью обуздание ее честолюбия и ослабление могущества, а следовательно нечего и заискивать в России.

Мы видели из отношений Англии, Австрии и Италии к Германии те частные причины, по которым усиление этой последней не вызывает в европейских государствах того совокупного противодействия, результатом которого постоянно бывало восстановление равновесия. В чем же заключается эта счастливая для Пруссии или Германии особенность? Ответ очень прост. — Особенность эта заключается в том, что в строгом смысле этого слова — политическое равновесие Пруссией не нарушено, даже и после блистательных побед ее над Францией; ибо объединением Германии политическое равновесие не только не нарушается, а получает более широкое основание, более твердые подпоры. Если с первого взгляда это представляется иначе, то лишь вследствие смещения понятия о нарушении равновесия со всякими изменениями существовавшего политического положения вещей — так называемого *statu-quo*. (См. «Заря» 1869 г. Сентябрь стр. 47-49). Но мы показали, что система политического равновесия имеет положительный определенный смысл, зависящий от этнографического состава и топографического положения государств европейской системы, а не условная только комбинация, устанавливаемая на дипломатических конгрессах, которые не менее войн и завоеваний нарушали истинное равновесие. В самом деле, обнаружившееся могущество Пруссии произошло не вследствие внешних завоеваний вне германских земель, а вследствие превосходства военного устройства, административного порядка и внутреннего развития. Если бы эти элементы силы в той же мере господствовали во всех землях бывшего Германского союза, то он был бы еще могущественнее теперешнего, предводимого Пруссией, более тесного союза. Со-

бственно говоря, Новогерманская империя — тот же Германский Союз, только лучше устроенный и избавленный от дуализма, составлявшего в нем элемент слабости и расстройства. Но против усиления политического могущества государств от таких причин нет другого лекарства, как пользоваться данным примером, т.е. прочие государства должны стремиться к подобному же устройству и развитию заключающихся в них элементов силы и могущества. И вот, все государства и последовали уже этому примеру; даже Англия намеревается увеличить свои сухопутные боевые силы.

Пруссия не теперь усилилась, и даже не в 1866 году — теперь она только обнаружила свои силы; ошибка и несчастье Франции в том, что она не видела этих сил и вызвала их неосторожно на бой, не организовав, не собрав своих собственных, которых было бы, по меньшей мере, вполне достаточно для борьбы с Германией, как равного с равным. Это лучше всего доказывается геройским сопротивлением Франции после уничтожения всех ее регулярных армий, сопротивлением, которое уже и теперь проявило бы блистательные результаты, если бы их не парализовала в значительной степени постыдная сдача Базена²³, освободившая не менее 200.000 немецких войск.

Пруссия была принуждена напрячь все свои силы, чтобы поднять свое упавшее значение после Иенского разгрома, и, сохранив введенное ею тогда устройство, и после полученных ею приращений на Венском конгрессе²⁴, она могла считаться одною из пяти первостепенных держав Европы, несмотря на то, что по своему народонаселению была вдвое слабее самого малонаселенного из них. Но другие государства, в особенности же Россия, обладая гораздо большими средствами, все-таки превосходили Пруссию силою и могуществом и не прибегая к такому всестороннему пользованию ими, и потому не считали нужным вводить у себя ее превосходную военную систему. Рутинная и привязанность к старому не позволяют ни в чем слишком

скоро проникать новизне. Для России, при существовании крепостного права, эта система была даже просто невозможна. Пруссия воспользовалась стечением разных благоприятных обстоятельств, как-то: нерасположением России к Австрии, вызванным ее неблагодарным образом действия в крымскую войну, отчуждением России от европейских дел вообще, вмешательством западных держав во внутренние дела России по поводу Польского восстания²⁵, благорасположением Англии к усилению Германского могущества, ослеплением Наполеона, и соединила Германию, в одно политическое целое и тем удвоила свое народонаселение, обратившись из 19-миллионного в 38-миллионное государство, в которое вводит свою военную систему. Если эта система могла поставить прежнюю Пруссию почти в уровень с прочими великим державами, то, конечно, она стала теперь почти вдвое сильнее каждого из них, и по меньшей мере сравнялась могуществом с Россией. Но очевидно, что это преобладание кратковременное, и может продлиться только до тех пор, пока подражание прусскому примеру не восстановит прежнего отношения между политическими силами государств; но некоторый, и довольно значительный выигрыш останется и после этого на стороне Пруссии, потому что, воспользовавшись временным превосходством своих сил, она успела образовать из сплоченной Германии — государство равное Франции по пространству и народонаселению, и ее значение как первостепенного государства впредь не будет уже зависеть от того, что прочие государства забывают пользоваться всею совокупностью находящихся у них под руками средств, а будет опираться на твердых и незыблемых основаниях.

Но, если первая половина нашей формулы оказывается неверною в применении к настоящему обнаружению, так сказать доселе под спудом скрывавшихся, немецких сил; то зато вторая ее половина, выражающаяся словами: *«другая партия ищет помощи России для освобождения от власти, влияния, или*

опасности со стороны нарушителя», вполне оправдывается, и Россия в течение довольно долгого времени будет иметь возможность пользоваться представляемыми ею выгодами. — Если Пруссию или опруссенную Германию и нельзя в строгом смысле считать нарушительницею равновесия; то она, тем не менее, будет казаться таковою с специальной точки зрения Франции, и тем в большей степени, чем тягостнее будут предписанные ей победителем условия мира. Если и не нарушено равновесие незаконным усилением Пруссии, то оно во всяком случае нарушено ослаблением Франции, и Франция всегда будет искать союза с Россией для восстановления своего прежнего положения, своей прежней политической роли, — и так как это для нее вопрос жизни и смерти, то из-за помощи России она будет готова поступиться в весьма значительной степени своими предрассудками, как польским, так и восточным. В своем стесненном положении она легче поймет, что ее интересы, в сущности, вовсе не противоположны интересам России. При всякой борьбе с Германией, Россия может поэтому рассчитывать на самую усердную помощь Франции.

Но тут представляются два вопроса: 1) Не должна ли Россия, в виду собственных своих интересов, теперь же помочь Франции избавиться от тяжелых жертв, налагаемых победителями, от огромных денежных вознаграждений, от срытия крепостей и, главное, — от территориальных уступок? 2) Может ли ослабленная Франция быть действительно полезным союзником России?

Мы не задумываемся ответить отрицательно на первый из этих вопросов. Единственная выгода России от избавления Франции из ее тяжелого положения заключалась бы в приобретении благодарности этой последней; но горький опыт показал уже России, какое ничтожное значение в политике имеет это невестественное приобретение. Россия ли не спасала Австрию, не взлелеяла ли Пруссию, не охраняла Германию, и что же? Образ

действия Австрии известен, но, сверх сего, нигде общественное мнение, не исключая самой Англии, так не враждебно России, как именно в этих благодетельствованных ею странах.

Но допустим, что Французы оказали бы более политическое благородства, чем Немцы. Для чего России добывать значительными жертвами и усилиями, без которых не обошлась же бы война с Германией, то, что ей достается по стечению обстоятельств даром, — я разумею помощь Франции, при всяком будущем столкновении с Германией? Этого мало — можно даже с уверенностью сказать, что тягость условий, которые наложатся на Францию, будет гораздо сильнее понуждать ее к выгодным для России усилиям против Германии, чем сколько могло бы сделать чувство благодарности за избавление от этих тяжелых условий.

Если бы Немцы и Французы разошлись полюбовно, будет ли то при содействии России, или без оно, — то можно смело утверждать, что немного прошло бы времени, как они готовы бы были соединиться на общей для них почве Европейских или Германско-Романских интересов против Славянства и России.

Не надо забывать, что и те и другие, и Романское и Германское племя, и Франция и Германия, в сущности наши недоброжелатели и наши враги; только вражда последних глубже, прямее, непосредственнее, и скажем не обинуясь — резоннее, рациональнее. С освобождением и соединением Славянства, Романские народы ничего существенного не теряют, ибо ни один из них, за исключением разве Итальянцев, и то в весьма ничтожной степени, никогда не может рассчитывать на подчинение своей власти кого-либо из Славянских племен. Между тем, Немцы лишаются через это преобладания над миллионами Славян и всякой надежды на дальнейшее расширение своего владычества и влияния на восток, на обширные и плодородные соседние им страны, которые в ближайшем будущем должны же переменить своих неспособных обладателей и сделаться или сво-

бодными, или же подпасть под власть нового насилия, которое может быть только немецким. Вражда Германского племени к Славянам есть историческая необходимость, вражда Романских народов — только исторический предрассудок. Но предрассудок тем не менее существует, и потому все, что ее разрушает, или, по крайней мере, ослабляет, для нас полезно; а ничто в такой мере не может содействовать его разрушению или, по крайней мере, временному приостановлению его действия, как враждебное столкновение Германии с Францией. Чем более следов оно за собою оставит, тем долее продлится и его полезное для нас действие, состоящее в том, что ближайшая вражда застит собою дальнейшую до такой степени, что на мрачном фоне ее — эта дальнейшая может показаться если и не постоянною дружбой, то, по крайней мере, временною приязнью. Но, если наша собственная выгода нисколько не понуждает нас помогать Франции, спасти ее из ее критического положения, то мы не имеем на это и никаких других поводов более бескорыстного свойства; ибо отношения к нам Франции, как, впрочем, и всех остальных Европейских государств, были всегда таковы, что России нет ни малейших оснований питать к кому-либо из них чувства доброжелательства или благодарности.

Что касается второго вопроса, то, для не потерявших исторической памяти, на него не может быть другого ответа, кроме вполне утвердительного. Как бы жестоко ни воспользовались Немцы своими победами, как бы тяжелы ни были условия мира, предписанные хотя бы на развалинах Парижа, — ослабление Франции никогда не может дойти до той степени, до которой доведена была Пруссия после Тильзитского мира. Пусть отнимут у Франции не только Эльзас с частью Лорени, но и всю эту последнюю провинцию; за всем этим Франция будет заключать в себе все еще не менее 35.000.000 жителей, между тем как Пруссия, которой были оставлены только неполные четыре провинции: Пруссия, Бранденбург, Силезия и часть По-

мерании, имела в 1807 году никаких-нибудь 4 или 5.000.000 жителей. Число войск ее было ограничено с небольшим в 40.000 человек, крепости заняты французскими гарнизонами. Со всем тем, принявшись хорошенько, Пруссия так умела устроиться, что через 6 лет после этого она была уже в состоянии оказать России значительную помощь в освобождении Германии. Прибавим еще к этому то, что военное устройство, которое ввели в ней Штейн и Шарнгост²⁶, было тогда еще не испробованным теоретическим предположением, между тем как теперь оно яркий положительный факт, много раз блистательно оправдавшийся на практике. Можно ли после этого сомневаться, что и Франция, в течение немногих лет после ее разгрома, успеет настолько по крайней мере оправиться и переустроиться, чтобы быть сильной помощницей России?

Правда, что в теперешнее время требуется гораздо более средств на то, чтобы устроить и вооружить сильную боевую армию, чем в начале нынешнего столетия; но зато, промышленные и финансовые силы Франции, как бы ни была она ослаблена военным разорением и тяжкими мирными условиями, все-таки останутся вне всякого сравнения выше тех, которыми могла располагать Пруссия после 1807 года. Что эти силы и патристический и военный дух Франции несравненно выше, чем в Пруссии 1806 года, доказывает напряженность войны после всех поражений, понесенных французскими армиями. Конечно, Францию постигла Седанская и Мецкая катастрофы. Говорят, что еще не было примера таких позорных капитуляций, ибо всегда как-то ближайшее к нам событие принимает большие размеры сравнительно с теми, которые уже отодвинулись на расстояние исторической перспективы. Но не надо забывать, что в 1806 году, после одного проигранного сражения, — вся Пруссия: войска, крепости, народ так сказать сдались военнопленными, представили собой один огромный Седан. Правда, не было примера, если позволено так выразиться, столь блистательных измен, как

в Меце, такой деморализации армии, такого нелепого и позорного распоряжения военными силами страны; но все это искупается героизмом французского народа, — который, и после разгрома всех организованных сил страны, до сих пор заставляет колебаться участь войны, так что невозможно еще предсказать ее исхода. Поэтому, весь позор падает единственно и исключительно на Наполеона и его правительство. Мы проводим эту параллель 1806 и 1870 года не для унижения Пруссии, а для того, чтобы показать, что Франция представляет во всех отношениях гораздо более залогов на то, что она и захочет и сумеет загладить все свои неудачи, чем Пруссия 1806 года.

Беспристрастное и всестороннее рассмотрение того влияния, которое усиление Пруссии, или что все равно — Германии, должно иметь на Россию, на осуществление ее великой исторической задачи — освобождения и соединения всех славянских народов, — в главном опять-таки подтверждает наше общее положение: что всякое нарушение политического равновесия между Европейскими государствами выгодно для России; во всяком случае, гораздо выгоднее внутреннего Европейского мира, всегда скрывающего в своих недрах грозу против России, готовую разразиться при всяком удобном для того случае или предлоге. Грозы не избежим мы правда и теперь и даже вероятно грянет она еще скорее, чем без этого, но при более выгодных для нас условиях и обстоятельствах. Мы говорим это во первых потому, что наше положение будет гораздо благоприятнее в общественном мнении значительной части Европы. При искусном с нашей стороны образе действий — борьба за самые священные интересы Славянства, которых конечно не признает Европа, получит в глазах ее вид борьбы против немецкого преобладания, угрожающего в будущем и Дании, и Голландии, и Швейцарии, и Италии. Наводящее ужас страшилище грядущего панславизма заслонится в глазах многих уже возникшим пугалом пангерманизма. Во-вторых, мы всегда можем рассчитывать, что Фран-

ция будет на нашей стороне, а Италия останется нейтральною, тогда как, при враждебности нам и Англии, и Франции, Италия, лишенная всякой точки опоры, для сохранения своего нейтралитета, должна бы необходимо за ними последовать.

Конечно, прежде и главное всего мы должны принять внутри все необходимые предосторожности, собрать, приготовить, устроить и увеличить все свои силы, но это необходимо во всяком случае; теперешний же разгром Франции служит для нас громким, взывающим и вопиющим, но, вероятно, уже последним предостережением, и призыв всех сословий к равномерному участию в военной службе позволяет надеяться, что — глас этот не будет гласом вопиющего в пустыне.

Хотя, таким образом, нарушение политического равновесия в пользу Пруссии и Германии имеет для нас ту невыгодную сторону, что, вследствие изложенных выше обстоятельств, Россия не имеет выбора между сторонами победившей и побежденной для заключения с любой из них такого союза, который содействовал бы ей в достижении ее национальных целей; но это обстоятельство, в сущности, не так невыгодно для России, как может показаться с первого взгляда. Союз могущественной Франции с могущественною Россиею, искренне заинтересованных во взаимном охранении их совокупного преобладания, был бы конечно самою выгодною для нас политическою комбинациею, как показал короткий период Тильзитской дружбы²⁷; но, к сожалению, победа Франции без сомнения возбудила бы с новою силою предрассудки, которые до сего времени не только отчуждали Россию и Францию, но ставили их почти постоянно во враждебные отношения, совершенно не оправдываемые требованиями их действительных выгод. С другой стороны, побежденная, ослабленная Пруссия и вновь раздробленная Германия снова стали бы в то отношение к России, в котором, при кажущемся ее преобладании, она снова сделалась бы, как во времена Священного союза, орудием для достижения немецких целей, для

охранения немецких интересов. Тильзитская политика не могла бы возникнуть, и выбор России между победителем и побежденным осталась бы чисто мнимым. Как внутри, так и вне России и Франции, замешано слишком много интересов, заботящихся не допускать их до сердечного соглашения, слишком много как польских, так и немецких влияний и зацепок самого разнообразного свойства, пускающих в ход всякого рода пружины: династические, аристократические и демократические. Франция, не найдя искренней поддержки в России своим честолюбивым видам, принялась бы по старому подогревать польские интриги. Россия, воображая себя угрожаемою революционною или демократическою пропагандою, приняла бы так называемую строго консервативную политику немецкой окраски. Напротив того, при победе Германии и временном ослаблении и даже унижении Франции, все эти предрассудки и влияния должны потерять свою силу. Франция, имея возможность лишь в одной России найти опору для восстановления своего политического положения, поневоле откажется от поддержки мнимых польских интересов, когда самые существенные и действительные французские интересы станут им противоположны. Россия поневоле отступится от поддержки Пруссии и Германии, когда, сняв маску, они гордо станут преследовать свои собственные цели, идущие в разрез с самыми очевидными выгодами России.

Кроме этого, есть еще и другая сторона, делающая выгодным для России преобладание в Европе Германии и оттеснение Франции на второй план. Несмотря на весь вред, который Франция причинила Славянам Балканского полуострова своею восточною политикою, а Славянам Австрийским поддержкою польского и мадьярского элементов, — она все-таки пользовалась сочувствием и расположением известной части так называемой интеллигенции в различных Славянских землях, а еще более в Румынских княжествах. Этим расположением обязана она была: тому обаянию, которое получило имя ее в глазах либералов

со времени французской революции; ее действительным услугам национально-либеральному делу в Италии; либеральной фразеологии ее писателей, ораторов и государственных людей, а также многим действительно симпатичным сторонам французского национального характера. Все это заставляло надеяться многих Славян, что и на них распространит она покровительство трехцветного знамени. Конечно это не более как самообольщение, обман, ибо в глазах французов, как и всех прочих европейцев, плоды свободы растут и зреют не для Славян; но тем не менее соблазн действовал. Вот этого-то соблазна, по счастью, совершенно лишены Немцы, лишены его по политическим интересам немецкого народа, диаметрально противоположным интересам Славян, по издревле ведущейся между ними, под разными видами культуртрегерства, исторической борьбе, и наконец по самому немецкому характеру, антипатичному для всех, вступающих с Немцами в ближайшее столкновение народов. В этом я сошлюсь, кроме Славян, на итальянцев, на наших Эстов и Латышей, и наконец даже на родственные немцам скандинавские племена. Эта разница в оценке национальных характеров Французов и Немцев другими народами всего яснее выражается при теперешних обстоятельствах. Как только был низвергнут всем опротивевший Наполеон, повсеместно стали обнаруживаться симпатии к Франции; Бельгийцы, несмотря на то, что Франция угрожала независимости их отечества, до такой степени обнаружила свое дружелюбное расположение к Франции, что Немцы вздумали даже считать это за нарушение нейтралитета. Итальянцы высылают своих волонтеров сражаться за Францию под предводительством своего национального героя. Швейцария, даже немецкая, очевидно на стороне Франции; также в Чехии и наконец в России, где только та часть журналистики и разделяющей ее мнение публики сочувствует Пруссии, которая всегда была лишена всякого понимания национальных интересов. Даже в простом народе часто случалось мне слышать сожа-

ление, что Немец одолевает Францию. Конечно, политический расчет может заставить то или другое государство принять сторону Пруссии или Германии, но едва ли где вызывают к себе Немцы сочувствие общественного мнения.

Обстоятельство это, думаем мы, весьма важно. Всегда верный инстинкт народных масс и умы истинно передовых людей во всех Славянских землях давно уже на стороне России; но зато значительная часть так называемой интеллигенции, влияние которой весьма значительно, ощутительно склоняясь на сторону Франции, проникалась антирусскими — а следовательно в сущности и антиславянскими стремлениями, и на Францию возлагала главные свои надежды. Теперь, когда Франция надолго должна сосредоточиться внутри самой себя, думать единственно об излечении нанесенных ей ран, о восстановлении своего утраченного могущества, о возвращении, имеющих вероятность отойти к Германии, областей своих, и для этого искать дружбы и помощи России, — Россия остается в глазах всех Славян, не потерявших не только политического, но и просто здравого смысла, единственным якорем их спасения, единственной их путеводною звездой. Никто кроме России не может их избавить от немецкого наплыва, никто кроме Славян не может и России доставить постоянных пособников против немецких стремлений, которые не замедлят обнаружиться с такою яростью, что могут продолжать оставаться невидимыми только для слепорожденных. Такое положение дел, которое должно теснее сблизить Россию с прочими Славянами, и их с Россией, не может конечно не считаться благодетельным для обеих сторон.

Всестороннее рассмотрение влияния, которое должна оказать франко-прусская война на Россию, подтверждает вполне прежде выраженную нами мысль, что всякое нарушение политического равновесия Европы, откуда бы оно ни происходило, для нас более или менее выгодно; но, кроме этого, в общем результате его оказывается какая-то странная двойственность,

именно: что все симпатии наши на стороне Франции, политические же соображения заставляют желать полной победы Германии и ослабления Франции. Но интерес, который имеет в этом Россия, чисто отрицательного свойства. Не усиление Германии и не поражение и унижение Франции сами по себе выгодны для России, а выгодно то, что, во-первых, объединенная и усилившаяся Германия непременно выкажет со всею яростью и очевидностью противоположность политических целей и стремлений немецких и русских, и Россия принуждена будет выступить на защиту самых существенных своих интересов, нераздельных с интересами всего Славянства; во-вторых, что с ослаблением Франции рассеются по крайней мере на время те предрассудки, которые и с французской и с нашей стороны так долго препятствовали понимать тождество обоюдных интересов в большинстве случаев. Такая противоположность между внушениями чувства и интересов, равно как и отрицательный характер самих этих интересов, показывают, что несмотря на поворот к национальной политике, последовавший в России после Восточной войны и польского восстания, все еще осталось многое, не заслуживающее носить этого названия, — обнаруживают ненормальность многих сторон и внутренней и внешней политики, как у нас, так и во Франции. Ошибки французской политики не позволяют нам прямо и открыто стоять на стороне Франции, к которой, по настоящему, должен бы нас привлекать здравый политический расчет; — ошибки нашей политики принуждают желать, чтобы хоть тяжелый опыт и близкая опасность заставили нас увидеть всю диаметрально противоположность между выгодами и целями немецкими и русскими и славянским

ВОЙНА ЗА БОЛГАРИЮ

1

Чего мы вправе благоразумно желать от исхода настоящей войны

(«Русский мир», 1877, 2 авг. № 207)

Во многих органах печати, и притом самых достойнейших, также как и в публике, слышится мнение, что настоящая война есть решительная, что она должна положить желанный конец так называемому Восточному вопросу, периодически тревожащему спокойствие Европы и нарушающему правильный ход ее мирного развития. Признаюсь, я никак не могу разделять таких радужных надежд, не могу даже убедить себя, чтобы надежды эти были действительно радужные. В их радужности заставляет меня сомневаться то, что, при таком взгляде, самый предмет Восточного вопроса до крайности умалывается.

Восточный вопрос, по подробно мною изложенному и, думается мне, доказанному мнению, есть огромный исторический процесс, заложенный еще во времена древних Греции и Рима, — процесс о том, должно ли Славянское племя, — член Арийской семьи равноправный с племенами: Индийским, Иранским, Эллинским, Латинским и Романо-германским, создавшими каждое свою самобытную культуру, — оставаться только ничтожным придатком, так сказать прихвостнем Европы, или же в свою очередь приобрести миродержавное значение и наложить свою печать на целый период Истории.

Самое величие вопроса, понимаемого в таком смысле, уже достаточно показывает, что настоящая война, сколько бы она ни была успешна, разрешить его не может. Разрешит его целый период борьбы не против Турции только, и борьбы не одним только военным оружием.

Но настоящая война есть первый приступ к этому решению, — первое явление последнего акта великой драмы, и эта слава принадлежит ей неотъемлемо, потому что она есть первое сознательное действие Русского народа и Русского государства во имя освобождения поработщенного Славянства. Это высокое значение останется за ней во всяком случае, независимо даже от самого ее успеха.

Если настоящая война есть первый шаг к решению Восточного вопроса, то все дело в том, чтобы шаг был сделан правильный и действительно поступательный, — облегчающий в будущем и приближающий решение той всемирно-исторической задачи, которой дано название Восточного вопроса, — название в географическом смысле может быть и неправильное, подобно множеству других названий, но уже общепринятое, установившееся и которого нет надобности, да нет и возможности переменишь.

Несколько лет тому назад я посвятил целую книгу всестороннему рассмотрению Восточного вопроса, как в культурном, так и в политическом отношении; теперь я намерен сказать несколько слов только о последнем, не только потому, что политическая сторона дела поглощает собою общее внимание, но и потому, что, по глубокому моему убеждению, политическая сторона есть основание, на котором может быть возведено культурное здание, а не наоборот, как многие думают. В доказательство достаточно указать на тот факт, что нигде и никогда культурное развитие не предшествовало утверждению политической самобытности народа. Но, кроме того, само воздействие политических событий на народное сознание огромно. Лучшим для сего доказательством может послужить то влияние, которое имело время Сербской войны на расширение Славянского самосознания, как у нас в России, так и в других Славянских землях. События, деятельная историческая жизнь — не в примере могущественнейшие проповедники, чем самые даровитые лич-

ности. Не увенчавшийся успехом подвиг Черняева¹ более подвинул Славянское самосознание, чем годы самой талантливой и деятельной литературной пропаганды.

Решение Восточного вопроса в политическом смысле может быть выражено весьма краткою формулою: *независимость и единство Славянства*. Но зато только одна эта формула и разрешает его. Независимость без единства ослабит Славянство, сделает его игралищем посторонних интересов и интриг, вооружит части его друг против друга; единство без независимости лишит его свободы, широты и разнообразия внутренней жизни. Итак:

1). Государственная самостоятельность каждого Славянского племени. Будет ли при этом одно Великосербское, одно Велюкочешское государство, или отдельные государства Сербское, Черногорское, Хорватское, Словинское, Чешское, Словацкое и т.п., это может составить весьма важный временный практический вопрос; но в общих целях Славянского мироустройства это довольно безразлично при соблюдении второго условия:

2). Чтобы все Славянские единицы, крупные или мелкие, составляли твердый союз, как между собой, так и с Россией.

3). Этот союз должен быть скреплен общим обладанием Цареградом и проливами.

4). В этот союз должны быть включены в те неславянские или правильнее, не чисто славянские элементы, которые вкраплены в славянское тело, как Румыния, Греция и Венгрия, или точнее Магьярия — ибо под Венгрией разумеется искусственный конгломерат земель, составлявших корону Св. Стефана.

Одно изложение политической стороны задачи уже показывает, может ли настоящая война иметь своим предметом — полное и окончательное разрешение Восточного вопроса.

Может ли, по крайней мере, получить решение хотя бы одна Турецкая часть вопроса? Так же нет, потому что такая попытка повлекла бы за собою общеевропейскую войну, которой

все стараются избежать и к которой мы едва ли достаточно приготовлены.

Чего же нам, после этого, разумно желать и ожидать от настоящей войны? Это также может быть выражено весьма короткою формулою: *разрушение всех преград, как нравственных, так и материальных, разделяющих северо-восточное Славянство. — Россию, от Славянства юго-восточного и всех прославленных народов, населяющих Балканский полуостров.* Эта формула может служить безошибочным критерием выгоды, или невыгоды тех политических комбинаций, которые должны произтечь из настоящей войны.

Первый шаг по этому пути на половину уже сделан. Румыния стала независимым государством. Независимость эта, однако, обоюдоострый меч. Независимая Румыния может быть клином вбитым в Славянское тело, она может продолжать и в пространстве и во времени ту пагубную для Славянства роль, которую имело, и до сих пор имеет, вторжение Угров в равнины Панонии. Но независимая Румыния может быть и мостом, соединяющим северо-восток и юго-восток Славянства. Для этого представляется два средства. Или Россия должна быть возвращена, за соответствующее вознаграждение в Бессарабии, Придунайская окраина, отнятая у России по Парижскому трактату, также как и острова Дунайской дельты, отошедшие от России вовсе не к Румынии, как бы следовало, а непосредственно к Турции; или же вся Румыния с присоединением к ней островов дельты должна вступить с Россиею в тесный неразрывный союз, и таким образом сделаться первым звеном будущего восточного христианского союза. — Первым путем достигается только отрицательный результат, то есть Румыния делается безвредною для России и Славянства; возможность ее служить для нас препятствием сокращается в известной мере. — Напротив того, вторым путем достигается прямая и непосредственная польза для обеих сторон: Румыния связывается с нами неразрывными

узами взаимных выгод и услуг. — Румыния, по объявлении ее независимости, будет конечно государством самостоятельным, но никак еще не государством цельным, законченным, то есть объединяющим в одно политическое целое всю Румынскую народность. Этого может она достигнуть впоследствии только при помощи и содействии России, и эта надежда должна и может служить основанием той дружественной связи, которая соединит оба государства и народы, и без того уже связанные как родством религиозным и в значительной степени племенным, так и воспоминаниями прошедшего.

Если воссоединение с Россией Дунайского побережья, или, что еще гораздо лучше, тесный союз Румынии с Россией составляют условия, при которых независимость Румынии становиться выгодною для нас политическою комбинацией; — то независимость эта получила бы совершенно противоположный характер, если бы из Румынии было образовано нейтральное государство, нечто вроде южной Бельгии. Это было бы стеною, крепостью, воздвигнутою между двумя половинами Славянства, разделяющею то, что соединила природа связями самого высокого характера — единством веры и племенным родством; крепостью, охраняемою совокупными усилиями всей Европы. Это было бы вторым исправленным и дополненным изданием Парижского трактата 1856-го года, изданием, выпущенным к тому же в свете на наше собственное иждивение, нашими трудами, усилиями, издержками и даже ценою нашей крови.

Нейтрализация Румынии, столь вредная для интересов России и Славянства, была бы не менее губительна для самой Румынии, ибо лишила бы ее всякой исторической будущности. Нейтральными, то есть, осужденными на политическую бездеятельность, — могут быть лишь искусственно, дипломатически, а не исторически, созданные государства, которым не соответствует никакой народности. Так, есть Бельгийское государство, но нет Бельгийского народа. Бельгийцы — или Французы, или Фламандцы, и, сле-

довательно, должны бы быть распределены между Францией и Голландией. Такие государства могут в значительной степени пользоваться материальным благосостоянием, но не могут жить политической жизнью; лучше сказать, самое существование их куплено ценою политической смерти. Но на свете существует Румынский народ, и он имеет право на политическую жизнь; имеет право образовать не только независимое, но и цельное, полное национальное государство, и, следовательно, не имеет права на нейтральность, на политическое самоубийство.

За Румынским следует Болгарский вопрос. Собственно ужасы и страдания², вынесенные несчастным Болгарским народом, вынудили Россию к войне³; ибо, если бы все дело ограничивалось устройством Боснии и Герцеговины, лежащих в углу Турции, Порты едва ли бы выказала такое упрямство, как по отношению к Болгарии, занимающей самую средину Европейской Турции и доходящей почти до ворот Цареграда.

Если до войны и во избежание ее можно было довольствоваться разными улучшающими полумерами; то, конечно, после усилий, которых стоили России и желание сохранить мир, и самая война, — Болгария должна получить по меньшей мере полную внутреннюю независимость, то есть стать в такие же отношения к Турции, в каких находились к ней, после Андрианопольского мира, Сербия, Молдавия и Валахия. При сем, как само собою разумеется, должна она быть свободною от всякого постоя Турецких войск, и следовательно, укрепления по линии Дуная и в Балканах должны быть упразднены, дабы рушились материальные преграды, разделяющие северо-восточное Славянство от юго-восточного.

Конечно, трудно определить границы Болгарии к югу; но в точном определении их нет и особенной важности. Только границею этою никоим образом не могут служить Балканы, так как хребет этот есть самое сердце Болгарии. По крайней мере, многострадальные окрестности Софии, Татар-Базарджика, Фи-

липпополя, Сливно-Ямболя, хотя бы до Бургасского залива, должны войти в состав свободной Болгарии. Она купила это право кровью и невыносимыми муками.

Гораздо вреднее и опаснее преград материальных: укрепленных речных долин и горных хребтов — преграды нравственные; и всеми мерами должно озаботиться, чтобы не воздвиглись такие преграды между Славянскими народами, вследствие самой освободительной войны. Все Славяне Балканского полуострова сослужили свою службу Славянству: Герцеговинцы и Босняки, начав геройское восстание, доселе не побежденное, устояв против всех ужасов истребительной войны и против всех успокоительных искушений дипломатии; Болгары своим мученичеством; Черногорцы своими победами; Сербы своею может быть неблагоразумною, но отважною решимостью поднять знамя славянской независимости, рискуя самим существованием своим. Не должно забывать, что именно Сербь с их славным русским вождем подняли и дух Русского народа. Поэтому никто не должен остаться обделенным. Всякому деятелю должна быть воздана мзда его. Между Сербиею, оставшеюся без вознаграждения в виду увенчания успехом дипломатической игры Румынии, а вероятно и Греции, — и Россиею может возникнуть та нравственная преграда, то взаимное отчуждение, которое без сомнения постараются всеми способами расширить главные недоброжелатели Славянства — Англия и Австрия.

Австрия, говорят нам, не желает возникновения вдоль границ ее объединенного славянского государства — старинное и жалкое сознание своей несостоятельности! — Но пусть так. Уважим Австрийскую бережливость. Но если ни одной пяди земли не будет прибавлено к Сербии вдоль Савы, а к ней будет присоединена, хотя бы на вассальном праве, также многострадальная старая Сербия, какое основание будет иметь Австрия жаловаться на нарушение ее интересов? С таким же точно правом могла

бы она претендовать и на естественный прирост населения в Сербском княжестве.

Австрия не может стерпеть, чтобы на ее границах образовалось Славянское государство в два с половиной миллиона населения. Но ведь такое же количество, и даже значительно больше, может пропитать Сербское княжество и в теперешних своих границах. Не выселять же из него жителей, превышающих определенную Австриею норму!

Справедливость к княжеству, к самой старой Сербии, ко всему Сербскому народу, равно как и общие интересы Славянства — одинаково требуют присоединения старой Сербии к княжеству, хотя бы, в успокоение Австрии, и под условием сохранения, до поры до времени, Турецкого вассальства.

Черногория должна выйти из войны, в которой принимала, и до сих пор принимает, деятельное и славное участие, вполне обеспеченною в своем существовании и по возможности увеличенною и усиленною. Южная Герцеговина, хотя бы только до реки Наренты; северная Албания с Подгорицею, Гусинье с Скутарийским озером хотя бы до реки Дрины; морское побережье с Специею и Антивари — вот на что, по крайней мере, имеет право Черногория.

Самую затруднительную задачу составляют Босния и Герцеговина, в виду противодействия Австрии справедливому устройству этих стран. Если бы северо-западная часть их, преимущественно населенная католиками, и отошла к Австрии, с этим еще бы можно было помириться, так как вероятно самому католическому населению такое присоединение не было бы неприятно. Но остальные части Боснии и Герцеговины, ежели они уже не могут быть присоединены ни к Сербии, ни к Черногории, — должны бы составить отдельное вассальное владение Турции.

Что касается Греции, то от нее зависит принять участие в борьбе и получить законно ей принадлежащую долю: Фессалию, Эпир и часть Македонии; но странно требование, чтобы

другие с крайними жертвованиями и усилиями таскали для нее каштаны из печки.

После греческого восстания двадцатых годов, в котором Славяне Турции не принимали участия — они ничего и не получили, когда Греция, при содействии же России, отвоевала свою независимость, и если не приобрела всего ей следовавшего по справедливости, то благодаря ее же друзьям Англичанам, с которыми она так любит советоваться и на которых возлагает свои надежды.

Таким образом Балканские Христианские народы получили бы им должное; будущая судьба их была бы устроена и упрочена.

Но необходимости еще выполнение некоторых особых условий в видах вознаграждения как России за ее жертвы, так и самих Христианских народов Турции за перенесенные ими страдания. Собственно, в вознаграждение военных издержек России, ей должен быть уступлен турецкий броненосный флот, который сделается для Турции бесполезною тяжестью, и часть Азии, — по крайней мере Карс и Батум.

Но особенную важность, кажется мне, имеет следующее обстоятельство. С самой Крымской войны Турция заключала за границую огромные займы, не для улучшения своего внутреннего состояния, а для подготовки к борьбе с Россией, сильнейшего угнетения своих христианских подданных, и мотовства султанов. Справедливо ли будет возложить эту тяжесть, частью на те христианские народы, которые получают полную или вассальную самостоятельность, частью же на те, которые, будучи sporadически рассеяны по Турции, останутся, во всяком случае, под ее непосредственною властью? Не значило ли бы это заставлять платить невинного страдальца за орудия пытки, которыми его терзают?

Из этого только один, пожалуй не легальный, но справедливый выход — банкротство Турции.

Не гораздо ли справедливее в самом деле, чтобы заплатились те, кто, частью из алчности, частью из прямой вражды к России и Славянству, снабдили Турцию денежными средствами, для ее незаконных целей, нежели те, которые несли цепи, сковываемые и заклепываемые этими самими займами? — Не справедливее ли, чтобы наказан был делавший зло, а не потерпевший от него?

Ежели правительства Англии и Франции поощряли своих подданных давать в займы деньги турецкому правительству, если они, хотя только косвенно — своим влиянием, гарантировали эти займы, то пусть и ответят за это; но Россия не должна допускать, чтобы этот незаконный долг лег бременем на освобождающиеся от ига народы, чтобы турецкое угнетение продолжало тяготеть над ними из глубины прошедшего. Само собою разумеется, что исключение из этого должен составить долг железнодорожный, так как он послужит в пользу тех стран, через которые были проведены железные пути.

Таким образом, Россия, не присоединив себе ни пяди турецкой земли, по крайней мере в Европе, достигнет своих высоких священных целей. Все Славянские и христианские народы Балканского полуострова получают, по меньшей мере, ту степень политической независимости, которая дозволит им беспрепятственно развивать свое внутреннее благосостояние. Ни один не выйдет обиженным, обделенным, но, получив должное вознаграждение за свои жертвы, усилия и страдания — будет ясно видеть, что все это достигнуто при братской помощи России, вопреки противодействию значительной части Европы. Нравственная связь между Россиею, Славянскими и прочими христианскими народами Балканского полуострова сохранится, укрепится, усилится и восстановится там, где события последних двадцати лет ее ослабили или расшатали; материальные преграды, их разделяющие, также рушатся. А между тем, Россия не возьмет Константинополя, не овладеет проливами, не присое-

динит к себе ни клочка Турецкой территории в Европе; то есть, не нарушится ни одного из тех условий, которые Европа, и в особенности Англия, считает необходимыми для сохранения так называемого равновесия на восток.

Конечно, на этом мы не можем успокоиться. Мы должны будем впоследствии заботиться, чтобы иметь в освобожденных народах не простых доброжелателей, но сильных организованных союзников, могущих при случае оказать нам действительную помощь и содействие к достижению общих дальнейших целей. Это будет уже делом благоразумия нашей последующей политики.

Что касается самой Турции, то, лишенная европейского кредита, флота, Дунайских и Балканских крепостей, и тех подданных, соками которых она питалась, ей не останется ничего иного, как, отбросив мечты о невозвратимом внешнем величии, предаться исключительно заботам о своем возможном еще внутреннем благосостоянии, и подчиниться вполне влиянию России. Только тогда и те христианские подданные Порты, которые хотя спорадически, но в большом числе рассеяны по ее владениям, и которые не могут быть освобождены иначе, как с совершенным разрушением Турецкого государства, найдут действительно покровительство в влиянии России. Только тогда и само это политическое влияние перестанет быть обманчивым призраком, а перейдет в область действительных фактов.

Политическое влияние для дипломата то же, что победа или завоевание для воина, что энергичная, всепроникающая, всем руководящая администрация для правителя: его слава, его торжество, цель всех его стремлений. Однако, не смотря на все действительные жертвы, которые приносились Россиею для приобретения этого влияния в Турции, оно разлеталось как мыльный пузырь всякий раз, когда в нем встречалась настоящая надобность.

После Андрианопольского мира это дипломатическое влияние в Константинополе сделалось постоянною целью русской политики на востоке. Ему были принесены в жертву много интересов более положительного свойства, например 12 миллионов червонцев неуплаченной контрибуции. Оно достигло своего апогея после помощи, оказанной султану против Мегмета-Али⁴, в Хункиар-Скелесском договоре; и что же? — менее чем через двадцать лет, все это влияние, столькими жертвами и усилиями купленное, окончилось, под напором французских и английских интриг, оскорблением самых священных интересов России, с очевидным ущербом для самой Турции, потому что этим же оскорблялись и религиозные интересы большинства ее Христианских подданных, что, как известно, и повело к Восточной войне. Неудивительно, что в те времена приписывалась такая важность дипломатическому влиянию; ведь тогда господствовала, и у нас может быть более чем где-либо, Меттерниховская школа, — это порождение самого дипломатического из государств.

Но и еще раз повторилось дипломатическое преобладание России в советах Порты. Оно процветало еще в начале прошедшего года. Когда обыкновенная дипломатическая интрига не могла совладать с ним, — была пущена в дело революция, направленная несравненно более против русского влияния, чем против несчастного Абдул-Азиса, и опять — самые скромные требования России были отвергнуты, что опять привело к войне. Политическое влияние тогда только прочно, когда нет сил ему противиться.

Конечно, Англия будет всеми мерами противодействовать такому исходу, — но как же может она ему воспрепятствовать?

Относительно Мандвичевых или Маркизских островов, относительно дальних заморских стран, Мыса Доброй Надежды, Чили, Явы, Суматры, пожалуй Японии — Англия очень сильное и грозное государство; но относительно материковых стран

Европы, западной Азии, Америки, где она встречается с могущественными континентальными державами, могущество Англии не более как мираж, отсвечивающий явления давно-прошедшего.

Конечно, Англия захочет себя вознаградить за усилившееся влияние России. Ну пусть и вознаграждает, только не на материке Европейской Турции и не у Кавказских и Черноморских окраин Малой Азии, потому что оттуда мы ее прогоним, а если угодно в Египте, где это до нас не касается, или в Кандии, это будет в известном смысле для нас даже не безвыгодным, потому что раскроет глаза Греции на то, где и кто ее истинные друзья и доброжелатели.

Конечно, желала бы вознаградить себя и Австрия. Но чем? Присоединение сколько-нибудь значительной части граничащих с нею Славянских стран, если бы даже мы могли это допустить, встретить сильное сопротивление со стороны Венгерской половины монархии, опасющейся усиления Славянского элемента. Если бы, со всем тем, Австрия решилась, очертя голову, явно стать против России, препятствуя ей в достижении ее справедливых целей, в сущности ни мало не подавляющих законных интересов этой державы, — тогда дело вступило бы в новый фазис, на сцену истории выступило бы второе явление последнего действия восточной драмы, и пошел бы другой разговор, который еще нет надобности теперь начинать.

2

Как отнеслась Европа к русско-турецкой распре

(«Русский мир», 13 октября 1877 г. № 279)

Европа не могла, не умела, не хотела — последнее думаю будет вернее — обуздать свирепого злодейства Турок, — не обезумевшей народной массы, а Турецкого правительства, ибо, не говоря уже о теперешних кознях и избиениях, и прошлогодняя

Болгарская резня не была взрывом народной злобы, а исполнением правительственного заговора. При ужасной вести об изнасилованиях, убийствах, истязаниях стариков, женщин, детей, у Европы не вырвался вопль негодования, который, заглушив мнимый и лживый политический расчет, заставил бы ее встрепетаться, броситься на помощь несчастным и своим могучим словом исторгнуть раз и навсегда жертву у палача. — Говоря: мнимый и лживый политический расчет, я становлюсь на европейскую, антиславянскую точку зрения. Быстрая, решительная защита Герцеговинцев, Босняков, Болгар не придала ли бы всему делу общеевропейского, а не славянского характера, который оно теперь неоспоримо получило как-бы это не закрывалось, не замаскировывалось дипломатическими фикциями? Угнетенные, жаждущие спасения не стали бы разбирать, из чьих рук оно им подается. У России была бы отнята слава подвига и жертвы.

Но только-ли не могла, не умела, не хотела Европа обуздать Турецкую свирепость? — Не справедливее ли будет сказать, что частью прямо и непосредственно, частью косвенно своим попустительством, — она сама разнуздала ее и до сих пор продолжает ей потворствовать? — Прямое, непосредственное подстрекательство Англии слишком явно, чтобы нужно было на нем останавливаться. Отказ от подписания Берлинской мемории¹, свержение Абдул-Азиса², прошлогодняя посылка флота в Базикскую бухту: что это как не подстрекательство? «Дерзайте мол на все — мы за вас стоим». Что такое, опять, как не прямое подстрекательство — все действия Венгрии, митинги Пештских студентов³, поднесение почетной сабли Кериму, недавние иллюминации по поводу Турецких успехов? Не прямое ли подстрекательство закрывание так же глаз Австрии перед многочисленными нарушениями Австрийской территории, как например, пропуск Турецких войск на 6 километров вглубь от границы, для нападения с тылу на позицию Боснийских инсургентов? Но это все частности, мелочи; главное, существенное потворство и по-

пущение, а следовательно, и подстрекательство, заключается в том, что Турция знала, и покуда не ошиблась в этом, — что, как бы она ни поступала со своими Славянскими подданными, Европа в целом отнесется к этому равнодушно, полуодобрительно, и всеми мерами будет противодействовать России в обуздании и наказании ее. Если в чем и ошиблась Турция, так это только в оценке настоящего политического положения Европы. Чтобы вполне убедиться, как сравнительно ничтожна доля сочувствия, выпадающая России и Славянам, и то со стороны лишь некоторых благородных исключений представим себе, как отнеслось бы общественное мнение Европы, да и сами правительства ее, если бы часть тех ужасов, которым мы были свидетелями в Болгарии, совершалась, при тех же обстоятельствах, в каком-либо другом государстве Европы. Пусть, например, в правление Неаполитанского короля Фердинанда⁴, прозванного «Бомбой», тамошние лазарони, бандиты и вообще грубая чернь, подстрекаемая католическими монахами, затеяла бы нечто подобное Батакской или Ковариской резне⁵, в наказание либералов. (Я слишком уважаю Итальянский народ, чтобы считать даже самые испорченные и грубые слои его, способными к таким ужасам, — при каких бы то ни было обстоятельствах, и делаю свои предположения лишь в виде примера). Какой раздался бы всеобщий вопль негодования, какими овациями был бы осыпан вступившейся за обиженных Гарибальди! Какая помощь была бы оказана Сардинскому правительству, если бы оно вздумало послать свои войска, для обуздания и наказания преступного правительства! Какое единодушие представили бы тогда воодушевленные благородным негодованием, состраданием, чувством оскорбленного человеческого достоинства, и правительства и общественное мнение Европы! Все это даже — не совсем предположение. Все это было на самом деле, по поводу не более как плохой администрации королей Фердинанда и Франциска⁶, которая конечно не может же идти в какое-либо сравнение с Ту-

рецкими ужасами. Если, таким образом, замышляющий преступление уверен в потворстве большинства присяжных и судей; то это разве не составляет ли для него подстрекательства к совершению преступления?

Кто же в Европе официальной и неофициальной на стороне Турок, и кто за восточных христиан и Россию? На стороне Турок, во-первых, Англия, не министерство только, но и парламент, а следовательно и представляемое им большинство нации. Вспомним, как быстро пало министерство популярного Пальмерстона, когда оно выразило готовность исполнить желание Французского правительства о выдаче пособников в покушении на жизнь Наполеона III. Ведь сумела же тогда сказаться народная воля; а что-же теперь? Явно на стороне Турции транслейтанская часть Австрийского правительства и преобладающий в ней, если не численно, то политически Мадыарский народ. На стороне ее жидовствующая, банкирствующая, биржевая, спекулирующая Европа — то, что вообще понимается под именем буржуазии, как о том свидетельствуют лучшие и знаменитейшие выразители ее стремлений: *Revue des deux mondes* и *Journal des débats*⁷. На ее стороне Европа католическая с святым отцом во главе; а как она еще сильна, энергична, как велика ее численная сила, это показывают явления последних годов. Но на стороне же Турции и отъявленные враги католичества и буржуазии; Европа демократическая, революционная и социалистическая, начиная от национально-революционных партий, Польской, Мадыарской с графом Платером, Кошутом и Клапкою⁸, до космополитической интернационалки. На стороне России и восточных христиан, во-первых, благородный и великодушный Император Германии⁹, помнящий, что долг платежом красен; на той же стороне, думаю, и его канцлер — тонкий и глубокий политик, да еще группа благородных Англичан: Гладстон, Карлейль, Фриман, Брайт, Фарлей¹⁰, и те, конечно которые следуют за этими руководителями в Германии и в Англии. Конечно,

найдутся и еще отдельные личности разных наций и на разных ступенях общественной лестницы. Вот и все. Если, со всем тем, за Турцию не ополчается половина Европы, как в 1854 году, то не от недостатка доброй воли, конечно, а от случайного сочетания политических созвездий, в настоящее время благоприятного России. Нарушение политического равновесия, в чью бы то ни было сторону, всегда выгодное для России, как это мною было строго и подробно доказано, — оказалось выгодным и теперь, как было выгодно во времена Наполеона I, когда, после неудачной войны 1807 года, мы заключили мир, едва ли не выгоднейший из всех когда-либо нами заключенных, и которым мы только не сумели воспользоваться.¹¹

Но и при такой благоприятной для России расстановке политических сил, в какое положение были поставлены Россия и Турция и во время дипломатическом переговоров, и теперь во время войны? Положение, которое в конце концов ни от чего иного зависеть не может, как от отношения Европы к обеим сторонам. Это точный индикатор, означающий градусы сочувствия Европы к нам и к нашим противникам, — обозначающий, так сказать, его среднюю величину, выведенную из всех колебаний в ту и в другую сторону, из всех в разные стороны направленных течений.

Когда одного твердо сказанного Россиею слова оказалось достаточным для удержания Турецких армий на пути к Белграду; когда, без сомнения, одного такого слова было бы достаточно, что бы заставить Турцию принять все условия, которые обеспечили бы судьбу восточных христиан, если бы Россия могла действовать беспрепятственно, — придуманы были конференции. На конференциях самые умеренные предложения, коллективно обдуманые, были отвергаемы одно за другим Турциею, и когда, все, с общего согласия всех держав, они были обрезаны до неузнаваемости, сведены на нет: Турции все-таки было дозволено не принять их. Европа забыла свое достоинство, и

мы увидели повторение Венских конференций 1853 года, когда предложения, предъявленные четырьмя державами и безусловно принятые Россией, были дерзко отвергнуты Турцией. Чем после этого должно считать Константинопольские конференции, как не бревнами, брошенными под ноги России, чтобы воспрепятствовать в достижении ее святых, бескорыстных целей? Чем, как не средством доставить Турции время приготовиться к борьбе и тем по возможности ослабить перевес России?

Но война началась. Турция, почти обанкротившаяся, лишенная кредита, с страной опустошенной собственными неистовствами, находит однако же средства вооружать, кормить, содержать многочисленные армии и флоты. Кто-нибудь дает же ей средства? В своих действиях она ничем не связана, совершенно свободна, может наносить удары нам, Черногорцам, Герцеговинцам, Боснякам, где ей угодно по своему произволу. Пытались положить на нее одно ограничение, не из сочувствия к нам, а из собственных коммерческих выгод, — я разумею ходатайствовать Англии, чтобы Турецкий флот не бомбардировал Одессы; но и на это Турки весьма основательно отвечали отказом. Но Турки не только могут свободно располагать своими силами, они могут пользоваться ими в полном объеме, потому что, если в настоящую минуту и не могут рассчитывать ни на чью деятельную помощь, то зато по крайней мере вполне уверены, что ни одно из нейтральных государств, ни в каком случае, не обратится против их. И этой свободы, этого обеспечения им не приходилось покупать ценою каких-либо уступок в настоящем или будущем. Видно, ни чьим интересам в Европе Турция вредить не может. Есть, правда, одно нейтральное государство, со стороны которого Турция конечно опасается, но по видимому не очень многого — это Греция. Но ведь Греция в этом случае не может быть причислена к беспристрастной нейтральной Европе; она сама — задетая и весьма близко задетая сторона, и если до сих пор все еще не может вступить за свое

дело, то конечно также не без влияния якобы беспристрастных нейтральных держав.

Каково же положение России? Мы и союзники наши Черногорцы и того, и другого, и третьего не должны сметь делать, чтобы не нарушить чьих-либо интересов. Мы не должны нападать на Египет, чтобы не повредить интересам Англии, то есть должны считать его нейтральным. А Египет может посылать, контингент за контингентом, сражаться за Турцию, да и то едва ли даже за свой счет, так как у него заведомо нет денег, а за счет тех именно, в чью пользу мы отказываемся от права на него нападать. А ведь мы бы могли послать для этого для иной какой цели, то очевидно потому, что в виду так называемого нейтралитета Англии, не решались оставить без защиты Балтийское море. Египет воевать с нами может, а Сербия нам помогать не должна, по крайней мере не должна была до сих пор, потому что этим нарушались бы интересы Австрии, хотя, казалось бы, что ведь — Египет, принимая участие в войне, нарушает интересы Англии, так как дает нам право на репрессалии. Но нет, в отношении к нам действует какой-то совершенно особый кодекс международного права. Россия не может также проводить своих войск через Сербию, хотя опять трудно понять, по какой такой статье международного права. Если считать Сербию вассалом Турции, то мы имеем право на занятие Сербской территории, в качестве воюющей стороны; если считать Сербию Славянским государством, стремящимся свергнуть с себя и помочь свергнуть другим ненавистное иго; то мы имеем право вступить на ее территорию, в качестве друзей и союзников. Но и этого еще мало; мы не должны были по-видимому переступить р. Алуту, чтобы не приблизить театра войны к границе Австрии, так как это нарушает ее интересы, хотя нарушение воюющими — интересов мирных невоюющих соседей, в известной мере, совершенно неизбежно, и не дает еще права налагать на воюющих разного

рода ограничений, а тем менее налагать их только на одну, сторону, и притом еще ограничения такого рода, что они приносят другой стороне положительную выгоду. По недавним известиям, Сербии разрешается вступить в войну, хотя опять-таки с ограничениями относительно Боснии; предоставляется ли также и русским проход через Сербию, не знаю. Но, как бы то ни было, это позднее возвращение нам права воюющей стороны не изглаживает уже причиненного нам вреда. Каковы бы ни были наши стратегические ошибки, существенную причину нашей трехкратной неудачи под Плевном надо приписать совершенному обеспечению Турецкого тыла и флота со стороны Сербии, которая, ни сама не должна была воевать, ни пропускать Русских войск через свою территорию, по требованиям Австрии, считающейся еще к тому-же нашею союзницею. Результат этого союза, до сих пор по крайней мере, ограничивал свободу наших действий, лишал нас наших естественных, не мнимых, а действительных союзников, обеспечивал тыл и флот Турецкой армии, предал Боснию турецкому произволу и едва не погубил Черногорию. Все это конечно превосходит понимание обыкновенного здравого смысла и должно быть относиться к высшим областям науки международного права, в особом ее применении к России, по которому трудно решить: от кого более вреда России — от ее врагов, или от ее союзников.

Те же стеснения, а еще в большей мере, налагаются на наших союзников. Черногорцы не должны вести наступательной войны, не должны идти в Герцеговину — иначе вмешательство; вторгаться же Туркам в пределы Черногории нет никаких препятствий. Обход позиций Боснийских инсургентов через Австрийские владения — также вполне дозволителен.

Как известно, блокада портов должна считаться действительною тогда лишь, когда блокирующих морских сил достаточно, дабы не пропускать ни в порт ни из порта торговых ко-

раблей; между тем ни у Одессы, ни у Севастополя, ни у Керчинского пролива, в течение почти шести месяцев, протекших от начала войны, не стоит блокирующей эскадры, что очень хорошо известно всем Европейским консулам, проживающим в этих портах. Однако, нейтральные державы признают эту мнимую блокаду, и тем наносят вред, не только Русской, но и своей торговле, и косвенно помогают Турции, доставляя ей возможность употреблять свой военный флот для нападений на Кавказский берег, для перевозки войск с одного театра войны на другой и иных военных целей. А это разве не нарушает наших интересов? Ведь одно из двух: или наши Черноморские и Азовские порты продолжали бы вести торговлю, что, не говоря уже о других выгодах, противодействовало бы падению нашего курса; или значительная часть Турецкого флота была бы парализована содержанием этих портов в блокаде.

Счастливая Турция! Она не только ничьих интересов не может нарушить, как бы и где ни воевала; она не может даже ни оскорбить, ни возмутить ничьих нравственных чувств (за небольшими опять-таки исключениями), хотя бы купалась в Болгарской и Армянской крови. Никакие протесты, никакие дипломатические ноты не тревожат ее по поводу этих мелочей. Недавно читал, правда, в газетах, что, по примеру поданному Германией, начинают поступать протесты и дипломатические возражения Порте от разных государств, даже от Англии. Но ведь это только по поводу обращения с русскими ранеными и пленными, несогласного с правилами Женевской Конвенции, к которой приступила и Турция, следовательно по поводу прямого нарушения положительного, трактатом утвержденного пункта международного права, естественными охранителями которого и суть нейтральные державы; но нисколько не касается Болгар, Армян и Греков. Права сдирать с них кожу, сажать на кол, жечь, или закапывать в землю живыми, бесчестить и затем убивать их жен и дочерей, раздирать на двое младенцев, сколько

мне известно, до сих пор еще никто у Турции не оспаривает, как права несомненно принадлежащего державному и независимому государству, например в сонме Европейских держав срамных не для нас, а для Европы Парижским договором, отменившим ту нравственную опеку, которую Россия имела в этом отношении над Турциею, по славному Кучук-Кайнарджискому договору¹².

Совсем иное дело Россия и ее союзники; она имеет несчастье везде задевать чьи-либо интересы, то общие, католические, то Английские, то Австрийские, то даже Итальянские, ибо ведь и Италия не может допустить, чтобы Черногория получила порт на Адриатическом море. Жестокости России, даже мнимые, придуманные Турецким министерством иностранных дел, и засвидетельствованные несколькими негодьями корреспондентами, имеют свойство возмущать Европу, появляются в «синих книгах», возбуждают журнальные вопли и, что хуже всего, оскорбительные оправдательные приговоры, сваливающие вину на Болгар — «этот варварский и мстительный народ», по словам г. Велеслея. Прелестная фраза особенно в устах Англичанина, соотечественники которого так благодушно усмиряли индейское восстание 1857 года!¹³

И так, и на этот раз, после всей уступчивости России, после неоднократного призыва ею Европы решить дело сообща, руководствуясь, единственно, человеколюбием, — мы не можем похвалиться сочувствием Европы. Ужасы, от которых волосы становятся дыбом, встречаются (за некоторыми, опять с удовольствием повторяем это, благородными исключениями) довольно равнодушно, местами даже сочувственно. Нигде на Западе не является ничего подобного фильэллинизму¹⁴ двадцатых годов. К русскому народному движению во время Сербской войны отнесли более или менее враждебно. Дипломатическому действию России ставились препятствия. На конференциях, Россия, предоставившая решение совокупному действию держав, принужде-

на была отступаться, от одного за другим, от первоначальных предложений, более чем крайне умеренных, потому конечно, что большинство плохо ее поддерживало. Но и жалкий остаток этих предложений отвергнут. Все спокойно расходится, нисколько не оскорбляясь насмешливою дерзостью турок. Но возможно ли допустить такое забвение собственного достоинства? Чего другого, а «щекотливого гонора» нельзя же отрицать у Европы.

Если она отступила не краснея — значит, в сущности, достигла, чего желала. Огромный перевес сил, бывший на стороне России, при совершенной неготовности Турции, в значительной мере ослабился временем, данным Турции для напряжения всех своих сил; Россия, желавшая действовать заодно с Европой (выгодно ли бы это для нее было, соответствовало ли бы ее историческому призванию — это другой вопрос), была принуждена начать войну на свой страх, и при этом была поставлена, вместе с ее естественными союзниками Черногорией и Сербией, в самое стеснительное, самое неловкое положение не иметь возможности развернуть своих сил, лишена свободы действия — и на сколько проигрывала Россия, на столько выигрывала при этом Турция.

Но зачем, могут возразить нам, обвинять Европу огулом? По крайней мере, ведь, Германия за нас. Мы и не думаем отрицать благорасположения к нам Германского правительства и значительной части Германского общественного мнения, ни мало в нем не сомневаемся. Вообще, русский народ — чрезвычайно мягкосердечный, открытый чувству благодарности, чувствительный ко всякому привету и ласке, которыми не избалован. Против приветов и ласки мы даже, решительно, устоять не можем — и это очень хорошо. Однако все же, кажется мне, позволительно помнить, что благорасположение Германии не дар, а уплата долга — ведь не у всех же медный лоб. Далее, думается мне, позволительно будет также заметить, не нарушая приличий и деликатности, что уплату принуждена нам производить Германия за звонкую золотую

монету — ассигнациями не слишком высокого курса. Не говоря уже о давно прошедшем, в 1870 году Россия обеспечила Германии полный, абсолютный нейтралитет Австрии¹⁵; между тем как обеспечиваемый нам нейтралитет той же Австрии весьма условен, с большими, не в пользу нашу клонящимися, ограничениями, нейтралитет, который, не нарушая справедливости, можно по меньшей мере назвать нейтралитетом недоброжелательным. И этого мы, опять-таки, не думаем ставить в вину Германии, почему и употребили выражение: «Германия принуждена была производить уплату...» Мы охотно верим, что Германское Правительство делает для нас все для него возможное; но если при всем том, что возможное так недостаточно, то какая же может быть тому причина, как опять-таки не общее течение европейских интересов, мнений, сочувствий, которое в целом не в нашу пользу? А если это так, то что же обязывает нас при окончательном расчете принимать во внимание именно эти интересы, мнения, чувства Европы? С начала и до сих пор мы не видали ни ее помощи, ни ее сочувствия (опять повторяю — мы не говорим о частностях и исключениях), и конечно еще менее увидим их при конце, при установлении мирных условий. Каждое предложение Европы будет, — вне всякого сомнения, — клониться к нашему вреду.

Если мы видели себе постоянную помеху во время предварительных переговоров, видим ее во время самого ведения войны, неужели имеем нравственную обязанность сносить ее и при заключении мира? Когда Германия наложила свою тяжелую руку на Данию¹⁶ и на Францию, разве ей помешали овладеть половиною территории и населения первой, двумя богатейшими провинциями и пятью миллиардами у второй? Разве конгрессы решили тогда дело, а не воля победителя? Или, может быть, тогда не были замешаны в деле общеевропейские интересы, то есть, другими словами, Дания и Франция не в такой интимной, близкой, тесной связи с Европою, как Турция? Казалось бы совершенно наоборот.

Еще Пушкин сказал:

Оставьте! Это спор Славян между собою...

Вопрос, которого не разрешите вы...¹⁷

И тем провозгласил Славянское учение Монроэ¹⁸ по поводу распри между двумя Славянскими народами. Конечно, в той же и даже большей мере, относится это и к настоящему случаю, когда один Славянский народ поднялся на освобождение своих братьев. Кому какое до этого дело, кто имеет право вмешиваться в этот Славянский вопрос, особенно после того, как, благодаря Богу, все отказались последовать призыву России решить дело общими силами? После того, как вся тяжесть борьбы оказавшейся не легкою вследствие препятствий поставленных Европою же, легла на плечи одной России, кто может требовать, чтобы она поделилась плодами своих усилий, своей крови и не только поделилась, а принесла ее в жертву мнимым и незаконным, интересам Европы? — Мы должны быть столь же свободны, как была в свое время Германия, тем более, что и притязания наши гораздо умереннее. Мы желаем лишь, чтобы условия мира не послужили к нашему вреду и ко вреду защищаемых нами народов.

В первой статье моей, я желал показать, какие результаты войны могут считаться для нас выгодными, могут быть приняты за действительный успех, за шаг вперед к разрешению Восточного вопроса.

Теперь я намереваюсь выставить на вид те вероятные предложения со стороны Европы, которые, во что бы то ни стало, должны быть отвергнуты, как грозящие бедою и нам, и Славянам. Одно из таких вероятных предложений, о котором уже и заговаривали, касается Босфора и Дарданелл. Другое, еще более гибельное, касается самого Константинополя, если обстоятельства примут решительный оборот и поднимется вопрос о совершенном изгнании Турок из Европы.

3

Проливы

(«Русский мир», 1877, 23, 24 окт. №№ 289 и 290)

С разных сторон слышится, что в числе условий, которые должна выговорить себе Россия, должно заключаться между прочим и то, чтобы проливы были объявлены нейтральными, или чтобы они были открыты для свободного плавания, что далеко не одно и то же. Но то и другое крайне для нас невыгодно. Предложения эти слышатся не только из-за границы, но и в России, между тем как стоит лишь немного вникнуть в значение этих либеральных формул, чтобы убедиться в том огромном вреде, который они неминуемо должны иметь для России.

Рассмотрим сначала случай нейтрализации проливов. Очевидно это значило бы, что военные корабли ни одной державы не должны бы проходить через проливы. Русский Черноморский флот следовательно остался бы на старом положении, то есть запертым в Черном море, и весьма мало надежды когда-либо высвободиться из этого плена, ибо запрещение входа и выхода было бы наложено на него уже не одною Турциею, а общим решением Европы, при документированном согласии на него самой России. Но каким образом провести нейтрализацию по отношению к самой Турции? Ведь это значило бы сказать ей: строй корабли в Черном море и строй их в Архипелаге и Средиземном море, но никогда не смей переводить их из одного из этих бассейнов в другой. Мы конечно весьма далеки от того, чтобы принадлежать к числу друзей Турции, но все же полагаем, что такому условию ей невозможно подчиниться до тех пор, пока берега проливов будут оставаться в ее руках. Каким образом, в особенности, заставить Турцию соблюдать это правило в случае войны с каким бы то ни было государством? Неужели, если ее Черноморскому флоту, например, будет угрожать пора-

жение, — а при входе в Дарданеллы у нее будут собраны значительные морские силы, она, из уважения к фиктивному дипломатическому препятствию, не пошлет их на выручку своих Черноморских кораблей? Если же это правило не может быть обязательно для Турции, как владеющей проливами, то не может оно относиться и к ее союзникам, которые должны пользоваться наравне с нею всеми военными правами. Без этого что же они будут за союзники?

Здесь кстати будет заметить, что вообще может идти речь о нейтрализации только таких проливов или морских каналов, которые, подобно Суэцкому или будущему Панамскому, служат лишь проходами, а не таких, которые, подобно Босфору и Дарданеллам, или Зунду и Бельтам, составляют не только *проходы*, но еще кроме того *входы* и *выходы*. Можно согласиться не пропускать военных кораблей через Суэцкий канал потому, что собственно он ни откуда не выводит и никуда не ведет, куда нельзя бы было попасть иным путем, и если это запрещение будет для всех одинаково, то тут, собственно говоря, не будет теряющей стороны.

Совершенно иное дело проливы, ведущие в глухие моря. Здесь воспрещается выход из них прибрежным державам, которые другого не имеют и которым он, следовательно, существенно необходим, и, в вознаграждение за это, запрещается вход тем которым без того туда ходить не за чем, и которым этот путь мог бы быть легко загражден без всякого договора прибрежными державами. Где же тут равноправность? Однако, и на нейтрализацию Суэцкого канала Англия, видимо хорошо понимающая свои выгоды, соглашаться не хочет.

В сущности, нейтрализация проливов привела бы, как мы уже сказали, к теперешнему положению, то есть, что проливы, постоянно запертые для России, были бы, в случае войны с Турцией, открыты для нее и для ее союзников. Но, однако, и это положение для России несравненно выгоднее того, которое

бы наступило вследствие провозглашения свободного плавания по проливам. Что касается до свободы торгового плавания, то о ней говорить нечего, она уже существует более ста лет, — со времени славного Кучук-Кайнарджиского мира. Это одно из многих благодеяний, добытых для всего света успехами Русского оружия. Даже и теперь, при войне с Россиею, Турция, по настоящему, не имеет права преграждать плавания нейтральных коммерческих судов через проливы, хотя бы они направлялись к Русским портам. Доказательством этому служат толки в Английском парламенте о действительности Турецкой блокады, и, если бы дело не касалось любимого английского детища, то английские торговые суда, при подобных обстоятельствах, и не задумались бы оставить без внимания мнимую блокаду, продолжая вести торговлю с портами, вход в которые совершенно свободен.

Итак, дело может идти только о свободе плавания военных судов по проливам. Тут надо различать несколько случаев: 1). Проход военных судов в мирное время. Он не имеет большой важности, хотя конечно представляет некоторые выгоды России, давая возможность проходить судам, строящимся на Балтийском море, в Черное и наоборот, подобно тому, как еще недавно проводились корабли, построенные в Архангельске, в Кронштадте. Но очевидно, что длина пути делает эту выгоду почти ничтожною, и все, что такое право могло бы нам доставить — может быть достигнуто постройкою кораблей в самом Черном море. Но эта ничтожная выгода оплачивается огромным вредом в военное время. 2). В случае войны с Турцией и ее союзниками — свободное плавание по проливам, как это само собою разумеется, прекратится и наступит тоже положение, которое и теперь существует. Тут, следовательно, не было бы ни выигрыша, ни проигрыша. Но все вредные для России последствия свободного плавания по проливам обнаруживаются в третьем случае, именно: 3). В случае мира с Турциею и войны с

какою-либо сильною морскою державою, например, с Англиею или с Францией, Россия, находящаяся в необходимости содержать громадную сухопутную армию, которая и в мирное время почти вдвое превосходит армию всякого другого государства, и довольно значительный флот в Балтийском море, никогда не будет в состоянии довести силу Черноморского флота до той степени, чтобы он мог соперничать с флотами первостепенных морских держав. Допустим, что оба Русские флота в совокупности равняются, например, силою с Французским, — ведь далее этого не могут же идти самые сангвинические надежды, — и тогда часть Французского флота, немногим, положим на одну треть, превышающая каждый из Русских отдельных флотов, имела бы на своей стороне все шансы разбить их порознь; ибо расстояние, которое будет отделять Французский флот от каждого из наших берегов значительно меньше, чем расстояние, разделяющее наши флоты.

Следовательно, возможность, даваемая Черноморскому флоту принимать деятельное участие в войне против сильных морских держав, далеко не уравнивается свободою, предоставляемою этим последним вступать через пролив в Черное море и нападать там на наш флот и наши берега.

Одни общие соображения всегда оставляют в уме некоторую неясность и неопределенность; попробуем, поэтому, оценить, во сколько ослабляются силы России — господством враждебного нам флота на водах Черного моря. Восточная война послужит нам для этого масштабом. На Европейском побережье Черного моря, то есть только в Крыму, по берегам Херсонской губернии и небольшого участка Бессарабии, расположены у нас два корпуса. Сколько войска употребляется для охранения берегов Кавказа нам в точности неизвестно; знаем только, что его было меньше чем было нужно. У генерала Охlobжио, занимавшего пространство от Риона до Батума, было, судя по газетным известиям, более 30 батальонов. Прибавим к этому отряды ге-

нералов Алхазова, Шелковникова и Бабичева¹. Оценив в 100.000 человек охрану нашего Европейского и Кавказского побережья, мы не достигнем еще действительной цифры; но остановимся на ней. В Добрудже стоит корпус генерала Циммермана, который, с прикомандированными к нему частями, достигает, по газетным известиям, 50.000. Но отряд этот парализован в своем наступательном действии тем, что в тыл ему может быть сделан десант. Без этого условия он оказал бы значительное облегчение нашей главной действующей армии, теперь же должен быть, собственно говоря, причислен к числу войск, назначенных, подобно 10 и 7 корпусам, для охраны прибрежий. И так, по самому умеренному счету, 150.000 нашего войска парализовано господством Турецкого флота на Черном море. Но этим еще далеко не исчерпываются выгоды, находящиеся на стороне Турции, вследствие ее положения на море. Сулейман² сосредоточил до 100 батальонов для атаки Шипкинского прохода. Мог ли бы он это сделать, если бы с тылу ему угрожал Русский десант? Его армия была бы точно также в значительной мере парализована, как теперь наш Добруджинский отряд.

Тоже самое относится до войск, занимающих Варну и окрестности. Прибавим к тому возможность, которую имеют Турки, быстро доставлять свои войска с Европейского на Азиатский театр войны и наоборот, возможность, которою они пользовались. Когда разлив Дуная препятствовал нашей переправе в Болгарию, Турки усилили свою малоазиатскую и кавказскую армии, а теперь взятыми оттуда войсками подкрепляют свои европейские армии, чем, если не исключительно, то в значительной мере, объясняются как наши неудачи под Карсом, так и затруднения, встретившиеся в Болгарии. Соединяя все это вместе, мы не слишком высоко оценим услугу, оказываемую Турции ее флотом, уравнив действие его стотысячной армии. Следовательно, сложив то, что нас лишает неимение флота на Черном море, с тем, что приносит Туркам их преобладание на

море, мы можем не опасаться упрека в преувеличении, признав за равнодействующее этой сумме их выгод и наших невыгод — армию в 250.000 человек. Представим же себе, какой вид получила бы война, если бы, без новых мобилизаций и наборов, с самого начала мы располагали бы лишними 250.000 на Дунае и на Евфрате. Оставляя самое широкое поле разным стратегическим и тактическим ошибкам, мы все-таки, по меньшей мере, стояли бы уже под Константинополем и владели бы Карсом, Батумом и Эрзерумом. Невольно приходят на ум слова Татьяны Онегину: «А счастье было так возможно!»³

С 1871 года возвратили мы себе право держать флот на Черном море. Если не доставало текущих средств на постройку его, не могли мы разве сделать займа в 30 или 40 миллионов и иметь на Черном море 20 или 25 первоклассных броненосцев? Не говоря о сохраненных человеческих жизнях, разве сорок миллионов экономии они бы нам доставили? Я скорее склонен думать, что четыреста, и то считая лишь одни прямые расходы и не принимая в расчет косвенных выгод от быстрого и блистательного хода войны. Вместо двадцати или двадцати пяти броненосцев у нас две поповки, имеющие, кроме всех своих отрицательных достоинств, ту удивительную специальность, что способны лишь к защите того, что не требует с их стороны никакой защиты, как-то Керченского пролива, входа в Днепровский лиман, Севастополя и Одессы, ибо торпеды и береговые укрепления удовлетворяют этой цели по меньшей мере столь же хорошо и гораздо дешевле.

Вот к каким результатам приводит нас оценка того влияния, которое имеет для нас господство враждебного нам флота на Черном море. Оно равняется 250.000 армии в войне против Турции. Едва ли можно его ценить ниже в случае войны с Англией и особенно с Францией, которые, при их огромных морских средствах, всегда могут получить господствующее положение в Черном море, при условии свободного плавания по про-

ливам. Огромные русские армии были бы нейтрализованы сильным неприятельским флотом при содействии незначительного корпуса, предназначенного для десанта.

Даже относительно Испании, войну с которой, по крайней мере в форме единоборства, конечно трудно предположить, наш будущий черноморский флот едва ли мог бы рассчитывать на положительный перевес. В случае войны с Австрией, мы могли бы правда рассчитывать на такой перевес; но самая незначительность австрийского побережья чрезвычайно ограничивает те выгоды, которые могли бы нам доставить право свободного выхода из Черного моря нашего флота, и то лишь, если бы Австрия выступила против нас без союза с сильною морскою державой, что также мало вероятно. Таким образом, при невозможности доставить нашему черноморскому флоту такой силы, которая обеспечивала бы за ним положительный перевес над флотами сильных морских держав, — свободное плавание по проливам, в большинстве случаев, было бы для нас решительно невыгодным и имело бы своим результатом отвлечение значительной сухопутной армии единственно для охраны наших черноморских берегов.

Если Босфор и Дарданеллы составляют ворота в наш дом, то выгодным для нас может считаться только то положение, когда мы имеем ключ от этих ворот в своем кармане, а не то, когда эти ворота будут постоянно настежь открыты для друга и недруга. Могут нам конечно возразить, по-видимому с некоторою основательностью, что свободное плавание есть общее правило, от которого мы не имеем права уклоняться, и должны, как и все, подчиняться проистекающим из него выгодам и невыгодам. Но приступая пока к разбору этого общего правила, допустим, что, скрепя сердце, еще можно бы было согласиться с его требованиями, если б такое выгодное для нас положение исстари существовало, и у то нас бы стали требовать, чтобы мы его не изменяли, не взирая на достигнутый военный успех. Но

совершенно иное дело, — вследствие именно этого нашего военного успеха, изменять существующее положение дела, имеющего правда и невыгодные для нас стороны, на другое, несравненно невыгоднейшее. Вход в Балтийское море также образуют проливы, хотя конечно и далеко не такие длинные, узкие и удобные к защите, как Босфор и Дарданеллы; но эти проливы издавна считаются свободными для прохода военных судов (хотя недавно только стали совершенно свободными для кораблей торговых, выкупок Зундской пошлины); и понятно, что если бы, в случае успешной войны, Россия потребовала от Дании запрещения прохода по Зунду и Бельтам военных кораблей; то другие державы этому бы воспротивились, считая требование России нарушающим свободу, которою уже пользовалось Балтийское море. Но турецкие проливы находятся в совершенно ином положении. Издавна заперты они для всех военных флотов, кроме турецкого. С какой же стати требовать России, в виде одного из вознаграждений за проведенную с большими усилиями и жертвами войну, такого изменения в существующем положении вещей, которое очевидно клонится к ее собственной невыгоде, в гораздо большей степени, чем к невыгоде Турции, которая, будучи обладательницею проливов, конечно запретит их, не взирая ни на какие трактаты, в случае войны с каким бы то ни было государством? Из доселе сказанного несомненно следует, что каково бы ни было общее правило о свободе морей, оно очевидно в настоящем случае не может относиться к России. В мирном трактате, ею предписываемом, она, вне всякого сомнения, по меньшей мере имеет право требовать, чтобы условия этого трактата не клонились явно к ее вреду. Это тоже общее правило, из которого даже невозможно представить себе исключения. Посмотрим, однако же, на вопрос с более общей точки зрения; посмотрим, чего требует общее правило о свободе морей, и как эти требования относятся к рассматриваемому случаю.

Всякое общее правило относится и к общим случаям. Но Дарданеллы и Борсфор случаи в высшей степени исключительные, почти единственные во всей топографии морей земного шара. Одинаково ли в самом деле положение страны, лежащей на открытом море, и такой, доступ к которой возможен только через узкий и длинный пролив? Пусть, например, французский флот, выйдя из Шербурга, потерпит неудачу в сражении с английским, и обратный вход в гавань будет ему загражден. Разве он не имеет возможности укрыться в Бресте, в Ларошели, в Лориане или в каком-либо другом порте Атлантического океана, Ламанша, или Немецкого моря? Но русскому флоту, вышедшему из Дарданелл, в подобном случае уже некуда было бы укрыться, если обратный вход в пролив был бы ему прегражден. Эта невыгода зависит уже от самой сущности вещей, и ее никаким трактатом изменить невозможно. Но это еще не все. Между тем, как флот, блокирующий открытую гавань, принужден бывает бурями и непогодами временно прекращать блокаду, неприятельский флот, сторожащий вход в Дарданеллы может войти в самый пролив (предполагая плавание по нем свободным) и стоять там в совершенной безопасности и постоянно стеречь вход в него, а между тем другой флот войти в Черное море и хозяйничать там по произволу. Если, таким образом, оставить проливы незащищенными и свободными для плавания всех военных судов, то на практике это будет равносильно запрещению выхода русскому флоту из Черного моря, в случае войны с сильною морскою державою, по причине страшного риска, сопряженного с выходом из него. Из одного этого соображения уже следует, что случай внутреннего моря, выход из которого возможен только через узкий пролив, не может быть подведен под общее правило свободы морского плавания, ибо государство, берега которого омываются такими внутренними морями, принуждено бы было в морской войне ограничиться одною обороною, без всякой возможности наступательного

действия. Если внутреннее море, имеющее выход через узкий пролив, представляет, таким образом, большие невыгоды, которые, в случае свободного для всех плавания по этим проливам, ничем не вознаграждаются, то справедливость требует, чтобы эти невыгоды были уравновешены, а это возможно лишь в том случае, если свобода входа и выхода через проливы будет принадлежать не всем вообще государствам, а только тем, берега которых прилегают к внутреннему морю.

Но существует ли, полное, и самое общее правило свободы плавания по морям в применении к настоящему случаю? Из чего истекают в самом деле эти общие правила, которыми руководствуются при решении вопросов международного права? Таких источников только два: обычай, установленные трактатами или долговременною практикою, под которые подводятся и новые случаи; или, за неимением таковых, основанных на здравом смысле и справедливости рассуждения. Что же говорят в настоящем случае эти освященные трактатами и практикою обычаи? Правда, свобода плавания по морям установлена после долгих пререканий и войне преимущественно против Испании, защищавшей противоположный принцип, и считавшей своею исключительною собственностью открытые ею воды Америки. Однако же, из этого правила сделано исключение, по которому прибрежная полоса в 3 морских мили (5 с половиною верст) шириною считается принадлежащею тому государству, чьи берега оно омывает. Дарданеллы и Босфор оказались бы изъятymi из общего правила не только по факту, но и по праву.

Но проливы, будучи входами, выходами или проходами из одних морей или частей морей в другие, имеют особенную важность, и потому для них, может быть, существуют особые общеправовые правила? В рассматриваемом нами отношении проливы разделяются самым естественным образом на три следующие разряда. Одни лежат между не слишком большими островами и материками или между двумя островами, как напри-

мер проливы: Мессинский, Святого Бонифация и т.п. Они могут быть всегда легко обойдены, и потому на практике и не представляется надобности устанавливать для них каких-либо особых правил; и если в подобных проливах и были бы возведены укрепления, то они имели бы значение защиты какого-либо особого пункта, а не преграждение прохода через них, что не имело бы смысла.

Другие проливы, составляющие единственный проход из моря в море, хотя и не могут быть обойдены, но столь широки, что не могут быть заграждены береговыми укреплениями; таковы, например, проливы: Гибралтарский, про который напрасно думают что через него может быть прегражден вход в Средиземное море, Отрантский, Баб-Эль-Мандебский и т.п. Они, по самому существу дела, выгораживаются из нашего рассуждения. Если их нельзя преградить, то само собою разумеется, что и плавание по ним свободно, как и по открытым морям.

Наконец, к третьему разряду проливов принадлежат те, которые не могут быть обойдены, и притом столь узки, что проход через них может быть прегражден. Но таких проливов на земном шаре только две группы: одна составляющая вход в Балтийское море, а другая — в Черное. Относительно первой группы издавна установился принцип свободного плавания военных кораблей. Относительно второй группы утвердился принцип диаметрально противоположный. Проход через пролив запрещен, как в мирное, так и в военное время военным кораблям всех наций, кроме самой Турции, владеющей обеими берегами проливов, и ее союзников. Когда всего навсего существуют только два случая, решенные в противоположных смыслах; то очевидно, что из этого нельзя извлечь никакого общего правила, и один из них не может служить юридическим прецедентом для другого; следовательно, за неимением обычаев освященных трактатами или долговременною практикою, ничего не остается, как обратиться к рассуждению, основанному на справедливости и здравом смысле.

Будем рассуждать методически, постепенно восходя от простого к более сложному. За точку исхода возьмем случай возможно простейший. Море окружено владениями одного государства, которому принадлежат оба берега ведущего в него пролива. Этот случай представляет нам Азовское море и Керченский пролив. Тут дело совершенно ясно. Владеющее морем и проливом государство имеет полное и неоспоримое право запрещать в него вход военным кораблям всех наций, так как военные корабли, входя в этот пролив, не могут иметь иных целей, кроме враждебных, защищаться от которых не может быть возбранено самостоятельному государству. Так, даже Парижский трактат 1856 года не мог отнять у нас право укрепить Керченский пролив.

Этот случай, представляемый Азовским морем, соблазняет меня сделать небольшое отступление от хода настоящего рассуждения. Азовское море не всегда было морем замкнутым, глухим тупиком, как теперь. Несколько десятков тысяч, а может быть только несколько тысяч лет тому назад, оно соединялось посредством Манычского пролива с Каспийским морем, не все берега которого принадлежат теперь России, а частью и Персии. Если бы в то отдаленное время существовали нынешние политические отношения, и в теперешнее время те давние топографические условия; то как взглянули бы мы на требование посторонними государствами свободного плавания по Керченскому и Манычскому проливам, дабы иметь возможность, при удобном случае, нападать на персидские берега? Как показали бы нам, в особенности, персидские политики, которые, после победоносной войны (преимущественно сухопутной) с Россией, вздумали бы от нас требовать прохода по Керченскому и Манычскому проливам, не для своего флота, а для военных флотов всех государств, дабы предоставить им этим возможность, при случае, бомбардировать Энзели и Астрабад, в той весьма слабой надежде, что и Персии когда-нибудь удастся со-

орудить флот столь могущественный, чтобы бомбардировать Брест, Шербург, Плимут или Портсмут? Но возвратимся к нашему рассуждению.

Второй по простоте случай, для которого, к сожалению, мы не можем привести фактического примера, был бы тот, что внутреннее море окружено владениями двух государств, каждое из которых владеет и одним берегом ведущего в него пролива. Без сомнения, эти государства, если политика их не лишена здравого смысла, очень скоро пришли бы к такому соглашению, что если, при мире между ними, одному из них придется вести войну с третьим посторонним государством; то общими силами закрыть тому третьему проход через сообща принадлежащий им пролив, сохранив для себя свободный вход и выход. Всякое другое решение было бы очевидно столь же противно их выгодам, как и здравому смыслу. Зачем в самом деле входить флотам посторонних государств в это внутреннее море, как не для нанесения вреда одному из прибрежных владельцев? В договоре, обеспечивающем их от такого возможного вреда, не возможно найти ничего противного справедливости. Прибрежным владельцам выгодно, а из посторонних никому не обидно.

Третий по простоте своей случай представляется именно Черным морем с его проливами. Берег его принадлежит двум государствам, а оба берега выводящих проливов только одному из них. Интересы обоих государств в этом случае те же, что и во втором, но средства к обеспечению их попали целиком в руки лишь одного из них. Конечно оно и пользуется своим положением, сообразно со своими выгодами, хотя бы то было и вопреки справедливости. Другому ничего не остается, как терпеть эту несправедливость, пока не получит возможности устроить дело так, как во втором случае, то есть выговорить себе, если не действительное владение одним из берегов проливов, то по крайней мере такое же обеспечение своих прибрежий, какое доста-

вило бы ему действительное владение; это было бы для обеих сторон выгодно, по отношению к обеим справедливо и никому из посторонних не обидно. Конечно выговоренное договором право не равняется фактическому владению уже потому, что, в случае войны между самими прибрежными государствами, оно нарушается, и власть преградить вход и выход через пролив очутится опять в руках того, кому принадлежат оба берега. Но с этим неизбежным злом надо примириться до тех пор, пока берега проливов останутся во власти Турции, злом все таки несравненно меньшим, чем свободное плавание через проливы. Так или почти так и было улажено дело Хункиар-Скелесским договором, возбудившем такое негодование англичан, хотя и трудно понять, на каком разумном основании.

Впрочем, исключительная власть Турции над проливами имела, вначале полное основание, так как было время, когда все берега Черного и даже Азовского моря принадлежали одной Турции, и оно было внутренним Турецким морем. Только когда значительная часть берегов ее перешла под власть России, исключительная власть Турции над проливами стала тягостною для России, делая ее неполноправным хозяином своих берегов. Мало-помалу неполноправность эта исчезала. Кучук-Кайнарджиским миром она была устранена относительно торгового плаванья, а Хункиар-Скелесским договором и относительно военных судов. Очевидно, следовательно, что Россия имеет полное основание добиваться равноправности, если не во владении, то в пользовании проливами. Она должна быть вместе с Турцией полным хозяином в море омывающем их берега. Это есть, так сказать, естественное и необходимое дополнение к тем мирным договорам, по которым северное и восточное побережье Черного моря перешло к России.

С русской точки зрения, которая вместе с тем и точка зрения здравого смысла и справедливости, вопрос о проливах может иметь только два решения. Одно — полное и оконча-

тельное, соответствующее полному и окончательному решению восточного вопроса; другое — временное, предварительное, соответствующее частному его решению, именно тому, которого мы можем разумно ожидать от настоящей войны. Первое решение, предполагающее уничтожение Турецкого владычества в Европе, должно передать проливы, если и не в непосредственное владение России, то в посредственное, как первенствующего члена Славянского, или, точнее и полнее, Восточно-христианского союза. Второе, оставляя оба берега проливов во власти Турции, предоставляет военным флотам одной России право свободного через них входа и выхода. Впрочем, для этого собственно нет нужды ни в каком специальном договоре. Вопрос о проливах решится сам собою в надлежащем смысле, при том подчинении Турции преобладающему влиянию России, которое будет необходимым следствием успешности настоящей войны, условия которой изложены мною в первой статье.

Таким предоставляется это дело с Русской точки зрения; но таково-ли оно с точки зрения Европейской? Не противоположны ли в этом вопросе Европейские интересы интересам Русским, я разумею конечно интересы законные, имеющие основание в здравом смысле и справедливости? При том положении, которое с самого начала заняла Европа относительно Русско-турецкой распри, при сочувствии, оказываемом большинством ее Турции, несмотря на все творимые ею ужасы, при тех помехах и препятствиях, которые Россия встретила во всех своих начинаниях, ей, собственно говоря, нечего было бы и обращать внимание на Европейские интересы; но станем, тем не менее, на совершенно беспристрастную точку зрения и посмотрим, каким действительным Европейским интересам может вредить не только разделяемое с Турциею обладание проливами, но даже и исключительная, полная власть над ними России?

Здесь должны мы сделать одно, весьма существенное для всех подобного рода вопросов, различение политических интересов на прямые и косвенные. Вместо того, чтобы вдаваться в отвлеченные определения и рассуждения о том значении, которое мы придаем этим терминам, представим нескольких примеров, из которых это значение само собою выяснится:

Во время войны за Испанское наследство, Англия захватила Гибралтар. Никаких владений на островах, или по берегам Средиземного моря, которые могли требовать точки опоры для их охраны, она тогда еще не имела. Путь в Индию не пролегал еще по Суэцкому каналу, да и самые владения Англичан, то есть, собственно говоря, частной Английской торговой Компании, в Индии были еще ничтожны. Следовательно, единственною целью этого захвата могло быть только наблюдение за державами прилегавшими к Средиземному морю, приобретение точки опоры на случай войны с которою либо из них, получение средств распространять свое влияние на обширное море, совершенно чуждое для Англии. Этим, следовательно, были нарушены прямые интересы Франции, Итальянских государств и вообще всех держав прилегающих к Средиземному морю. Совершенно тоже самое можно заметить и о захвате острова Мальты. Допустим, что какое-нибудь сильное морское государство, Англия, Франция, или Соединенные Штаты, ведя войну с Данией и победив ее, выговорило бы себе обладание островом Борнгольмом, лежащим близ входа в Балтийское море, в котором ни одно из этих государств не имеет никаких прибрежных владений, и вообще никаких специальных интересов, которые требовали бы специальной охраны. Очевидно, что этим нарушены бы были прямые интересы Пруссии, России и Швеции. Но если бы этим же островом овладела одна из прибрежных держав, например Швеция; то, хотя это могло бы быть весьма предосудительным актом в других отношениях, ни Россия, ни Пруссия не имели бы, собственно говоря, оснований жаловаться на на-

рушение их прямых интересов, так как Швеция не приобрела бы в сущности никакой новой точки опоры для наступательных целей, такой, которой не могла иметь и прежде.

Или, пусть при войне с Турцией, как например теперь, Россия, овладела бы Суэцким каналом; это конечно нарушило бы прямые интересы Англии, ибо дало бы России возможность, в случае нападения на Индию, преградить ближайший путь английским военным и транспортным судам, спешащим на помощь своей колонии. Также точно, если бы Англия, вследствие войны с Турцией, или просто по взаимному с ней соглашению, завладела полуостровом Галлиполи, или островом Тенедосом, она нарушила бы прямые интересы России, ибо получила бы этим новую возможность непосредственно вредить интересам России, запирая для нас выход из Черного моря, и открывая себе вход в него.

Из этих примеров видно, что нарушающими прямые интересы держав, не находящихся между собою в войне, должно считать такие приобретения, или вообще такие статьи договора с третьей державой, которые соединяют в себе следующие условия: 1) если они дают одному государству новую точку опоры, новую возможность для непосредственного вреда; 2) если при этом это новое приобретение изменяет положение одного государства в ущерб другому (с ним не воевавшего) и 3) если это приобретение не оправдывается необходимостью обороны, или вообще законными и естественными интересами государства, делающего территориальное приобретение, или выговаривающего себе новое право по мирному договору.

Что касается до косвенных интересов, то трудно придумать такую статью договора, в чем-либо изменяющую прежнее политическое отношение двух государств, которая не вредила бы косвенным интересам какого-либо третьего государства: Пруссия устраняет Австрию из Германского союза и тем вводит единство в Германию, разъединенную до тех пор соперничеством

двух преобладающих в ней держав. Этим образуется на границах Франции могущественное государство, что конечно вредит ее интересам. Но Пруссия удовлетворяет этим естественному и законному стремлению германской нации, и следовательно тут нет прямого нарушения французских интересов. Италия объединяется. Интересы Франции и Австрии в известной мере этим нарушаются. Усиленная Италия может потребовать тех итальянских областей, которые еще принадлежат Франции (Ницца и Корсика) и Австрии (Итальянский Тироль). Но Италия имела несомненное право образовать из себя единое национальное государство; возможный от этого ущерб французским и австрийским интересам есть только случайное, косвенное последствие достижения вполне законной цели, и никто не имеет права на это жаловаться. Сначала Пруссия и Австрия, а окончательную уже одна Пруссия приобретает от Дании Гольштейн и Шлезвиг. Это можно пожалуй считать несправедливым и противным народному праву по разным соображениям, но нарушения прямых интересов России и Швеции тут нельзя усмотреть, потому что Пруссия этим не приобрела ничего такого, что давало бы ей новую возможность действовать наступательно против этих двух государств на Балтийском море.

Даже чисто внутренние распоряжения одного государства, или мирные предприятия, могут весьма существенным образом косвенно нарушать интересы других государств. Пруссия вводит у себя общую воинскую повинность. Это принуждает и другие государства принять и у себя эту меру и тем накладывает на них новую тягость. — Россия проводит железную дорогу в глубь Средней Азии, или пускает Амударью по прежнему ее руслу в Каспийское море. Это увеличивает опасность русского нападения на Индию. — Лессепс⁴ прорывает Суэцкий канал. Этим путем Англия может быстрее доставлять войска и военные снаряды в Индию. Этим, следовательно, увеличиваются ее средства нападения на русские среднеазиатские владения. — Мало

того, Америка бесспорно считается Англиею за опасного соперника. Чем сильнее будет возрастать население Штатов, тем они будут становиться могущественнее и соперничество их опаснее. Следовательно, переселение, массами идущее из Европы в Америку, может быть сочтено Англиею за косвенное нарушение ее интересов.

Из этих примеров ясно, что нарушение косвенных интересов не может считаться достаточным и законным поводом со стороны нейтральных государств, для противодействия приобретению каких-либо выгод одною из воюющих держав от другой. — Посмотрим же, чьи прямые интересы (ибо на косвенные мы имеем право не обращать никакого внимания) нарушатся, если Россия приобретет от Турции исключительное право на свободный проход ее военных судов через проливы в Черное и из Черного моря, на которые имеет самое естественное и очевидное право, так же точно, как и сама Турция, и кроме их никто более. Действительно, с правом свободного прохода через пролив, Россия получит возможность нападать своим Черноморским флотом на государства, омываемые Средиземным морем. Нередко случалось нам читать, что Средиземное море должно сделаться Французским озером; правда, мы не читали того, чтобы оно должно было сделаться Английским озером, но не полагаю, чтобы ошиблись, думая, что таково именно мнение большинства английских политиков. С другой стороны, никому не придет в голову, чтобы Россия когда-нибудь сказала, что Средиземное море должно сделаться Русским озером. Следовательно, всем тем, для кого не желательно, чтобы Средиземное море обратилось во Французское или Английское озеро (последнее конечно вероятнее), должно быть выгодно, что и Россия получит возможность этому препятствовать и с своей стороны. Там, где уже столько хозяев, новый участник может для каждого из них явиться с таким же точно вероятием союзником, как и врагом; для некоторых из них, как например для

Италии и Испании, такой союз даже гораздо вероятнее, чем враждебное отношение. Относительно Австрии можно еще сказать, что обладание проливами, хотя бы только совместное с Турцией, дает России возможность вредить ее интересам, ибо Дунай составляет для нее весьма важный торговый путь. Но построй только Россия достаточный флот в Черном море, она и без всякой власти над проливами имеет полную возможность блокировать устья Дуная, и самое полное обладание проливами ей никакой силы в этом отношении не прибавит. Остается Англия, которая по своему морскому могуществу не станет нуждаться в содействии русского флота. Но, не говоря уже о незаконности всех английских владений в Средиземном море, которые составляют не только нарушение прямых интересов всех прибрежных государств, но и самых существенных прав Испании и Италии (Гибралтар и Мальта), — приобретение России права свободного прохода через Босфор и Дарданеллы будет только справедливым вознаграждением за те удобства быстрейшего сообщения с Индией, которые получила Англия в Суэцком канале. Ведь и в настоящую войну говорили о приготовлениях Англии послать на театр военных действий ее индейские войска на помощь Турции. Неужели же справедливо, законно и не нарушает ничьих интересов только то, что дает новую возможность, новую точку опоры для нападения на Россию; а напротив того, все, что усиливает ее оборону, то несправедливо, незаконно и нарушает общие интересы?

И так, с какой точки зрения ни смотреть на дело, все же оказывается, что, пока Турция существует, совместное с Турцией владение проливами России не нарушает никаких прямых интересов, уже по одному тому, что составляет естественное последствие обладания Россией большей частью берегов Черного моря. Это есть необходимое последствие происшедших в течении столетий перемен, по которым берега Черного моря из исключительного владения Турции перешли значительною долею

во владение России. Напротив того, свободное плавание (для военных судов) по проливам есть нарушение самых прямых интересов России, потому что, для держав, не имеющих в Черном море никаких владений, а следовательно и никаких оборонительных интересов, оно имеет лишь интерес чисто наступательный, даст им новое средство нападать на Россию и ничего кроме этого, изменит ныне существующие политические отношения к явной невыгоде России. Одним словом, право свободного выхода из Черного моря русским военным судам есть право выхода из своего внутреннего двора на вольный Божий свет; право свободного входа в Черное море для военных судов всех прочих держав есть право врываться в наш двор и дом единственно для грабежа.

4

Константинополь

(«Русский мир», 1877, 11 и 12 ноября, №№ 308 и 309)

В виду отчаянного и сильного сопротивления турок, в виду новых ужасов постигших Болгарию и Армению, в виду усиленных средств и усилий потребовавшихся со стороны России, весьма естественно является желание более радикального решения вопроса, чем то, которым можно было бы удовольствоваться при легком успехе, и при более разумном и человеческом образе действий Турции. Слышатся голоса о совершенном изгнании турок из Европы. Заменить власть их на всем пространстве Балканского полуострова не представляет особенно трудной задачи. Румелия и Македония легко могут быть разделены между имеющими на них право народностями: болгарам и греками. Вся трудность задачи заключается в проливах и в самом Константинополе с его ближайшими окрестностями. О проливах говорилось в предыдущей статье, в которой, кажется мне, ясно показано, что не может быть худшей

для интересов России комбинации, как так называемое свободное плавание по проливам: комбинация, которая вместе с тем и несправедлива, и противна здравому смыслу с общей теоретической точки зрения. Вполне соответствует ей объявление Константинополя вольным нейтральным городом. Оба эти предположения вяжутся между собою, одно составляет как бы дополнение другому, и одно, что Константинополь-вольный город необходимо предполагает нейтрализацию проливов или свободное по ним плавание, так как защищать, запирасть и открывать их будет некому, было бы уже вполне достаточно, чтобы заставить отвергнуть это предложение в интересах России. Но оставим в стороне, как уже достаточно разобранное, это необходимое следствие объявления Константинополя вольным городом и рассмотрим его само в себе.

Не надо особой проницательности, чтобы представить себе довольно ясно и отчетливо характеристические черты этого будущего измышления дипломатии. Константинополь — вольный город будет городом в полном смысле космополитическим, по той весьма простой причине, что, с упразднением турецкой власти, исчезнет и тот восточный, турецкий колорит, который облекает теперь этот город каким-то призраком национальности, а иной национальной основы, которая могла бы наложить на него свою печать, в нем нет и не откуда ей взяться.

В моих глазах, этот несомненный космополитизм Константинополя, как вольного города, есть уже полный и безусловный над ним приговор. Что не национальное, то не имеет права на существование в политическом мире. Но, к сожалению, в глазах многих космополитизм этот будет напротив того считаться величайшим достоинством, штемпелем прогресса, причиной желательности такого явления. Раскроем же с некоторою подробностью черты этого космополитизма, которые неминуемо определяют собою характер Константинополя, провозглашенного вольным городом.

Начнем с его единственного туземного элемента, который останется ему в наследство от теперешнего порядка вещей. Это фанариотство. Дружественно ли оно расположено к России и к Славянству? — Это мы видим из теперешнего образа действий Константинопольской Патриархии. Говорят, что мы сами оттолкнули ее от себя односторонним покровительством Болгарам в их распре с Греками. Охотно допускаем, что Болгары перешли надлежащую меру, что они (впрочем точно также, как и их противники), призвали вмешательство мусульманской власти в дела Православной церкви, выговорили себе несогласное с церковными канонами право иметь самостоятельного главу своей церкви (оставшейся православной) в том же городе, где находится кафедра Вселенского Патриарха (нарушение, которое легко устранимо перемещением Болгарского экзарха в другой город, например — Тырново)¹. Но что же повело к этому и в чем собственно сущность дела? Не в честолюбивых ли притязаниях Греков эллинизировать Болгар, введением в их церквах богослужения на греческом языке, замещением болгарских архиерейских кафедр исключительно греками, распространением греческих школ среди Болгарских поселений? Не так же ли это вина, в которой повинны и Мадыяры относительно Словаков, Русских, Сербов, Румын в Транслейтании, или Поляки в Галиции, а прежде во всей западной России? Не явно ли, что национальное беспристрастие которое должно бы руководить церковью, носящею название Вселенской, и которым в прежние времена она отличалась, — было принесено в жертву узким интересам эллинизма — так называемой «великой идее»? Не отголосок ли это тех навеянных с запада опасений всепоглощающего панславизма, которые так распространились в последнее время между Греками, и которые дошли до того, что значительная часть эллинской интеллигенции проповедывала союз с Турцией против России и Славянства? Чем объяснить разницу в поведении теперешней Патриархии сравнительно с временами греческо-

го восстания двадцатых годов, (тогда героизм и мученичество, теперь низкопоклонство и, по крайней мере, внешне выказываемое сочувствие турецкому делу), *как не враждебным отношением к Славянству?* Как бы то ни было, но не может быть сомнения, что Фанариоты будут действовать в этом же духе честолюбивого эллинского прозелитизма и в вольном городе — Константинополе, только с гораздо большею свободою и откровенностью. А этим разве не воспользуются со своей стороны католичество и иезуитизм?

Искони ухищрения католицизма были направлены на Болгар, из-за которых и возгорелся собственно спор, поведший к разделению церквей. Неужели столь тонко понимающее свои выгоды католическое духовенство не воспользуется национальной враждой между Греками и Болгарами, чтобы обрабатывать ее в свою выгоду, и не сделает вольного города Константинополя одним из центров иезуитских интриг и пропаганды? Не откроются ли здесь иезуитские школы и не распространятся ли по лицу Болгарии под предлогом оказания помощи болгарской народности в ее культурной борьбе с эллинизмом? Не может быть, чтобы столь деятельный в последнее время ультрамонтанский католицизм упустил сделать из Константинополя могущественную точку опоры для борьбы с Православием.

К этим двум религиозным элементам не забудем присоединить и третий: многочисленные миссионерские общества от разных протестантских сект, как европейских, так еще более американских. Не станет ли вольный город — Константинополь одним из центров их проповеднической, училищной деятельности среди Славян и в особенности среди Болгар как ограбленного, разоренного народа? При помощи благотворительности, не могут ли они надеяться на значительный успех там, где еще ничего не сложилось и по необходимости будет находиться как бы в состоянии брожения? Вот вкратце религиозная сторона дела; посмотрим на политическую.

Политические выходцы всех стран, начиная от революционных агитаторов национальных польских и других, до последователей интернационального и демократического социализма не сохвоят ли своего гнезда в вольном городе Константинополе? Для этого он будет предоставлять им всевозможные удобства: во-первых, не только полную безопасность от преследования разных правительств, но и *покровительство* от некоторых из них; во-вторых, обширное новое, под руками находящееся, поле действия. В Англии, в Швейцарии все эти выгоды, — что они такое, как не чуждый, посторонний элемент, который терпится из принципа, но вокруг и выше которого идет своя самостоятельная широкая политическая жизнь? Здесь они будут не только главным, но единственным носителем политической жизни. Какое откроется перед ними поприще! На развалинах Турции общество новое, неустроенное, неустоявшееся, так сказать еще без исторического баланса. Если русское войско и русская власть останутся на некоторое время в болгарских странах, для устройства их, власть эта конечно принуждена будет противодействовать злонамеренной пропаганде, причем не обойдется без мер строгости, может быть суровости; а это будет выставляться, как угнетение свободы, как честолубивый замысел подчинить себе освобожденную страну. Так называемая народная интеллигенция в Болгарии и в других странах Балканского полуострова, конечно еще находится не на ступени самостоятельности, а, как по большей части и у нас еще, на ступени пассивной приемлемости. В такой среде, все крайние радикальные учения, принимаемые за последнее слово науки и прогресса, имеют самую удобную почву для своего распространения, столь же удобную, как и в тех странах, где многовековая историческая жизнь поставила друг против друга, в их непримиримом противоречии, противоположные общественные интересы. Могущественного союзника найдут эти учения в мелком чувстве узкого национализма, к которому также очень склонна *зарождающаяся*,

неустоявшаяся интеллигенция у маленьких народов. Только в такой развитой стране, как Чехия, богатой историческим опытом, видим мы, что высшие общие интересы славянского единства начинают пониматься наравне с частными интересами Чешской народности. В среде совершенно неопытной, конечно, могут получить веру речи такого рода: «Россия освободила вас из видов своего честолюбия; какие страшные раны заставила она вас понести, но что ей до них, лишь бы достигнуть своей цели. Просвещенная, гуманная Европа не менее России сочувствовала вашим страданиям, но она любила вас для вас самих, а не для себя, и потому хотела действовать постепенно, не подвергая вас ужасам турецкого фанатизма. Турция согласилась на обширные реформы, ввела парламентскую форму правления. В начале это была бы конечно одна форма, но мы бы позаботились, чтобы форма обратилась в действительность. Турки, неспособные к просвещению и прогрессу, не вынесли бы дыхания политической свободы, и вы бы сделались прямыми, естественными их наследниками. Вот какой судьбы желали мы для вас, и только честолюбие и эгоизм России, прикрытые маскою либерализма, подвергли вас всем ужасам турецкого мщения...» и так далее, в том же роде. Ни год тому назад, ни теперь никто этому не поверил бы; всякий бы отвечал, что не русское нападение, а английская и австрийская явная и тайная помощь придали силу и дерзость турецкому зверству и фанатизму. Но через несколько лет этому легко могла бы поверить масса мелкой интеллигенции, развращенная пропагандой. Со всем тем, мы не думаем, чтобы эта пропаганда имела решительный успех; здравый инстинкт народа сумеет дать ей должный отпор; но одним из худших ее результатов будет то, что святые интересы Славянства, и теперь с разных сторон злонамеренно и ехидно смешиваемые с интересами демократической и социальной революции, в глазах многих действительно с ними отождествятся, и что по внешности этому будет дано достаточное оправдание.

Одно это заставляет уже предположить, что такая пропаганда из вольного города Константинополя получит самое усердное содействие с разных сторон, даже весьма консервативной наружности.

Но злонамеренная пропаганда из вольного города Константинополя не ограничится одними балканскими Славянами. Какое место выбрали себе наши русские выходцы из центра своей деятельности? Не Америку, где им было бы всего вольготнее и свободнее; даже не Англию, с которою наши сношения не особенно часты, а Швейцарские, куда ездит масса путешественников, откуда следовательно всего легче действовать на Россию. Но какое преимущество будет иметь в этом отношении вольный город Константинополь сравнительно с Цюрихом, или Женевою! Как близко из него до России сухим путем, а особенно морем! Всего 24 часа пути до Крыма, полтора суток до Одессы, двое до Кавказа. Всякий пароход, всякое торговое судно, даже рыбацья лодка могут ввозить революционные газеты, брошюры, подметные листы, прокламации и их распространителей. Конечно, и при этом не погибнет Россия, в ней не произойдет государственного переворота, — но сколько смут, сколько личных и семейных несчастий, сколько стеснений в законной свободе будет иметь это своим последствием!

Вольный город Константинополь будет центром религиозных, политических и революционно-социалистических интриг, заговоров и пропаганды, направленных против Славянства и России. Это первая, несомненная его характеристическая черта.

Другую черту составит весьма обширная торговая и биржевая деятельность. Не собственно производительная проявится деятельность, — а то, что так хорошо характеризуется новым, недавно вошедшим в употребление, заимствованным из жидовского жаргона, словом — гешефт. Все биржевое, барышничашее, жидовствующее стечется сюда, ибо тут будет ему широкий про-

стор и большая пожива. Город без сомнения будет порто-франко, ибо нет никакой причины не предоставить ему самых широких прав свободной торговли, так как ни в городе, ни в его округе не существует промышленных интересов, которые требовали бы таможенной охраны. При этих условиях и одном из выгоднейших в мире торговом положении — материальное богатство города широко разовьется, а при отсутствии всяких высших интересов — ибо откуда им взяться — оно, как всегда и везде, произведет стремление к роскоши, веселью, разгулу и разврату.

Разврат востока и запада, разврат нравственный и разврат умственный подадут здесь друг другу руку и так сказать помножатся друг на друга. Прибавьте к этому полное отсутствие всякого противовеса, всякой охраны как изнутри, так и извне.

Изнутри никакой почвы под ногами, ни религиозной, ни национальной, ни охранительной силы исторических преданий. Полная и совершенная *tabula rasa*². Отсутствие национального элемента ясно само по себе. С удалением наплывной оттоманской стихии, не пустившей корней в продолжение четырехсотлетнего господства с лишком, останется лишь смешение языков. Но странным может показаться, что мы отрицаем даже присутствие элемента религиозного в этой столице православия. Конечно, было время, когда Константинополь был центром религиозной жизни для всего христианства. Это было время Григориев, Златоустов³, время вселенских соборов. Затем, в течение целого ряда столетий Константинополь продолжал быть главным охранителем православной истины. И этот интерес в душах и сердцах его населения перевешивал все другие интересы, даже интересы независимого политического существования. Но с Турецким погромом это все перешло в область предания, истории. В настоящем виде своем Константинополь не имеет даже значения великого памятника христианской святыни, подобно Иерусалиму, или даже подобно Афону, нашему Киеву, Троицкой Лавре. Он не привлекает к себе толпы поклонников.

Нить исторической жизни тоже порвана. А великие исторические мертвецы также не оживают, как и отдельные люди для продолжения их прежней жизни. На старом, историческом пепелище нередко снова возжигается жизнь; но жизнь эта не продолжение прежней, а жизнь совершенно новая, которая, хотя и почерпает особые плодотворные соки из богатой исторической почвы, но для своего возникновения требует новых живых элементов и сил. При Птоломеях⁴ Египет возродился к новой блистательной жизни, но то не было продолжение жизни Египта Фараонов. И Рим в средние века снова стал центром могучей жизни; но опять-таки то не было возрождение жизни Рима Цесарей. И мы надеемся на возрождение Константинополя, — это не будет воскресением Константинополя Комненов⁵ и Палеологов⁶. Дабы начать новую жизнь, он должен преобразиться в Цареград — центр свободного и объединенного Славянства.

При полном отсутствии внутренних охранительных начал, религиозных, национальных, исторических — вольный город Константинополь, сказали мы, будет лишен всякого охранительного внешнего влияния, ибо, раз согласившись на образование этого вольного города, — Россия потеряет возможность всякого на него воздействия. Те зловерные начала: религиозные и политические интриги, разврат умственный и нравственный, которые обратят его в гнездо заразы для всего Балканского Славянства и для самой России, и составляют именно те условия, по которым он будет особенно мил и дорог врагам России и Славянства, и каждый из них будет иметь свои особые причины лелеять и оберегать его.

Вольный город Константинополь — сказали мы — будет одним из центров деятельности католической и иезуитской интриги — и в этом качестве будет пользоваться особым расположением Франции. По отношению к папству, к ультрамонтанству и клерикализму — Франция играет совершенно особую роль. С одной стороны, она меньше всех других католических

держав подчинялась власти Рима, более всех противодействовала ультрамонтанству, даже в эпоху самих католических своих государей, например Людовика XIV, и более всех нанесла вреда католичеству и папству так называемым вольнодумством XVIII века. С другой же стороны, Франция более всех содействовала укреплению и возвеличению папства. Столь прославленные в средние века *Gesta Dei per Francos*⁷ были начиная с Людовика и Карла Великого действиями Франции на усиление папства. И теперь всего более, даже исключительно, на Францию возлагает надежды свои Римская курия. Сообразно этому двоякому течению, Франция возмущается всякими победами клерикализма внутри, и готова всеми своими силами способствовать его внешним успехам. Покровительствуя вольному городу Константинополю, удовлетворит она разом несколькими могущественным стремлениям своим: продолжит свою историческую деятельность на защиту интересов католичества и папства; даст пищу народному честолюбию играть видную роль на востоке; оказывая внешнее содействие католическому властолюбию, получит большую свободу противодействовать его захвату внутри.

Австрия, конечно, также не прочь оказать содействие католическому прозелитизму; но в ее глазах главное достоинство вольного города Константинополя — служит орудием и средством к нравственному заражению и разложению Славянства, к возбуждению его против России, в особенности же, к подозрению в глазах России чистоты славянских стремлений, намеренным смешиванием и отождествлением их с стремлениями революционных и социалистических партий.

Наконец, Англия, всегдашняя покровительница всех политических смут и заговоров — ведь получило же некогда знаменитый Пальмерстон⁸ прозвание лорда Фейербранда — прикрывая свое покровительство маскою возвышеннейшего политического либерализма, будет иметь и еще особую причину бла-

говоления к вольному городу на берегах Босфора. В политическом отношении он будет для нее точкой приложения рычага, для деятельности ко вреду России, в чем и заключается вся сущность ее восточной политики. В отношении торговом — мы уже говорили, что вольный город Константинополь не может не быть порто-франко. Но этот порто-франко будет в совершенно особых условиях.

Привилегия порто-франко дается какому-нибудь городу для искусственного возвышения его торгового значения, промышленность же страны, в которой он лежит, ограждается внутреннею таможенною линиею. Кто же будет охранять здесь эту таможенную линию? Интерес города будет заключаться в том, чтобы этой линии не было, или, чтобы, по крайней мере, она была наивозможно менее действительна, ибо, чем большее число товаров будет проходить через город, тем обширнее торговая деятельность, и тем выше городские доходы. Но и окружающие страны Балканского полуострова, не имеющие почти никаких зачатков промышленной деятельности, исключительно производящие сырые материалы, будут считать своею выгодною возможно дешевое получение мануфактурных и колониальных товаров через Константинополь. Следовательно, нельзя ожидать и с их стороны сильных настояний на строгом соблюдении таможенных линий вокруг порто-франко. Я выставляю на вид эти обстоятельства, не с целью обсуждения их экономических последствий, а лишь для того, чтобы показать, сколько любезен должен сделаться для Англии этот вольный город. Англия во всей своей государственной и торговой политике любит держаться правила выраженного во французской пословице: *Le mieux est l'ennemi du bon*^{*}. В этом заключается ее консерватизм. Но когда она воочию видит все выгоды этого лучшего, то умеет по достоинству его ценить. Так она долго противилась

^{*} Лучшее враг хорошему.

прорывтию Суэцкого канала, но теперь поняла его выгоды и старается прибрать к своим рукам. Также точно, она скоро бы убедилась, что для ее торговых интересов вольный город Константинополь многим превосходнее турецкого Стамбула.

Вот уже три верных защитника прав и вольностей Босфорского вольного города. Четвертым, еще более существенным, будет общественное мнение Европы, всегда враждебное России, особенно когда дело идет о ее любимых детищах: свободе, либерализме, без разбора, в чем проявляются эти либерализм и свобода.

Что же будет делать Россия? Ее представления конечно не будут уважены. Обратиться к силе ей едва ли будет возможно. И теперь, когда она встала на защиту грубо и свирепо попираемых основных прав человека на жизнь, честь и имущество, мы видим, что ей противопоставляют всевозможные преграды, и это при самых благоприятных для нее сочетаниях политических обстоятельств. Чем оправдает она себя тогда в глазах, частью ослепленного, частью злонамеренного общественного мнения? Чем обезоружит правительство тех государств, которые именно во вреде ей причиняемом и будут видеть свою прямую непосредственную пользу, и при том будут иметь возможность прикрывать свой эгоизм и лицемерие возгласами о либерализме, о защите свободы против честолюбивого деспотизма? Руки России были бы связаны, и, что всего хуже, она сама помогла бы их себе связать.

В малом виде и сравнительно в узкой сфере, мы имели уже подобный пример. На Венском конгрессе, не зная, что делать с Краковом, имевшим, по-видимому, слишком важное стратегическое, или иное какое значение, чтобы перейти вместе с большею частью герцогства Варшавского к России, решили было обратить его в вольный город. Конечно, он не был городом космополитическим, а напротив того, городом национально-польским, — и, соответственно этому, сделался центром польских

политических заговоров, так что, наконец, в него должны были войти русские и австрийские войска. Вольный город был упразднен и присоединен к Австрии. Сколько криков было поднято по этому случаю в Европейской либеральной журналистике, в английских и французских правительственных сферах! Но в то время Священный союз существовал еще в полной силе, интересы России, Австрии и Пруссии совпадали в этом пункте; во Франции царствовал миролюбивейший Людовик Филипп⁹, сам во все свое царствование еле отбивавшийся от наседавшей на него революции; наконец, Краков лежит среди континента и недоступен для Англии. Надо ли пояснять, что Константинополь будет повреднее и поважнее Кракова, что отдать его, даже если бы Россия и могла на то согласиться, будет некому, что лежит он у моря, и что нет ни одной державы, интересы которой сходились бы на этом пункте с русскими?

Что же делать с Константинополем? Не настоящий ли это, выражаясь словами Карлейля, неразрешимый случай Кардана? Россия не хочет присоединять его к себе, включить в состав своего государственного тела, опасаясь, что он перевернет центр тяжести его. Разбирая в моей книге подробно этот вопрос, я представил веские, как мне кажется, доказательства против такого включения. Отдать его другой Европейской державе — противно всем интересам России; обратить его в вольный город, как мы только что показали, едва ли не еще вреднее. В моей книге, думается мне, я представил решение полное и удовлетворительное этой задачи. Но решение это предполагает полное, удовлетворительное и окончательное решение Восточного вопроса во всем его объеме, составляет довершение и венец его; в настоящее же время это еще пока политическая мечта, политический идеал, который должен конечно осуществиться, (как осуществилось итальянское и германское единства, так недавно также еще бывшие политическими мечтами), но не в настоящем, а еще в подготовительной фазе Восточного вопроса.

Но посмотрим, в чем заключается самая сущность этого, пока идеального решения; переведем его, так сказать, на более общий алгебраический язык, и в эту общую формулу поставим другие данные; не получим ли этим способом временного, предварительного решения, с некоторых сторон может быть и весьма неудовлетворительного, но, по крайней мере, охраняющего самую сущность дела, ничего не предрешающего ему во вред, хотя бы для этого пришлось подставить под некоторые алгебраические знаки величины нулевые и даже отрицательные, за неимением, неготовностью еще в настоящее время величин положительных? По нашему решению задачи — назовем его пока идеальным — Константинополь должен быть городом общим всему православному и всему славянскому миру, центром Восточно-христианского союза. В этом качестве, он будет следовательно принадлежать и России, первенствующему члену этого союза, но не будет включен в непосредственный состав ее государственного тела. Влияние России в Константинополе было бы, как само собою разумеется, преобладающим. Все, что Константинополь заключает в себе великого, — его православно-христианский и исторический ореол, его несравненное географическое, топографическое и стратегическое положение, — будет принадлежать России наравне со всеми прочими народами, имеющими на него право по своей религии, этнографическому составу, историческим судьбам и географическому положению занимаемых ими стран: между тем Россия будет ограждена от обаятельной и притягательной силы присущей этому величию, которая, как это свойственно всякому нравственному или физическому великому центру притяжения, могла бы оказать свое возмущающее влияние на внутренний состав государственного тела России. Здесь будет уместно сделать одно замечание в предупреждение могущих родиться недоразумений. И по нашему решению задачи, Константинополь должен пользоваться правами вольного города, но в нашем смысле вольный город имеет зна-

чение муниципальное, а не политическое. Он должен быть вольным городом, каковы: Гамбург, Бремен, Любек среди Германской Империи, или, еще ближе, как Франкфурт в бывшем Германском союзе, которые, хотя и вольные города, но не составляют самостоятельных космополитических центров, а суть такие же части Германской Империи, как королевства и герцогства, и подчинены, подобно им, общему германскому закону.

Но, как мы уже сказали, элементы для полного решения задачи еще не существуют. Большая часть народов, которым сообща должен принадлежать Константинополь, не получили еще политической самостоятельности и не получают ее даже при самом успешном окончании настоящей войны. Следовательно, в нашей формуле, этому элементу пришлось бы присвоить нулевое значение. При этом получилось бы такое решение, что Константинополь должен был взят временно в руки России, с тем чтобы в должное время быть переданным всем тем, которые имеют на него право. Такое временное, провизуарное владение Константинополем едва ли бы могло оказать на Россию то вредное влияние, которое возникло бы после включения его в ее государственный состав. Он мог бы, пожалуй, быть признан и вольным городом, но под исключительным протекторатом России, в том виде, например, как Ионические острова были под протекторатом Англии, — то есть с русским гарнизоном и под общим ее административным надзором. Такое решение было бы весьма желательно и вполне удовлетворительно; но нельзя сомневаться, что оно встретит самое решительное сопротивление со стороны большинства Европейских держав. Если бы война была поведена с самого начала с должной энергией, искусством и всесокрушающим перевесом сил, то быстрый, решительный успех, всегда внушающий страх и уважение, мог бы еще пожалуй сломить это сопротивление; но теперь, каков бы ни был окончательный успех, то обаяние силы, которое так искусно умела приобрести Германия в компании 1870-1871 годов, нами во вся-

ком случае утрачено, и следовательно, теперь мы не в силах победить это сопротивление.

Обратимся снова к нашей формуле и попробуем придать нашей изменяющейся величине вместо нулевого значения, оказавшегося непригодным, — значение отрицательное: то есть оставим Константинополь и проливы под властью Турок. Как ни противно такое решение нашему чувству, и тем не менее осмеливаюсь утверждать, что в настоящее время это единственное сообразное с выгодами России решение вопроса, конечно, при осуществлении всех прочих условий, при которых результаты настоящей войны могут вообще быть признаны успешными, условий, которые перечислены в первой моей статье* о настоящей войне.

Турция будет поставлена ими в полную зависимость от России, будет подлежать ее исключительному политическому влиянию. Судорожный спазм Турции должен окончиться полным параличом. Потеряв веру в союзников, лишившись кредита, она не может избежать полного подчинения России, которая будет иметь в своих руках, при посредстве своих союзников, освобожденных Болгар, Сербов и Румын, Дунай и Балканы, будет обладать сильным флотом на Черном море, занимать господствующее положение в Малой Азии. Для Турции это подчинение будет единственным средством продлить свое политическое существование, и апатический характер Турок скоро с этим примирится, как примирился после Адрианопольского мира.

С этой точки зрения, неожиданно сильное противление Турции есть явление, которое должно считать благоприятным. В нем, как во всем этом деле, начиная с Герцеговинского восстания, ясно видна рука Божия, обращающая во благо самые козни врагов, самые ошибки и неразумие друзей правого дела. Надо лишь одно — претерпевать до конца. Сопротивление должно

* См. выше, стр. 54-66.

быть сломлено, чего бы это ни стоило и во что бы ни обошлось, Турецкие армии рассеяны, уничтожены, крепости срыты, оружие и военные запасы отобраны вместе с флотом в замен денежной контрибуции, Турция доведена до полного банкротства, и долг ее ни коим образом не должен обременять собою освобожденные от ее ига народы. Это гораздо действительнее быстрого, блистательного и великодушного мира, который мог бы быть заключен при ином образе ведения войны. Будет меньше блеска, но результат существеннее.

От Турции останется одна тень; но тень эта должна еще до поры до времени оттенять берега Босфора и Дарданелл, ибо заменить ее живым и не только живым, но еще здоровым организмом пока невозможно. Таким образом, вопрос не будет предрешен к неисправимому вреду России и Славянства. Константинополь не обратится в новый Содом, в центре нравственной и умственной заразы, а будет ожидать времени своего преображения из турецкого Стамбула в православный и славянский Цареград для новой славной исторической жизни.

5

Конференция, или даже конгресс

(«Русский мир», 1878, 18 и 19 марта)

I

За войною, в которой участвовали только России и Турция, должны последовать конференции или даже конгресс, где будут участвовать все великие державы Европы, никакого участия в войне не принимавшие. Бывали конгрессы после продолжительных войн, касавшихся если не всех, то большей части европейских государств, после того, как все границы были перепутаны, восстали новые государства, прежние рушились. Понятно, что необходимо было общее совещание, чтобы привести этот хаос в порядок, чтобы сформулировать результаты

9*

перемен, произведенных войною. Так было после тридцати лет непрерывной войны, окончившейся Вестфальским конгрессом¹; так было и после двадцатидвухлетнего ряда отдельных войн с 1793 по 1815 год, окончившегося Венским конгрессом. Чтобы понять необходимость, например, этого последнего, стоит только сравнить карты Европы 1793, 1811 и 1815 годов. Бывали также дипломатические совещания разных наименований, имевшие целью разрешить спорные вопросы, фактически еще не разрешенные, развязать гордиевы узлы, еще не разрубленные мечем. И это дело понятное. Но что делать конференции или даже конгрессу в 1878 году? Никакой путаницы в границах и вообще в отношениях между европейскими государствами не появилось. Произошли лишь перемены на Балканском полуострове, перемены, установленные уже обеими воевавшими сторонами заключенным между ними миром. Для чего тут посторонние?

Необходимость дипломатического совещания всех в деле, касающемся только двоих, выходят из следующих положений:

1). Парижский трактат определил положение Турции в Европе, которое, таким образом, гарантировано всеми подписавшими его.

2). Мирные условия между Россиею и Турциею касаются не только интересов этих двух держав, но и интересов общеевропейских.

Если бы первое положение было справедливо теоретически, а второе фактически, то действительно против необходимости общего дипломатического совещания трудно было бы возражать. Но, прежде чем взвесить верность этих положений, не лишним будет подвергнуть оценке Парижский трактат в его сущности, определить его историческое значение и важность, независимо от приписываемой ему формальной обязательной силы. Очевидно, что памятник истинной дипломатической мудрости, составленный со всевозможною политическою предусмотритель-

ностью, с беспристрастным вниманием к потребностям народов, судьбу которых он имел в виду устроить, — заслуживает совершенно иного внимания, нежели скороспелый продукт тщеславного высокомерия, эгоизма и полного неведения, если даже не намеренного нехотения знать тех именно отношений и обстоятельств, которые подлежали лучшей и справедливейшей организации.

II

Парижский трактат 1856 г.

Рассматриваемый по своему внутреннему достоинству, Парижский трактат ни что иное, как гнусный и глупый дипломатический хлам. Мы можем так резко о нем отозваться, когда сами лица, принимавшие в нем и в возбуждении предшествовавшей ему войны непосредственное активное участие, — как например Гладстон, — в сущности не более высокого о нем мнения. Гнусный он потому, что шел против естественного поступательного хода истории, стремился его задержать, скрепить оковы на миллионах несчастных христиан, вдохнуть искусственную жизнь в разлагавшийся уже труп; — глупый потому, что наложенные им условия нисколько не соответствовали даже и той незаконной цели, которую трактат этот имел в виду, и еще потому, что эти условия не имели за собою никакого действительного обеспечения. Ничем существенным он не ограничивал могущества России, а только наносил ей ряд невыносимых и бесцельных оскорблений. Версальский трактат 1871 года налагал на Францию условия крайне тяжелые, но он же и обеспечивал их исполнение ослаблением Франции, и еще в гораздо большей степени усилением самой Германии, не столько через присоединение Эльзаса и Лотарингии, сколько через объединение всей Германии в могущественное политическое тело, что и дает ей возможность надолго сохранить раз приобретенный перевес.

Чтобы выяснить всю бессмысленность Парижского трактата, стоит разобрать с некоторою подробностью его последствия для всех, принимавших в нем более или менее деятельное участие, государств.

Конечно, Россия проиграла Восточную войну, но, собственно говоря, она не была побеждена, не была поставлена в необходимость безусловно и беспрекословно подчиниться воле победителей, как например Австрия в 1866 г., Франция — в 1871 г., или Турция теперь. В течение двух лет войны, грозные флоты союзников на Балтийском море только издали смотрели на твердыни Кронштадта; на Черном море грозные флоты и армия в год успела лишь овладеть одною импровизированною крепостью и стояла в бездействии, не имея возможности предпринять что-либо дальнейшее. Русская армия не была разбита, не потеряла ни артиллерии, ни пленных, и стояла готовая к бою. Значительная часть русских войск вовсе не принимала участия в войне. В Азии же мы были победителями.² Если, за всем тем, Россия согласилась на невыгодный мир, но причиною тому были: во-первых, сознание, что цели, с которыми война была предпринята, на этот раз уже не могут быть достигнуты; да и сами цели эти — в этом должно сознаться — не представлялись ей тогда с такою ясностью и определенностью, как, например, теперь; во-вторых, враждебность всего европейского общественного мнения, при таком политическом положении, что внутренние европейские отношения не препятствовали перейти от слов к делу, — к деятельному вмешательству против России многих европейских держав; в третьих — и это главное — желание приступить к коренным реформам и улучшениям внутреннего государственного и общественного строя.

Чего требовало, при таком положении дел, политическое благоразумие, не ослепленное злобой и эгоистическими целями? Очевидно, двух вещей: прежде всего — принятия в свои руки исполнения справедливых и великодушных, не скажу пла-

нов — определенных планов не существовало — а намерений России относительно турецких христиан. Таким ловким маневром была бы вырвана из рук России ее историческая задача, осуществлением которой она, по разным, частью внешним, частью внутренним причинам, слишком долго медлила и принуждена была медлить. Если не навсегда, то, по крайней мере, надолго сочувствие единоплеменников и единоверцев России было бы отвращено от нее и обращено к якобы либеральным народам Запада. Угнетенным могло бы быть показано, что просвещенные народы Запада — истинные друзья их, которые, как только приняли в свои руки судьбы их, так и доставили им широкое исполнение их чаяний. Они могли бы сказать: «Россия только подстрекала вас из своих властолюбивых видов, но ничего существенного не могла или даже не хотела для вас сделать». Нельзя отрицать, что такой образ действий и такие внушения могли бы иметь весьма серьезный успех. Одним словом, следовало бы сделать то, что и теперь предлагает Гладстон, сказавший же в Оксфорде, что задача освобождения выпала на долю государства, которое всего менее достойно ее исполнить. Почтенный предводитель либералов тоже видно задним умом крепок. Конечно, все это была бы ложь, но и для такой лжи надо было, чтобы Европа, и в особенности Англия, перестали бы быть Европой и Англией.

Затем — следовало бы предоставить России, сохранившей, как мы уже заметили, и после войны все свое могущество, такие почетные условия, которые не оставили бы в ее сердце жала негодования и уязвленной народной гордости.

Что же было сделано вместо этого? — Перечтем:

России было запрещено держать флот на Черном море, иметь верфи, морские арсеналы и строить прибрежные укрепления. Но флот наш был уже на деле уничтожен самою войною; а если бы и не был уничтожен, то не только последовавшие вскоре за войною технические усовершенствования, но уже и те, которые

существовали в то время у наших противников, лишали старый русский парусный и деревянный флот всякого военного значения. Между тем, сама война, предпринятые после нее реформы, сооружение сети железных дорог, перевооружение армии и крепостей, — до такой степени напрягали финансовые силы России, что она долго не могла уделить нужных средств для построения нового парового и броненосного флота. Очевидным доказательством тому служит то, что, и добившись отмены этого пункта Парижского трактата, Россия в течение 6-ти лет не приступала к постройке черноморского флота. Относительно морских укреплений можно сказать почти то же самое: которые были в Севастополе, Очакове, Керчи — были уничтожены войной, а если бы и не были, то, вследствие усовершенствования в артиллерии, оказались бы никуда негодными. Когда же почувствовалась надобность в новых, то они и были возведены и вооружены, в Севастополе, в Очакове, в Одессе, в какой-нибудь месяц, и притом в такой силе, что и Гобарт-Паше³ пришлось только смотреть на них, как некогда Непиру⁴ на Кронштадт. На возможность этого впрочем указывала уже оборона Севастополя. В довершении всего, Россия сохранила за собою право устройства крепостей в Азовском море и Керченском проливе, чем и воспользовалась в период наибольшей действительности Парижского трактата, устроив в Керчи первоклассную крепость, под защитою которой мог бы в совершеннейшей безопасности укрываться если не тяжелый броненосный, то легкий миноносный флот. Конечно, тогда еще много нельзя было предвидеть, но все же остается несомненным, что такого рода ограничения редко приводят к целям, имеющимся в виду при их установлении, именно потому, что невозможно предвидеть, какое значение сохраняют на будущее время самые предметы ограничений, и какие могут быть найдены уловки, чтобы обойти их. Так и в этом случае оказалось, потому что так сложились обстоятельства, что этот считавшийся столь важным пункт Парижского трак-

тата, из-за непринятия которого Россией война продлилась на год с лишком, не заключал в себе никакого действительного ограничения могущества России, а наносил только ей совершенно бесцельное оскорбление. Поэтому она и постаралась сбросить с себя оскорбительную форму обязательства, при первом представившемся удобном случае, даже ранее, чем имела намерение приступить к фактическому его упразднению.

Россия была отрезана узкою полосой, у ней отнятой, земли от Дуная, с двоякою целью: чтобы обеспечить свободу судоходства по Дунаю и чтобы отгородить ее от Турции, и тем лишить возможности нападать на нее с суши и запрещением держать флот мы лишились возможности нападений с моря. Сама отрезка куса Бессарабии конечно не наносила никакого ущерба могуществу России, но опять-таки, с обеих приведенных точек зрения, была напрасным, бесцельным оскорблением. Свободе Дунайского судоходства Россия никогда не препятствовала, а если не тратила значительных сумм на прочищение и поддержание в судоходном для морских судов состоянии Дунайских гирл, то потому, что для нее они почти не имели никакого торгового значения. Что же касается до воспрепятствования России воевать с Турциею, то события с достаточною силою показали тщету этих препон. Как в прежние времена, — так и в 1877 году русские войска перешли Дунай, когда Россия сочла это нужным.

Россия была лишена права специального покровительства как относительно Дунайских княжеств Молдавии, Валахии и Сербии, так и относительно прочих православных подданных султана, и это покровительство было заменено чисто номинальным, коллективным покровительством Европы. Еще напрасное, бесцельное оскорбление! В сущности, Россия ничего не лишилась, а напротив того, она, и только она одна, часто вопреки другим, оказывала тут свое покровительство, более действительное, чем когда-либо. Она возвысила голос в пользу Черногории

и Крита, и добилаь сколько-нибудь сноснаго для них существованія; при ея заступничествѣ выведенъ былъ гарнизонъ изъ Белграда; ея настояніе постепенно привели къ консульской комиссіи въ Герцеговинѣ, къ нотѣ графа Андраши⁵, къ Берлинскому меморандуму. Великодушное самоотверженіе ея генерала, милліоны рублей и тысячи добровольцевъ, посланные ея народомъ, — дали возможность осуществиться геройскому порыву сербскаго народа и помогли его неустроенному, плохо вооруженному, отвыкшему отъ войны ополченію четыре мѣсяца держаться противъ регулярныхъ, превосходно вооруженныхъ, храбрыхъ турецкихъ войскъ; а когда великодушная попытка не удалась, и пылающая мщеніемъ турецкая армія ринулась по пути въ Белградъ, — слово Россіи остановило этотъ истребительный потокъ. Затемъ, не съ иною какою целью, какъ именно покровительства Черногоріи, Сербіи, Румыніи и всемъ турецкимъ христіанамъ, не взирая на то, что право этого покровительства было формально отнято у Россіи, — войска ея перешли Дунай, ведя за собой и румынъ, и сербовъ, и самихъ болгаръ, перешли Балканы, стоятъ у воротъ Цареграда, и русскій Царь предписалъ дать полную свободу Сербіи и Румыніи, признать всегда на дѣлѣ существовавшую свободу Черногоріи и предоставить полную внутреннюю автономію Болгаріи. Это ли не покровительство? И когда проявилось оно съ такою силою, когда увенчалось такимъ успѣхомъ, какъ не после того, какъ Парижскій трактатъ лишилъ Россію этого священнаго права и этой священной обязанности? Но это еще не все. Можно смело утверждать, что если бы по-прежнему право формальнаго покровительства надъ Дунайскими княжествами и надъ турецкими христіанами вообще оставалось за Россіею, то дѣла не приняли бы такого крутого и благопріятнаго оборота. При русскомъ покровительствѣ, Турція два раза бы подумала, прежде чѣмъ решиться на болгарскую резню; а съ другой стороны — Сербія не могла бы объявить войну Турціи; русскій генералъ, хотя бы и находившійся въ отставкѣ, не могъ бы принять начальства

над сербскими войсками, и русские добровольцы не могли бы сражаться в их рядах. Кому известна та строгая, можно сказать щепетильная легальность, которой придерживается Россия во всех своих внешних отношениях, — тот не может иметь в этом ни малейшего сомнения. Нельзя не поблагодарить виновников Парижского трактата за то, что они так благовременно сняли с России эту формальную обязанность покровительства, связывавшую ее по рукам и по ногам.

И так, по отношению к России, против которой Парижский трактат был направлен, он состоял из ряда мелких стеснений, придирчивых оскорблений, которые не только не ставили действительных преград ее исконным стремлением к освобождению восточных христиан и возможности воздействия на Турцию, но в некоторых отношениях даже развязывали ей руки, конечно совершенно вопреки намерениям держав, принудивших ее принять этот трактат. Посмотрим теперь, какое имел он влияние на тех, кому благоприятствовал, чьим целям должен был содействовать, и прежде всего на Турцию.

По отношению к Турции, — это было поистине, невероятное сцепление заведомой лжи и обмана и изумительного самообольщения. Турция была принята в сонме европейских государств, как равноправный член, с гарантией ее целостности и независимости, и возомнила о себе, что она не только первостепенная европейская держава, но еще боец за цивилизацию и свободу. Чтобы поддержать свое новое достоинство, она поспешила прежде всего обременить себя громадными государственными долгами, истраченными на самые бесполезные вещи, как например, на огромный броненосный флот — третий в Европе, который, как оказалось на деле, не послужил ни чему; заметим кстати, второй пример, что броненосный флот, будучи хорошим подспорьем для того, кто и без него имеет перевес на своей стороне, самостоятельного значения однако же не имеет, не в состоянии доставить перевеса или даже уравнивать шансы стороны слабей-

шей в других отношениях. Народ был обременен налогами — и все окончилось банкротством еще до начала войны. Затем, заручившись обеспечением своей целостности и независимости, Турция вообразила себе, что для нее закон не писан и дала свободу развратным, хищническим и варварским инстинктам худших элементов своего населения, что в конце концов и привело ее к гибели. Против естественного хода событий никакие дипломатические гарантии не помогли.

Австрия, хотя не принимала непосредственного участия в Восточной войне, но своею феноменальною неблагодарностью нанесла наибольший вред России. В самом разгаре войны, она заставила переменить театр ее, чтобы дать союзникам возможность перенести ее в Крым. О вероятном успехе войны, если бы она велась в Болгарии, мы можем отчасти судить по образчикам действий англо-французов, когда им приходилось удаляться от их базиса — моря, хотя бы на самое незначительное расстояние, — по экспедиции в Добруджу и по бездейтельному стоянию на тесном пространстве Херсонесского полуострова, после взятия Севастополя.

Менее нежели через пять лет после спасения Австрии Россией от конечной гибели, она обратилась против своей спасительницы, потребовав очищения Молдавии и Валахии. Через три года после заключения Парижского мира она потеряла Ломбардию, владение своих эрцгерцогов, и всякое влияние на Апеннинском полуострове, через десять — потеряла Венецию и была выброшена из Германского союза, и, вследствие этого, приведена в такое положение, что место Австрийской монархии заступил какой-то невероятный, бессмысленный хаос двух Лейптаний, соединенных между собою десятилетним контрактом, точно акционерная компания на срок. Кому неизвестно, что при самых переговорах по заключению Парижского трактата, уже было решено вознаградить Сардинию австрийскими владениями в Италии. Можно ли сомневаться, что, если бы Австрия честно исполнила долг благо-

дарности — никогда не позволили бы Франции отнять у ней Ломбардию, также точно как никогда, при существовании старинного союза, не дошло бы дело до войны между Австрией и Пруссией? Порукой тому служит 1851 год.

Какие же результаты извлекла в конце концов из Восточной войны и Парижского трактата главная в них участница — Франция? В сущности почти те же, что и Турция. Она возомнила себя решительницей судеб Европы, — и была унижена и разгромлена. И опять, никто не станет утверждать, чтобы это не было прямым последствием той перемены в отношениях европейских государств, которую произвела именно Восточная война и Парижский трактат.

Обратимся теперь к главной виновнице всего дела, к Англии, которая всегда была так искусна в загребании жара чужими руками и в присвоении себе выигрышей там, где все проигрывали. Не усилил ли Парижский трактат по крайней мере хоть ее могущества, не содействовал ли осуществлению ее особых, так называемых британских интересов? О, нет, она и сама ясно теперь видит, что нет. Ее изолированное положение, метание из стороны в сторону, крушение Турции, которую она считала и считает главной опорой своих интересов на Востоке, поддержание и обеспечение которых и имел собственно в виду Парижский трактат, достаточно показывают, что и британским интересам, как их понимает большинство англичан, он нанес самый существенный вред. Ближайшее рассмотрение этого предмета выкажет этот результат в еще более ярком свете.

После Восточной войны, видя враждебное к себе отношение большей части Европы, с другой же стороны, чувствуя потребность внутренних преобразований, — Россия временно устранила себя от деятельного участия в Европейской политике. С тем большим вниманием обратила она свои взоры на Азию, где необходимо было устроить дела свои и упрочить свое положение в свободное от других политических коллизий время.

Прежде всего был покорен Кавказ. Через три года после Парижского мира сдался Шамиль и с ним Чечня и Дагестан; через семь — и западная половина Кавказского хребта. С этой стороны и оборонительное и наступательное положение России обеспечено. Лучшим доказательством тому служит то, какой ничтожный результат имела высадка в Сухум-Кале, и с какими малыми силами были усмирены волнения и взрывы мятежа горных племен, во время нынешней войны. Сообразно с этим и круг действия кавказской армии уже расширился и распространяется на Туркменский юго-восточный берег Каспийского моря.

Затем, приобретены Амур и длинная приморская полоса земли, известная под именем Уссурийского края, с целым рядом превосходных заливов и бухт — мест снаряжения и убежища для «Вест», «Россий» и «Константинов», имеющих действовать на простор Великого океана, когда в том встретится надобность.

Дошла очередь и до Средней Азии, хищнические ханства которой, по прежним неудачным опытам, считали себя отделенными от русского влияния и власти непроходимым поясом безводных пустынь. Но этим розовым иллюзиям суждено было исчезнуть. Кокан, Бухара и Хива покорены. Если один Коканд в полном составе непосредственно присоединен к России, то кто же не знает, что остатки Бухары и Хивы ни что иное, как вассалы России? Следовательно, как с суши, так и с моря Россия далеко подвинулась вперед к Азии, и стала в ней гораздо более твердою ногою чем прежде. Приятны ли эти успехи для Англии? А между тем они весьма значительною долею — последствия Восточной войны и Парижского трактата.

Но были и воспользовавшиеся тою переменою отношений, которая возникла из этих событий, и извлекшие из нее громадные выгоды; но это были собственно посторонние делу государства, не те, которых имелось в виду в такой степени усилить. То были Италия и Пруссия. Сардиния принимала, правда, участие

в войне против России, но и вражда к России, и цели, которых желали достигнуть главные руководители, были ей собственно совершенно чужды. С ее стороны тут был свой особый, национальный, хотя и макиавеллистический расчет; — но ведь без этого в политике редко дело обходится. Расчет этот был осуществим лишь при той перемене в расположении политических созвездий, которую произвела Восточная война и Парижский трактат. Россия поняла это — и, как известно, не была злопамятна.

И так, цели Парижского трактата были недостойные; средства, употребленные для их осуществления, — нелепые; практические результаты, которых он достиг, ничтожные и даже прямо противоположные тому, что имелось в виду его авторами. Не в праве ли мы были после того назвать его гнусным (по целям) и глупым (по средствам и достигнутым результатам) дипломатическим хламом?

III

Формальная обязательная сила Парижского трактата

Мы рассмотрели Парижский трактат в его сущности, в его историческом достоинстве, в общем ходе развития Восточного вопроса. Нам предстоит оценить его формальную обязательную силу по отношению к настоящему моменту, степень влияния, которое, он так сказать, в праве оказывать на установление мирных условий между Россией и Турцией, а также справедливость общего положения, что державы, некогда гарантировавшие известный политический порядок вещей, имеют право участвовать в установлении нового порядка, когда прежний фактически обменен ходом событий, хотя бы они и не участвовали в этой фактической отмене его. Касательно запрещения России держать флот на Черном море, то об этом говорить нечего: этот пункт был отменен в 1871 году с общего согласия и, кроме того,

нейтралитет Черного моря был отменен фактически, так как на нем происходили военные действия.

Свобода судоходства по Дунаю и поддержка гирл в судоходном состоянии были, конечно, нарушены войной; с восстановлением же мира, относящиеся до этого предмета постановления опять вступят в полную силу. Ни войной, ни мирными условиями тут ничего не изменено, следовательно Парижский трактат ни причем.

Восстановления исключительного и формального покровительства России над Сербией и Румынией, сколько известно, никто не требовал. В этом пункте Парижский трактат остается неприкосновенным.

Добровольного улучшения быта христиан со стороны правительства султана, как известно, не последовало; напротив того, последовало весьма значительное ухудшение, значительное до степени невыносимости. В этом отношении Парижский трактат действительно был отменен, но отменен не со вчерашнего дня, и не с прошлого и с позапрошлого года, даже несовремени Критского восстания, а с самого момента подписи Парижского трактата, которым таким образом, собственно говоря, никогда и не вступал в действительную силу. Это добровольное обязательство Турции было единственным обязательством, наложенным на одну сторону, в соответствие всем прочим обязательствам, наложенным на другую сторону — Россию; а так как всякое юридическое обязательство имеет силу лишь под условием обоюдного соблюдения, то Россия имела всегда полнейшее право считать Парижский трактат несуществующим. Далее более того: Турция, не исполняя своего добровольного обязательства, тем самым не признавала его; подписавшие трактат державы (кроме России) знали это и молчали, следовательно, *tacito consensu** не признавали трактата, который, следовательно, должно считать фактически отмененным задолго до войны.

* При молчаливом согласии.

Трактат гарантирует целость и независимость Турции. О независимости надо сказать, что она бывает двоякая: формальная и действительная. Только первую можно гарантировать трактатами; но ее никто и не нарушает, ибо не слыхать, чтобы Турция к кому-либо поступала в вассальные отношения. Действительная же независимость, по отношению к государствам и по отношению к частным лицам, неуловима ни для каких трактатов и ни для каких договоров. Например, в течение последнего времени, до начала и даже во время войны, была ли Турция действительно независима? Независимо ли действовала она, свергая султана Абдул-Азиса, отказываясь принять мягкие условия конференции и даже приступая к болгарской резне 1878 года? Без сомнения — нет. Во всем этом волю Турции направляла воля Англии. Как, даже и в болгарской резне? — Без малейшего сомнения. Разве не голос Англии, бывший в то время всемогущим в Константинополе, советовал — читай приказал — действовать энергически; а — в переводе на турецкие понятия, — что же значит действовать энергически, как не насиловать, грабить, резать, сажать на кол, сдирать кожу, жечь живыми и проч. и проч.? Если бы это было не так, зачем бы английским официальным агентам, восходя до самого первого министра, стараться замять и скрыть эти ужасы?

Целость Турции, — ну это, пожалуй, что нарушается. Однако же каким образом? Вассальность Сербии, Молдавии, Валахии, Египта, Триполя, Туниса не считалась же прежде нарушением целости Турецкой империи: почему же не примириться друзьям ее и с вассальством Болгарии? Сербия и Румыния приобретают полную независимость. Но они именно из-за этого вели удачную войну, которой не препятствовали радетели турецкой целости. Нельзя же после этого не покориться результатам ее. Впрочем, об этом мы сейчас будем говорить подробнее. Наконец, Россия получает некоторые турецкие области, но получает их за долг, которого иначе Турция уплатить не в состоя-

нии. В Англии существуют майораты, т.е., другими словами, английские гражданские законы гарантируют целость имений английской нобилити и джентри. Но следует ли из этого, что господа лорды избавлены от уплаты своих долгов и даже судебных издержек, по веденным ими процессам, в случае их проигрыша? — Ничуть. В этих случаях имения лордов продаются, как и всякие другие имущества. Уплата военных издержек в международных отношениях и есть то именно, что уплата судебных издержек в обыкновенных гражданских процессах. Можно лишь заметить, что и в этом отношении Россия простирает свою умеренность и великодушие до совершенного забвения своих собственных интересов. Области Карса, Батума, Ардагана и Баязета, которые отходят к России, оценены в тысячу или тысячу сто миллионов рублей. Но разве они этого стоят? Считая по 5%, тысяча сто миллионов приносят 55 миллионов дохода — а эти области и пяти не дадут. Так ли поступали в подобных случаях другие! Эльзас и Лотарингия не Карсу, Батуму и Баязету чета, но сверх их взяты были еще тысяча двести пятьдесят миллионов рублей с Франции, да еще в короткий срок, да еще не считая громадных контрибуций, взятых во время самой войны, тогда как Россия не взяла ни копейки. И все-таки это называется чрезмерными требованиями России, на которые великодушная Европа не может согласиться! Но пусть так, — пусть нарушена целость Турецкой империи, и с нею вместе и Парижский трактат в этом единственном пункте: но что же это значит, если этот же самый трактат был постоянно нарушаем Турциею и самими державами, его гарантировавшими, как мы сейчас видели, и как еще яснее увидим из разбора еще не рассмотренного нами пункта, составляющего венец и завершение всего трактата?

Но этому пункту, государства, подписавшие трактат, приняли на себя обязательство, что если у одного из них возникнет с Турциею несогласие, то оно, не приступая к решению спорно-

го вопроса силою, должно обратиться к общему содействию всех этих государств, для улаживания возникшего несогласия. Россия исполняла это всегда, а в настоящем случае исполнила с невероятною роскошью терпения и дипломатической легальности. В четыре приема оказывали державы свою совещательную деятельность: в консульских комиссиях, в ноте Андраши, в берлинском меморандуме и, наконец, в константинопольских конференциях. Эти совещания, по здравому смыслу и сущности дела, могли привести к одному из трех следующих способов действия. Или державы признали бы, что Россия неосновательно придирается к Турции, которая, в силу своей независимости и государственного верховенства, не взирая на добровольно сделанное торжественное обещание улучшить быт своих христианских подданных, имела полное право их резать, вешать, жарить и проч., и в таком случае, должны были бы коллективно объявить России, что она не должна препятствовать правительству его величества султана в его законном образе действий, одобренном, или по крайней мере допущенном ареопагом держав порук. Или признать, что притязания России правильны, а Турция поступает вопреки принятым ею на себя обязательствам, — и в таком случае, коллективно принудить ее изменить ее образ действий, заручившись достаточными гарантиями, что впредь ничего подобного не повторится. Россия это именно и предлагала. В обоих этих случаях державы-поруки заявили бы, что они признают Парижский трактат сохранившим свою полную, обязательную для всех силу. Или, наконец, умыть руки и предоставить сторонам разбираться как знают. В этом последнем смысле и было сделано.

С того момента, как Россия объявила войну Турции, и ни одна из держав-порок не только не вмешалась в эту войну, но даже не протестовала перерывом дипломатических сношений с Россиею, или иным способом, они собственноручно разорвали трактат. Всякая война полагает конец прежним отношениям меж-

ду воюющими государствами, и всякий новый мир устанавливает новые отношения. Как Кучук-Кайнарджийский и Адрианопольский миры потеряли свою обязательную силу, с объявлением Восточной войны, так точно и Парижский мир потерял свою силу 12 апреля 1877 года, с безмолвного, но само по себе разумеющегося согласия всех держав-порук. Если бы они в то время приняли сторону России, или сторону Турции, они тем бы показали, что желают восстановить ту часть трактата, которая, по их мнению, была нарушена тою или другою стороною, и сохранить остальную его часть; коль скоро они этого не сделали, они, значит, решились подвергнуть его участь жребия войны. Может быть возразят, что это справедливо только относительно России и Турции, а не относительно России и других держав. Без сомнения, если бы в Парижском трактате заключались условия, налагавшие на Россию обязательства непосредственно к другим державам, независимо от ее отношений к Турции, то эти обязательства и сохранили бы свою силу. Такие обязательства действительно были, а именно: не содержание флота на Черном море, отказ от исключительного покровительства Дунайским княжествам и обязанность обращаться к общему совету держав, в случае возникновения спорных вопросов с Турциею. Но все они частью отменены, частью же были исполнены или исполняются Россией.

Предположим, что относительно какого-либо имущества было бы положено обязательство на две стороны: не начинать по поводу его судебного процесса, не собрав предварительно семейного совета, имеющего постановить свое решение по спорному делу. Совет был собран и решения не постановил. Стороны начинают процесс, и, ни при начале его, ни во все предложение его, семейный совет не подает никакого протеста против законности судебного разбирательства. Суд постановляет наконец решение. Имел ли бы после этого значение протест семейного совета против законности решения суда?

Но в так называемом международном праве положительных законов нет: — единственным руководством служат прецеденты. Посмотрим, что ответят нам эти прецеденты.

В течение всей европейской истории, не было, конечно, дипломатического собрания, которое, по обширности интересов, подлежащих его разбирательству, по числу участвовавших в нем государств, по самой его формальной торжественности, по его исторической важности и, наконец, по продолжительности времени, в течение которого все существенные его постановления составляли основание всего политического порядка вещей в Европе, могло бы сравниться с Венским конгрессом. Все без исключения европейские государства принимали в нем участие; не было ни одного между ними, которого бы не касалась его постановления; не послы и министры только, но сами могущественнейшие государи принимали в нем непосредственное участие. Он составляет грань нового периода в истории Европы, который даже во всех учебниках принято называть «новейшею историею». Сорок четыре года (1815-1859) постановления его составляли основной закон для международных отношений, без существенных перемен. Куда же равняться с ним какому-нибудь Парижскому трактату! Не чета ему Венский конгресс и по внутреннему своему достоинству. То был истинный памятник дипломатической мудрости. Все интересы были приняты во внимание, постановления конгресса соответствовали действительному распределению политической силы и могущества, а также и справедливости, за немногими исключениями. Обижены были только Дания — этот козел отпущения европейской политики, — получившая Лауэнбург взамен Норвегии, и вне Европы — Голландия, лишавшаяся мыса Доброй Надежды, и Франция, потерявшая чисто французский остров Иль-де-Франс. Напрасно укоряют конгресс, что он раздавал народы, как стада, не справляясь с их национальными стремлениями. Принцип национальности мало кем в то время сознавался. Требовать от

Венского конгресса, чтобы он им руководствовался, все равно что требовать от Сезостриса или Навуходоносора, чтобы они сообразовались в своей политике с правилами христианского милосердия. И какая могла быть речь о национальных принципах, когда конгресс не мог же не признавать факта существования Австрийской монархии — прямого его отрицания! А если так, то почему же было, например, не присоединить части Италии, в которой и прежде Габсбурги имели владения, к этому конгломерату народностей?

Как бы то ни было, по решению конгресса Ломбардия и Венеция были присоединены к Австрии. Другие части Италии достались принцам Габсбургского дома. Во всей Италии господствовало влияние Австрии. На последовавших дипломатических конгрессах, которым так изобиловало то время, этот порядок вещей был укреплен и подтвержден. Несмотря на все это, однако же, вследствие неудачных для Австрии войн 1859-го и 1866 годов, этот столь торжественно утвержденный порядок был изменен в самом корне. Австрия лишилась Ломбардии и Венеции, эрцгерцоги — своих владений. Затем, и неаполитанский король, которому тот же Венский конгресс возвратил его владения, был изгнан. И все это совершилось простыми мирными договорами между воевавшими, и даже просто насильственным захватом. Для обсуждения и узаконения всех этих, столь существенных, перемен, не сочли нужным созывать дипломатическое собрание представителей государств, подписавших и гарантировавших постановления Венского конгресса.

Вскоре и светская власть пап была уничтожена простым захватом итальянского правительства. Не говоря уже о том, что светская власть пап также была восстановлена и гарантирована Венским конгрессом, трудно найти предмет, который бы в большей степени касался интереса не только всех европейских (за исключением разве Швеции, Дании и Голландии, почти не имеющих католических подданных), но и всех американских дер-

жав, как организация папской власти. И разве маловажная вещь — уничтожение светской власти пап? Конечно, на первый взгляд, папство лишилось части своего могущества — что на руку для власти государственной. Но ведь это зависит только от противоположности интересов папства с государственными интересами Италии. Но в сущности, так ли они непримиримы и противоположны? И не возможно ли возрождение Гвельфского духа? Италия причисляется к первостепенным державам Европы, но ведь более из вежливости, чем по действительным размерам ее политической силы. В действительности, Италия не более, как первое из второстепенных европейских государств. Также и Рим, став столицей Италии, потерял в своем значении, хотя на первых порах и не замечает еще своего разжалованья. Народное честолюбие итальянцев ни тем ни другим не может долго оставаться довольным. Папство же всегда умело сообразоваться с обстоятельствами и подчинять их себе. Вместо хрупкой опоры, доставлявшейся папскому престолу двумя с половиною миллионов его бывших, большею частью мятежных, подданных, не может ли оно задумать опереться на весь двадцатимиллионный итальянский народ, который со своей стороны, через нравственное значение папства, приобретает огромное политическое влияние, какого не в состоянии доставить ему его национальная сила? В этом смысле уже высказался патер Курчи, один из влиятельных членов ордена Иезуитов, хотя идея не нашла себе пока сочувствия. Взаимное раздражение еще слишком сильно, но оно уляжется.

Зачем, однако, заглядывать в более или менее отдаленное будущее? Практическая дипломатия имеет преимущественно дело с насущными вопросами настоящего. Что же могло быть ближе и для интересов минуты и для вопросов будущего, как перемены, происшедшие в Германии в том же 1866 и в 1871 годах? Главным, основным, существеннейшим, любимейшим созданием Венского конгресса был конечно Германский союз. По выра-

жению немцев, — с этим союзом стоит и падает все дело Венского конгресса. И нельзя не сознаться, что учреждение это, хотя оно и подвергалось жестоким нападкам, было делом действительной политической мудрости, доставившим Европе сорокалетний мир с лишком — благодеяние, которого она еще никогда прежде не испытывала. Германский союз был конечно искусственным политическим зданием, но в то время не существовало еще никакого естественного организма, который мог бы занять его место. Организм этот родился и созрел под его покровом. Германский союз обладал огромною оборонительною силою, и, находясь в середине Европы, разделял собою все элементы ее, которые могли бы вступить между собою в борьбу, по крайней мере в борьбу решительную; сверх того, он нейтрализовал антагонизм Пруссии и Австрии. Напротив того, его наступательная сила, нуждавшаяся для своего проявления в быстром соглашении всех его, во многих отношениях разнородных, составных частей, равнялась почти нулю. Этим он служил широкою основою для возможно устойчивого равновесия Европы. Однако этот палладиум европейского равновесия и спокойствия был ниспровергнут, сначала внутреннею, а затем внешнею войной. На месте часто охранительного союза возникла сильная, способная к самому энергическому наступательному действию, империя, — и все же, ни после первой, ни после второй войны, ни после 1866, ни после 1871 года, — европейские государства, подписавшие акт Венского конгресса, не сочли нужным собраться на новый конгресс. Хотя бы только для обсуждения и утверждения происшедшей перемены.

Вот что говорят прецеденты!

И однако же, канцлер Германской Империи, в произнесенной им в рейхстаге речи, между прочим, сказал: «то, что будет составлять перемену против обязательств 1856 г., потребует санкции участвовавших в них держав»; и в другом месте: «насколько оно (т.е. вознаграждение за убытки войны) денежное — оно

касается лишь воюющих держав; насколько территориальное — контрагентов парижского трактата, и должно быть регулировано с их санкции».

Странные слова в устах князя Бисмарка! Читая их, невольно задаешь себе вопрос, счел ли бы князь Бисмарк основательными, справедливыми и дружелюбными к Пруссии фразы подобные этим, произнесенные кем-либо из руководителей политики дружественных Пруссии государств в 1866 и 1871 годах? Почему же в 1878 году по отношению к России справедливо и даже как бы само собою разумеется, что все, составляющее отступление от трактатов 1856 года, должно подлежать утверждению держав, участвовавших в Парижском трактате; а в 1866 и 1871 годах, по отношению к Пруссии и Германии, было бы несправедливо и, пожалуй, даже оскорбительно заявлять, что все, составлявшее отступление от трактатов 1815 года, должно подлежать утверждению держав, участвовавших в Венском конгрессе?

Все та же вечная двойственность мер и весов, как со стороны европейских врагов, так и со стороны европейских друзей, когда дело идет о России и о других державах. Двойственность эта и оскорбительна и лестна. Оскорбительна она для тех, которые видят в России не более как одного из членов европейской (не слишком впрочем дружной) семьи, и, естественно, желают, чтобы она пользовалась полною равноправностью с прочими братьями. Действительно оскорбительна, очень оскорбительна должна быть эта двойственность для тех, которые считают высшею честью России принятие ее в сонм европейских держав, и стараются заслужить эту честь, какою бы то ни было ценою. Но она очень лестна для тех, которые видят в России иное: не равноправного члена европейской семьи, а главу иной семьи, равноправной всей совокупности того, что называется системою европейских государств. Лестна потому, что в этой двойственности слышится голос внутреннего сознания, говорящий с затаен-

ною скорбью уязвленного самолюбия: «как ни скромничай, как ни умаляй себя, мы знаем — ты центр иного, нового, начинающего складываться мира... В виду судеб твоих мы не можем быть к тебе справедливы, мы не смеем относиться к тебе беспристрастно».

Как для тех, так и для других, однако ж, двойственность эта одинаково поучительна и приводит к тому же окончательному выводу, что «друзей у нашей Руси нет»; что все конечно готовы пользоваться ее услугами, но любят платить за эти услуги, если и не отъявленной феноменальной неблагодарностью, на что конечно не все обладают достаточно медным лбом, то по крайней мере, как мы уже раз выразились, ассигнациями весьма низкого курса за чистое золото; — что Россия должна всегда промышлять сама о себе; что она должна приготовить себе иных друзей, связанных с нею не только более или менее случайными общими интересами и временными сочувствиями, а общностью всей исторической судьбы своей, своего настоящего и будущего.

Но возвратимся к нашему предмету. Примеры недавнего прошлого с достаточною ясностью показывают, что принцип пересмотра перемен, произведенных войной между государствами, участвовавшими в предшествовавших мирных договорах, которыми был установлен тот именно порядок вещей, который отменяется в целом, или отчасти, — на практике признаваем не был.

Но русские воззрения на политические дела отличаются, как известно, удивительнейшею гуманностью и наитончайшею деликатностью. Мы не хотим брать примера с других, если их действия не согласуются с самою строгою справедливостью, с самыми возвышенными требованиями интересов цивилизации, самым самоотверженным бескорыстием; мы не хотим, в этом отношении, по крайней мере, «с волками жить — по волчьи выть». Избави Бог осуждать в самом их основании такие ка-

чества русского политического мировоззрения. Мы только сожалеем, что нередко нами пересаливаются эти политические добродетели, пересаливаются в том смысле, что, в погоне за преувеличенным бескорыстием, мы жертвуем некоторыми интересами только потому, что они наши интересы, ради других — только потому, что они чужие, не обращая порой внимания на внутренние свойства этих интересов, на то, что наши интересы — интересы законные, справедливые, священные, человеческие, а интересы чужие — своекорыстные, эгоистические, даже варварские, — забываем, что не всегда великодушные — действительно великодушно.

Для бескорыстной русской мысли представляется поэтому важным не то, как в подобных случаях поступали другие, а как должно поступать. Если они поступали несправедливо, эгоистично, насильственно — это нам не образец. Важно даже не то, каково внутреннее достоинство этого трактата, о котором идет речь; важен сам принцип. Война изменила положение вещей, освященное договором, выгодным для нас или невыгодным — это все равно. Не справедливо ли, чтобы все участники прежнего договора обсудили эти перемены, с тем чтобы их утвердить или отвергнуть? — вот в чем, по мнению иных, существенный вопрос. Нет, несправедливо, — ответим мы, не обинуясь; несправедливо, потому что не исторично. Великие исторические интересы будут изыматься из юрисдикции дипломатии, которая, в данном случае, уже тем доказал свою некомпетентность, что дело вышло из ее рук и дошла до войны, — а решаются непосредственно борьбою народных сил. В этих вопросах, определяющих историческую будущность народов, решение не может быть предоставлено соглашению отдельных лиц, часто своекорыстных и всегда близоруких, но должно решаться борьбою исторических сил. Логика событий, логика истории находится нередко в противоречии с логикой индивидуальной. Кто признает в ходе истории направляющую волю высшего разума, — конечно, не усомнится пред-

почесть первую — второй. Напротив того, кто в этом ходе видит не более, как сочетание неразумных случайностей, результат борьбы неразумных сил, конечно, должен быть склонен видеть величайший успех в подчинении хода событий человеческому разуму. Но для нашей цели нет надобности возвышать вопроса до этой философской высоты. Мы готовы согласиться с последними, если только нам покажут, что в дипломатических собраниях — не говорим действительно проявляется, но даже имеет возможность проявиться эта разумность, имеющая руководить судьбами народов. На деле, критерий разумности их решений приводится к решению по большинству голосов, и еще по какому большинству! В парламентах, палатах, где также решает большинство, несмотря на всю противоположность интересов и воззрений, на всю игру страстей, господствует над всем общее стремление к государственному благу, примиряющее противоречия. Различие во взглядах относится собственно (с исключениями конечно) к средствам его достижения, — единая же цель всеми одинаково признается. Где же это высшее примиряющее начало на дипломатических конференциях? Не благо ли человечества? Не говоря уже о том, что никому неизвестно в чем оно состоит, — не смешная ли фикция предполагать, что стремлением к нему одушевляются члены дипломатических конгрессов или конференций?

В чем может проявиться на деле дипломатическое вмешательство государств, не участвовавших в войне? — Или в бесплодной трате времени, тяжело отзывающейся на тех, кто ее вел, ибо нерешительность положения, поддерживаемая дипломатическими прениями, препятствует им разоружиться; или в новой войне; или, наконец, в решении вопроса в антиисторическом смысле. Первые два случая понятны сами по себе, только последний требует некоторого разъяснения.

Отношения государств друг к другу, их взаимные права и обязанности определяются мирными договорами. Но государства — живые организмы. Они растут и изменяются, и притом неравно-

мерно, не одинаково в разных направлениях. С течением времени обязанности оказываются стеснительными и нарушаются, права — излишними или недостаточными. Возникают новые требования. Установленный договором *modus vivendi*⁶ оказывается невыносимым. Конечно, дело можно уладить полюбовными сделками, посредничеством — и здесь они вполне уместны, по крайней мере в теории, если не на практике. Полюбовные сделки, посредничество, даже при размежевании угодий, редко удаются, и приходится прибегать к силе судебных решений. По неимению такой силы в делах международных, возникает война и устанавливает новые отношения, более соответствующие новым потребностям и интересам, успевшим развиться в период предшествовавшего мира, и более соразмерные с новым распределением государственных сил. В чем же может состоять посредническая деятельность государств, не участвовавших в войне, но участвовавших в заключении того мира, последствия которого именно и отменяются войной? Очевидно они будут стараться о сохранении, насколько возможно, прежнего порядка вещей, который был соображен с их выгодами, так как они его установили. Что им за дело, что он не пригоден для тех, кого он ближе и прямее касается? Они знают лишь свои интересы. Действие их не может быть иное, как тормозящее, задерживающее, мертвящее, одним словом, противоисторическое. Они всегда будут на стороне формальной легальности против живой действительности.

Эти посторонние участники всегда будут отстаивать привилегированное положение, доставшееся им по прежнему трактату, несмотря на то, что привилегия уже отжила свой век, совершенно так, как, например, торийские аристократы отстаивали представительство гнилых местечек⁷. Между тем, очевидно, что самые интересы, за которые они так горячо стоят, в сущности и для них несущественны; иначе они не предоставили бы их защиту силам своего клиента, а сами бы помогали защищать их с оружием в руках. Но так как дело было не кровное, они возлагают

надежду на слабость им противной, на силу им приятной стороны. Когда же кривая не вывезла, они хотят жать там, где не сеяли, думая, что им легче удастся справиться с противником, ослабленным только что выдержанною им, хотя бы и победоносною, войной. Честный ли это расчет и может ли он повести к благотельным, разумным последствиям? Освободилась ли и объединилась бы Италия, образовалась ли бы Новогерманская империя, если бы участь их зависела от решений европейского конгресса или конференции, — так как ведь все это были события в высшей степени антилегальные, несогласные с прежними трактатами, хотя и совершенно законные с точки зрения живой исторической действительности? По крайней мере на сколько были бы они урезаны! Сколько новых попыток потребовалось бы для окончательного достижения их целей, а следовательно сколько новых войн пришлось бы выдержать!

Таким образом, с какой точки зрения ни смотреть на вопрос: с точки ли зрения специальных достоинств Парижского трактата, его особых прав на значение договора, который должен регулировать международные отношения, с точки ли зрения авторитета прецедентов, представляемых новейшей историей — авторитета дипломатических обычаев, или, наконец, с точки зрения самого выставляемого принципа *in abstracto*⁸: — мы приходим к одинаковому заключению, что не участвовавшие в войне, в сопряженных с нею жертвах и усилиях, не имеют достаточных прав и отношений на участие в установлении ее результатов.

Итак, мы имеем полное право отвергнуть первое основание, приводимое в оправдание притязаний держав, подписавших Парижский трактат, на пересмотр состоявшихся между Россией и Турцией мирных условий, на собранном для этой цели дипломатическом собрании. Посмотрим, не заслуживает ли большего уважения второе из приводимых оснований, заключающееся не в требованиях формальной легальности, а в действительных интересах европейских держав.

IV

Общеввропейские интересы

I

(«Русский мир» 1879, 5 апр.).

Что такое европейский интерес и в чем он заключается. — Примеры Италии и Германии. — Вопрос об устьях Дуная. — Значение территориальных перемен в Малой Азии. — Вопрос о проливах. — Отзыв князя Бисмарка. — Для кого важны ключи от нашего дома. — Пример — проходы в Индию. — Домогательства Англии. — Значение Индии для Англии и для России. — Бессмысленность взаимной вражды.

Конференции или конгресс необходимы, говорят, потому, что, кроме интересов России и Турции, мирный договор между ними затрагивает и интересы общеевропейские. Тут, следовательно, вопрос не в теории, а в фактах. Чтобы отвечать на вопрос, есть ли надобность в дипломатическом собрании европейских государств, с этой точки зрения, надо показать, какие же это общеевропейские интересы, затрагиваемые русско-турецким мирным договором.

Сербия и Румыния получают полную независимость; независимость Черногории признается Турцией; владения этих государств увеличиваются; Болгария становится полунезависимым вассальным княжеством, вступающим в те же отношения к Турции, в которых до сего времени находились Румыния и Сербия; Россия получает денежное и территориальное вознаграждение. Прежде думали, что в это вознаграждение поступит и часть турецкого флота, но от этой надежды приходится отказаться. Относительно проливов все остается по старому; только нейтральные торговые суда могут проходить через них и в военное время. К этому присоединяется еще намерение России променять у Румынии, уступленную ей Турцией, Добруджу на часть Бессарабии, отошедшую от России по Парижскому трактату, — не

всю, однако же, а только по самый северный из рукавов Дуная. Под земельным вознаграждением разумеется небольшая часть Малой Азии, с городами Батумом, Ардаганом, Карсом и Баязетом. Эрзерум, как было надеялись, сюда не вошел.

Напрягая все свое внимание, во всем этом мы решительно ничего общеевропейского не можем заметить. Ни единый общеевропейский интерес, не только прямой, но даже косвенный, ничем не нарушен. Рассмотрим, однако, все эти пункты подробнее и внимательнее, — не найдем ли чего.

Прежде всего, что такое общеевропейский интерес? Очевидно, — такой интерес, который касается всех европейских государств, или по крайней мере большинства их. Так, например, интерес, представляемый устройством папской власти, о чем мы уже сказали несколько слов, может быть назван общеевропейским, ибо касается почти всех государств Европы. Также вопрос о Зундской пошлине был общеевропейским, и даже общеамериканским, сверх того. Пожалуй, и вопрос об устройстве Германии, в виде ли блаженной памяти союза, или нынешней империи, был общеевропейским. В самом деле, для Австрии эта перемена вообще весьма невыгодна, хотя бы уже по одному тому, что прежний союз гарантировал значительную часть ее земель, — а ведь всякая гарантия ей куда как нужна. Нет надобности, думаю, распространяться, что и для Франции гораздо была приятнее соседка, растягиваемая надвое противоположными стремлениями Австрии и Пруссии, с придачею еще особых тенденций Баварии, Бадена и проч., чем нынешняя объединенная грозная немецкая сила. Для Англии явился новый конкурент в области политических влияний, пока, правда, только на европейском континенте, но есть основания предполагать, что он не замедлит оказать их и на морях; военный флот новой империи по крайней мере усиливается; обо всем этом нечего было тревожиться со стороны Германского союза. Голландия населена народностью весьма близкою к немецкой, а от нижненемецкой даже мало чем и отличимою. Есть ей, следовательно, ос-

нование задуматься над германскими объединительными тенденциями. К тому же, Люксембург уже совсем немецкий, и Рейну, по крайней мере его судоходной части, только одна Голландия мешает сделаться совсем немецкою рукою. Нужно ли говорить о Дании? — она на опыте извела, какая разница между Германским союзом и самостоятельно действующей Пруссией, из сравнения годов 1848 и 1849, и 1864. Швеция с Норвегией, уже по общескандинавскому чувству, стоят на этой же точке зрения. Швейцария имеет в этом отношении точки соприкосновения с Голландией. Для России теперь положительно выгоднее империя, чем прежний союз; но это может измениться. Италия, думаю, в том же положении, как и Россия. Для Испании и Португалии — хотя от первой и загорелся сыр бор — что союз, что империя — совершенно безразлично. Итак, мы видим семь государств: три больших и четыре малых, интересы которых превращением союза в империю — или положительно нарушены, или более или менее угрожают в будущем; два больших, для которых, это, говоря вообще, пока выгодно, и два: одно среднее, другое малое, для которых это совершенно безразлично. Бесспорно, следовательно, что тут был интерес общеевропейский. Заметим еще, что оба упомянутые нами общеевропейские вопроса, Римский и Германский, были решены в национальном и антиевропейском смысле, и весьма основательно. Потому что и Германия, и Италия домогались только своего, законного. Не стоять же им в самом деле из-за других! Если кому от этого не поздоровилось — все, что можно сказать: тем хуже для него. Значит, его организм чем-нибудь да страдает, в каком-нибудь направлении поврежден, ненормально развит, не на здоровых основах утвержден, — если чужой рост, удовлетворение законных требований других народностей ему не по нутру.

Возвращаясь к своему предмету, мы найдем, что если будем придерживаться вышеприведенного определения общеевропейских интересов, то, в числе поименованных мирных условий, мы не найдем ни одного, которое представляло бы необходи-

мый для того характер. Уменьшим наши требования; пусть общеевропейским будет называться такой интерес, который касается хотя бы только нескольких, не замешанных в войне государств.

Более всех будет носить этот характер возвращение России отошедшей от нее полосы Бессарабии, так как с этим сопряжено владение Дунаем, а река эта служит важным торговым путем для Австрии и для небольшой части Германии. Что же требуется от такой международной реки? — Чтобы плавание по ней было свободно от истоков до устья, для всех прибрежных государств. И больше ничего. Но ведь это условие совершенно не зависит от того, кому принадлежит та или другая часть реки, предполагая, конечно, что ни один из прибрежных владетелей не покровительствует речному разбою, как то делали в былые времена Алжир и Тунис на море. Если государство, доселе не прилегавшее к Дунаю, сделается прибрежным, то, само собою разумеется, оно получит все права и примет на себя все обязанности, с этим сопряженные. Это могло бы еще составить какой-нибудь вопрос; если б Дунай был единственною в мире рекою, протекающею через несколько государств. Но таких рек на свете не мало, и никого они не затрудняют. Например, Рейн протекает через Швейцарию, Германию и Голландию, и недавно протекал и по границе Франции, однако ж никто на это не жалуется. Может быть, скажут, что устья Рейна находятся в руках государства незначительного по своей силе, которое не дерзнет решиться на образ действий несогласный с выгодами верховых государств, и что, отдавая Румынии отошедшую от России часть Бессарабии, Парижский трактат и имел именно в виду устроить в низовьях Дуная положение дел, подобное существующему в низовьях Рейна. В виду этого возражения, нам стоит только переменить пример, чтобы доказать, что свобода судоходства ни мало не зависит от принадлежности речных устьев непременно политически-слабому государству. Эльба протекает по

Австрии и Германии; Висла — по Австрии, России и Германии, Неман — по России и Германии. Чего уже сильнее теперешней Германии, а разве эта сила низового государства чем-нибудь вредит интересам верховых? Почему же Россия заслуживает менее доверия, чем Германия? Такое утверждение было бы весьма оскорбительно, и едва-ли кто решится его произнести. Ясно, что никакой конференции и никакого конгресса не требуется для улаживания столь простого дела.

Но если возвращение России части Бессарабии, несмотря на Дунай, имеет весьма ничтожное значение с точки зрения общеевропейских интересов, — оно составляет вопрос большой важности для самой России, и потому я позволю себе сделать небольшое отступление в эту сторону.

Возвращение полосы Бессарабии России может иметь троякое значение: 1) значение территориального увеличения, сопряженного с увеличением государственного могущества; 2) значение вопроса чести, как подтверждение принципа, что Россия никогда не признает насильственного отторжения самого незначительного пространства ее территории; 3) значение стратегическое. О первом не стоит собственно и говорить. По своему пространству, по числу населения, кусочек Бессарабии, в сравнении с Россией, есть величина совершенно ничтожная. Во втором смысле вопрос этот, конечно, приобретает несомненную важность. Но тут одна квадратная верста равняется сотням квадратных миль. Все или ничего — должно быть в этом случае девизом. До 1856 года нам принадлежала не только полоса земли до левого берега самого северного из рукавов Дуная, но и вся дунайская дельта, отошедшая не к Румынии, а непосредственно к Турции, вместе с островом Фидониси, о котором и теперь еще не известно, кому он будет принадлежать. Дельта же должна отойти к Румынии вместе с Добруджей. Следовательно, вопрос чести все-таки не будет удовлетворен. Но нам кажется, что в фактическом удовлетворении его в настоящем

случае вообще не представляет никакой надобности. Понятие о чести, личной или государственной, есть понятие идеальное, и идеальное восстановление ее вполне достаточно. То есть, вполне достаточно убеждение, — а кто же может не иметь его? — что Россия имела бы полную возможность возратить себе у нее отнятое, если бы захотела; приводить же или не приводить в исполнение свою волю — она предоставляет своему благоусмотрению. Наконец, стратегическое значение отошедшей полосы Бессарабии заключается единственно в непосредственном соприкосновении через нее с Болгариею, а затем и с Турцией, еще третьим путем, сверх Малой Азии и моря. Но это значение совершенно утрачивается, если Добруджа должна отойти к Румынии, в виде вознаграждения за возвращаемую России территорию.

Между тем, мысль об уступке России куска Бессарабии, как мы видели, в сущности ей бесполезного, возбуждает неудовольствие наших бывших союзников, а отделение Добруджи от Болгарии не может быть приятно Болгарии, потому что нарушает, если не этнографические, то географические ее естественные пределы, — неудовольствие, которое, конечно, постараются развить со всех сторон. Главный же интерес России в странах нижнего Дуная заключается, думаем мы, в следующем: в том прежде всего, чтобы Румыния не обратилась, как выражаются, в южную Бельгию — в нейтральное государство, а лучшее средство для этого, чтобы сами румыны этого не желали, как истинные их интересы и не допускают желать. По счастью, Австрия также не желает нейтрализации Румынии, конечно, в надежде осуществить в будущем свои на нее виды. Но, если бы даже они и осуществились, мы твердо убеждены, что России скорее бы можно согласиться на присоединение Румынии к Австрии, чем на ее нейтрализацию. Австрия не такая сила, с которою России было бы особенно трудно справиться при случае; общеевропейский же клин, вбитый в славянское тело, составил

бы такое препятствие, для устранения которого потребовалась бы со стороны России решимость на оскорбление европейского величества, на что, при известном уважении ее к легальности, невозможно, да и не желательно рассчитывать, не говоря уже о материальных трудностях такого нарушения. Такие нарушения сходят с рук всегда только одной Англии, сходили при благоприятных обстоятельствах не раз Италии и Германии, но России едва ли когда сойдут, если уже и архилегальные, наистрожайшие законные ее действия раздражают столь многих до забвения и внешней законности, и внутренней правды. Затем, интерес России требует, чтобы Румыния сознавала, что до сих пор она достигала своих целей только тяжелыми усилиями и стараниями России, направленными не против Турок только, и что точно также и в будущем — дальнейших своих национальных целей она может достигнуть не иначе, как опираясь на Россию, как сливая свои выгоды с ее выгодами.

Пойдем далее. В вознаграждение жертв и убытков своих Россия получает небольшую часть Малой Азии. Чем это затрагивает общеевропейские интересы? Думаем — не более, чем и присоединение Заревшанского округа или Ферганской области. Отношение сил России к другим европейским государствам через это нисколько не изменится. Присоединенные области не дадут ей ни одного лишнего солдата, да, кажется, и ни одного лишнего ружья на случай европейской войны. Это вовсе не то, что, например, присоединение к России Шлезвиг-Голштинии, Эльзаса и Лотарингии, которые увеличивают ее боевые силы двумя или, по крайней мере, полутора корпусами. Даже и финансовые силы России немного возрастут, если только возрастут. Все, что Россия выиграет, — это улучшение ее стратегического положения в той отдаленной местности, и облегчение для торговли приобретением хорошей гавани, которой ей не доставало на протяжении всей кавказской береговой линии. Общеевропейского тут нет ничего. Есть, может быть, специально анг-

лийское? Но это уже совершенно иное дело, ничего не имеющее общего с созывом общеевропейского конгресса. Но не сам ли лорд Дерби, которому ближе всего знать, объявил, что нет даже и этого? И в самом деле, ни для русских, ни для англичан не пролегает через эти страны пути в Индию. Через Трапезунд, Эрзерум, Баязет ведет Англия довольно значительную торговлю с Персией, ну и будет продолжать себе ее вести и после присоединения некоторых из этих городов к России. Только увеличится безопасность торгового пути; вместо вьючных, сделаются дороги колесными, а чего доброго со временем и железными. Вот и все изменения, которых можно ожидать.

Но вот доходит, наконец, дело до проливов. Мирные условия, к сожалению, их не касаются. Но допустим предположение, что вопрос этот был бы решен самым желательным для России образом, то есть, что, тем или иным способом, они совершенно закрываются во всякое время для военных флотов всей Европы и, напротив того, постоянно остаются открытыми только для военных флотов Турции и России. Чем нарушило бы это общеевропейские интересы? Мы часто читали и слышали, что беда будет от этого для Европы страшная. Даже князь Бисмарк, человек и прозорливый и не пугливого десятка, по видимому, однако же разделяет эти опасения. «Вопрос о Дарданеллах», сказал он в рейхсрате, «имеет громадную важность, если дело идет о том, чтобы проход через них, и ключи к Босфору и Дарданеллам передать в другие руки, предоставить, например, России отпирать и запираť их по своему усмотрению». Весь рейхстаг кричит: «слушайте, слушайте!» то есть, также признает за этим делом громадную важность. В чем же, однако, заключается эта громадная важность — этот страх и ужас общества, этот кошмар Европы, — и он не соблаговолил разъяснить; и никогда и ни от кого мы этого объяснения не слышали. А ведь очень было бы любопытно узнать. Ужас, да и все тут! Важность тут конечно есть, но только для России, и больше ни

для кого. Какому хозяину не важно иметь замок и ключ от своего дома? Но что до этого хозяевам других домов? — решительно не понимаю. Еще могу постигнуть важность для плутов, мошенников, воров, чтобы дома запирались плохими замками, к которым легко подделывать фальшивые ключи; но для чего это честным домохозяевам, — не могу в толк взять.

Но оставим шутки в сторону, которые, однако же, в сущности вовсе даже и не шутки, а самые точные и простые уподобления. Вопрос о проливах разделяется самым естественным образом на два вопроса: на вопрос о запрещении входа иностранным военным судам в Черное море — и на вопрос о свободном выходе из Черного моря русского флота. Почему в первом отношении Россия должна находиться не только в вечной зависимости от произвола другого государства, но даже не может выговорить себе определенных на этот счет прав, без дозволения совершенно посторонних делу государств, — это такое нарушение здравого смысла и всех понятий о справедливости, которому нет имени и нет примера в истории. Может быть, не всем читателям известно, что с сухого пути английская Индия находится, в отношении к ведущим в нее путям, совершенно в таком же положении, как Россия на Черном море. Со всех сторон окружена она горами, на севере совершенно непроходимыми, но проходимыми с запада. Главнейших западных проходов два: Хиберский и Боланский, и оба они лежат вне границ английской территории. Первый — в Афганистане близ самой индийской границы, второй — в Белуджистане или Келате, довольно далеко от границы. Англия обеспечила себе эти пути договорами с тамошними ханами, и первый, если не ошибаюсь, даже укрепила и охраняет своими войсками. Что сказали бы англичане, если бы кто стал утверждать, что общеевропейские, или, хотя бы, пожалуй, только специально русские интересы требуют, чтобы проходы эти находились в совершенно свободном распоряжении Кабульского эмира и Келатского хана, и чтоб

Англия отнюдь не смела заручаться какими бы то ни было обеспечениями насчет закрытия их, в случае неприятельского вторжения, не говоря уже о содержании в них гарнизона или устройства английских укреплений? Прежде всего, Англия могла бы спросить: «да какое вам дело до этих проходов? Они могут быть вам нужны только для вторжения в Индию; ну, а против этого, извините, мы считаем себя в праве принимать всякого рода предосторожности». А наши опасения относительно Черного моря еще гораздо справедливее. В Индию, с тех пор как она английская, еще никто пока означенными проходами не врывался, а в Черном море господа англичане и французы уже хозяйничали и не мало бед нам натворили. Во время крепостного права встречались господа, а чаще барыни, которые били своих людей и грозно требовали, чтобы они держали руки по швам, отнюдь не отбиваясь. Видно Европа считает Россию своею крепостною девкой и право требовать, чтобы она держала руки по швам, когда ей вздумается бить ее, считать общеевропейским интересом. Удивительным образом устроены европейские мозги! Вообще очень ученые и здравомыслящие, они непременно подвергаются частному умопомешательству, лишь только их внимание направится на Россию и русские дела, умопомешательству, доходящему до совершенной невозможности отличать белое от черного, правое от неправого.

Если так ясно несомненное право России занять Босфор для своего ограждения, то не большего труда представляет доказательство и ее несомненного права отпирать как Босфор, так и Дарданеллы, для выхода ее из Черного моря. Это доказательство допускает совершенно геометрическую строгость. Предположим, в самом деле, что проход через проливы был всегда свободен для России, и только для нее одной (кроме Турции, конечно); но что Россия, по каким бы то ни было соображениям, не держала флот в Черном море. Результат был бы тот же, что и теперь, т.е., что, несмотря на свободу проливов, русский флот не появлялся бы на

водах Средиземного моря. Но вот Россия вздумала обзавестись флотом. Имела ли бы какая-либо европейская держава право протестовать против этого, под тем предлогом, что через это явится на Средиземном море новая политическая сила? Очевидно, нет. В обоих случаях произошло бы, однако ж, одинаковое явление: возможность присутствия на водах Средиземного моря и океанов нового элемента политического действия. Почему же в одном случае никто не сочтет себя в праве препятствовать этому, а в другом может это делать, не выходя из границ международного права? Скажут, что в предполагаемом нами случае Россия пользовалась бы только естественным правом, принадлежащим всякому независимому государству, устройства своих вооруженных сил. Совершенно верно. А не то же ли самое и во-втором, действительно существующем случае? Россия также пользовалась бы лишь своим естественным правом вступать в договорные сделки с другим также независимым государством.

Но существует если не право, то, по крайней мере, повод к ограничению неоспоримого права России получить свободный вход и выход из своего дома. В другой статье* мы рассматривает вопрос о проливах с этой точки зрения, и потому, не повторяя здесь наших доказательств, приведем лишь сделанный нами там вывод, что для государств бассейна Средиземного моря свободный проход русского военного флота через Босфор и Дарданеллы не только может быть, говоря теоретически, столько же благоприятным, сколько и неблагоприятным, но в действительности, на практике, это принесет им гораздо больше пользы, нежели вреда. Только относительно Англии, которая, однако, не есть средиземноморское государство, это может казаться верным, так как, по своему преобладающему положению на море, она не имеет надобности рассчитывать на полезного, при случае, союзника, а скорее может опасаться врага. Эта вероятность враждебного

* См. выше, стр. 79-99.

столкновения России с Англиею, как известно, основывается, по мнению английских государственных людей и английской публики, на возможности, которую имеет Россия, одна только Россия, сделать нападение на Индию с сухого пути. Из этого происходит для Англии необходимость всегда держать открытым свободное сообщение с Индией, самым коротким путем, т.е. Суэцким каналом, и следовательно всеми мерами противиться возможности для русского флота угрожать этому пути из Черного моря. Вот английская точка зрения, которая, хотя, в сущности и не дает ей ни малейшего права препятствовать осуществлению совершенно законных требований России на свободный выход из замкнутого моря, большею частью берегов которого она владеет, но служит объяснением незаконных домогательств Англии. Посмотрим, однако же, на дело с другой стороны, и мы легко убедимся, что, даже с точки зрения исключительных интересов Англии, ее образ действий не имеет смысла.

Имеет ли Россия какую-нибудь разумную, хотя бы и самую эгоистическую причину овладеть Индией, вытеснив оттуда англичан? Вместо ответа поставим ряд других вопросов и ответов. Увеличивает ли Индия поступательные силы Англии? — Нет, потому что ее сипайская армия недостаточна даже для охранения Индии, так как она должна, сверх нее, содержать еще дорогостоящую английскую армию и английских офицеров в рядах самих сипаев. Увеличивает ли Индия оборонительную силу Англии? — Не только нет, но еще значительно ослабляет ее, требуя отвлечения, для защиты ее, значительной доли английских сил, и составляя тем не менее ее ахиллесову пяту по отношению к России. В чем же заключается для Англии важность обладания Индией? Во-первых, в отношении торговом, оно доставляет сбыть произведенный в Англии и значительный материал для фрахта английских судов; во-вторых, при ультра-аристократическом характере государственного и общественного строя, представляет возможность доставлять богато оплачивае-

мые места в гражданской, судебной и военной службе младшим сыновьям английской аристократии. Может быть возразят, что при широком развитии английской промышленности и торговли, ей нечего бояться конкуренции, и что если б Индия и не принадлежала ей политически, она все-таки продолжала бы находиться в почти исключительной от нее торговой зависимости. Нет, — потому что неизвестно, какой торговой политики стали бы держаться те туземные или иноземные государства, власть которых заменила бы власть Англии в Индии. Также бесспорно, что, без политического преобладания, Англии никогда бы не удалось одною свободною конкуренциею сокрушить мануфактурную промышленность Индии, еще вначале нынешнего столетия имевшую огромное значение. Так, несмотря на конкуренцию, и даже на некоторую помощь со стороны артиллерии и флота, Англии не удастся подавить мануфактурную деятельность Китая; а любопытно было бы посмотреть, сколько лет она просуществовала бы, если б Китай, подобно Индии, подпал под политическую власть Англии.

Но если это так, если Индия не увеличивает собственно политической силы Англии, в тесном смысле этого слова, и отчасти даже ее ослабляет, то обладание этою страной, по тем же самым причинам, и в еще гораздо большей степени, ослабит политическую силу России. Я говорю «еще в большей степени» потому, что России пришлось бы поддерживать свою связь с Индией не быстрым и дешевым морским, а медленным и дорогим сухопутным сообщением. Коммерческих выгод Россия из Индии извлечь бы не могла, по неразвитости своей промышленности и морской торговли. Социальных причин, заставляющих Англию держать в своих руках Индию, Россия также не имеет. Очевидно, следовательно, что Россия не может иметь и не имеет никакого желания овладеть Индией. И однако же весьма возможно, что Россия принуждена была предпринять поход в эту страну с единственною целью выгнать из нее англичан. В

решительной борьбе с Англией, которая, при образе ее действий относительно нас, неминуемо должна наступить, это есть единственное средство России побороть своего противника. Указывают еще на крейсерство и каперство. Неоспоримо, что и это весьма действительные пособия, но это только действия партизанские, могущие нанести противнику довольно существенный вред, но не могущие повести к решительным целям.

Но с какой стати России воевать с Англией? Если кому нечего делить друг с другом, — то это, конечно, Англии с Россией. По праву или в противность всякому праву владеет Англия Гельголандом, Гибралтаром, Мальтой, Перимом, Трансваальской республикой, мысом Доброй Надежды. Иль-де-Франсом: — до этого России нет никакого дела. Завладеет ли она сверх сего Канарскими или Азорскими островами, Явой, Суматрой, Сан-Доминго, Кубой, хоть даже целой Бразилией: — России опять-таки и до этого никакого не будет дела. Напротив того, для нее весьма приятно быть в дружеских отношениях с Англией. Она лучший покупатель русских товаров; вернейший источник, из которого Россия могла бы заимствовать капиталы для развития своей промышленности. Англия также находит в мирных соотношениях с Россией значительные торговые выгоды. Из-за чего же воевать? Единственно из-за того, что Англия уже с давних пор постоянно и неуклонно противодействует русской политике относительно Турции; противилась прежде, противится и теперь освобождению единоверцев и единоплеменников России; противится развитию русского черноморского флота; не хочет допустить нас пользоваться нашими естественными правами свободного входа и выхода из нашего внутреннего моря. Для чего же это она делает? Для охранения Индии на случай войны с Россией — войны, которая единственно из этого только может проистечь. Таким образом, перед нами предстает следующее невероятно нелепое положение вещей, следующий курьезный *circulus vitiosus*:

Россия и Англия не имеют ни малейшего повода взаимной вражде. Сферы их влияния так различны, что не пересекаются ни в одной точке. Напротив того, многие общие интересы связывают их между собою. Всего менее имеет Россия побуждений угрожать положению Англии в Индии. Что же делает Англия? Чтобы предупредить эту, совершенно мнимую опасность, чтобы противодействовать планам, которые никогда и в голову России не могли входить, она своими руками создает эти побуждения, создает действительную для себя опасность, принуждает Россию усвоить себе эти планы, тем, что постоянно оскорбляет самые святые симпатии России, нарушает самые насущные, самые законные, самые жизненные интересы, и наконец, рано или поздно, теперь или в недалеком будущем, вынудить Россию обратиться к единственному средству обороны, находящемуся в ее руках, от нападений Англии, истощит ее долготерпение, заставит собрать все свои силы, чтобы предпринять поход в Индию, и нанести Англии смертельный удар. Это ли не безумие!

II

(«Русский Мир» 1878 г. 12 апр.)

Болезненные «европейские» требования. — Роковое положение Австрии. — Прежние австрийские войны, их ограниченные цели и пределы. — Грозная особенность столкновений с Россией на почве Славянства. — Невозможность федеративного устройства Австрии. — Благоразумие австрийских деятелей и тройственный императорский союз. — «Почетный» выход из затруднений — присоединение Боснии и части Герцеговины. — Две Лейтании, с прибавкою третьей, магометанской. — Тяжелая, но быть может необходимая задача.

Остается последний пункт мирных условий, — освобождение балканских христиан: независимость и увеличение Сербии и Румынии, усиление Черногории, автономия Болгарии в ис-

тинных пределах болгарской национальности. Что тут общеевропейского?

Ни один народ и ни одно государство не оказали стольких услуг другим народам и государствам, как Русский народ и Русское государство — услуг не только бескорыстных, но часто даже противных прямым выгодам России. Ни один человек, с тех пор, как мир стоит, не освободил столько миллионов людей от разных видов рабства, как Император Александр II, и никому, в течение всей всемирной истории, не принадлежит с таким правом титул Освободителя. Такова была милость Господня к Русскому народу и благодушному Царю его. Желает ли Европа приобщиться, если и не к последнему их подвигу, то, по крайней мере, к их славе? Если так, то, против этого, конечно, никто возражать не станет. Но только с одной этой точки зрения и можно считать вопрос о Болгарии, Сербии, Черногории, Румынии и вообще о христианских землях Турции — вопросом общеевропейским. Однако, по всему, что видно и слышно, не таковы намерения многих великих европейских держав. Не укрепить, а умалить добытую для христианских народов свободу хотят они. Не с точки зрения человеколюбия, свободы, справедливости требуют они пересмотра русско-турецких мирных условий, а с точки зрения нарушенных будто бы общеевропейских интересов именно этими освободительными мирными условиями.

В самом германском рейхстаге, в ответ на речь имперского канцлера, и не с враждебной, по-видимому, стороны, раздались такие странные слова, произнесенные депутатом Генкелем: «Ни одно из европейских государств не имеет интереса в поддержке связи между Турцией, Сербией, Черногорией и Румынией. Но проекты, составленные в настоящее время в пользу Болгарии и Боснии, слишком имеют в виду интересы одной России и прямо нарушают интересы Австрии, а вместе с тем и наши». Полагаем, что имеются и должны иметься, прежде всего, в виду интересы не Австрии, не Германии и даже не принесшей бесчисленные

жертвы России, а интересы самой Болгарии и самой Боснии. Если интересы России совпадают с этими интересами, то есть, с интересами справедливости, прав национальностей, слишком долго презиравшихся, человеколюбия, — неужели это совпадение может считаться в чьем-либо уме, если только это ум здравый и неослепленный, — достаточною причиною идти против справедливости, против прав национальностей, против человеколюбия? Изумительная была бы эта логика! Если же интересы Австрии этому противоречат, то все, что можно и должно сказать в этом случае: тем хуже для них. Есть рассказы, что иногда люди бывают одержимы такими болезнями, что жизнь их может быть спасена и поддержана только ваннами из человеческой крови. Для таких больных — только одно решение: пусть умирают!

Умаление и стеснение прав народностей, выходящих из под турецкого гнета, не может быть общеевропейским интересом. Тут интерес только австрийский. Если Англия, противодействуя законным стремлениям России получит свободный выход из внутреннего моря и оградит берега его от посещения непрошенных гостей, — как говорится — с жиру бесится, без всякой надобности, с дуру накликает на себя беду, теперь или в близком будущем, то, по справедливости, мы не можем того же сказать об Австрии.

Положение Австрии роковое, чтобы она ни делала, как бы ни изворачивалась. Она не больной человек, как Турция; она человек — приговоренный и обреченный на смерть. Вода, наполняющая сосуд, стоящий в совершенном спокойствии, сохраняет свою жидкость, хотя температура ее далеко уже упала ниже точки замерзания; но сотрясение разом ее замораживает. Таково положение Австрии. Один сильный удар может ее окончательно убить и более она уже не воскреснет. Австрия, как всякому известно, есть политическое тело, лишенное внутренней связи между составляющими ее частями. Верить в жизненность ее могут только дип-

ломаты. Место взаимной притягательной силы между этими частями заняла искусственная связь государственного управления, давление двух политически преобладающих народностей, немецкой и мадьярской, а также старая привычка политического сожительства. Извне со всех сторон расположены центры внешнего притяжения, которые стремятся растянуть это разнородное тело, разорвать его на более естественные группы. Оно находится в состоянии крайнего напряжения, при котором едва-едва сохраняется равновесие. Один сильный внешний удар, направленный с надлежащей стороны, и Австрия лопнет по швам. Но удар этот может нанести только Россия. Все прочие соседи, находившиеся с нею в разное время во вражде, могли нанести ей лишь более или менее тяжелые, но не смертельные и залечиваемые раны. С одной стороны, сами они не имели интереса наносить Австрии вред более существенный, с другой — и сами элементы, составляющие Австрию, не имели достаточных побуждений продолжать и усиливать действие внешнего удара. Напротив того, в случае борьбы с Австрией, Россия не только может, но даже и против воли своей принуждена будет нанести ей смертельный удар.

Цель Франции, в ее продолжительной борьбе с Габсбургским домом, заключалась лишь в ослаблении его некогда могущественного влияния на европейские дела, но только до известных границ, которые никак не могли доходить до полного разложения состава австрийских наследственных земель, ибо это создало бы новую силу, гораздо опаснейшую для Франции, на ее восточных границах, как оно и случилось на деле, помимо ее воли конечно, но по ее непредусмотрительности. Войны эти имели чисто политический характер.

Италия могла разумно стремиться только к отвоевыванию итальянских земель габсбургской короны, и к этому прочие элементы Австрии, за исключением немецкого, относились совершенно равнодушно. Но дело приняло бы совершенно иной оборот, если бы Италия захотела, например, овладеть Далмациею,

Истрию и вообще Адриатическим побережьем, потому что некогда они отчасти принадлежали Венецианской республике. Без сомнения, не только немцы, но и все славянские народности Австрии воспротивились бы этому всеми своими силами.

Наконец тоже можно сказать и о борьбе с Пруссией и вообще с Германией. Интересы Пруссии заключались только в выделении Австрии из Германии, в совершенном устранении ее влияния на нее, дабы тем уничтожить раз навсегда пагубный дуализм, составлявший истинную причину политической слабости немецкой нации. Далее Пруссия не могла идти. Даже присоединение к Германской империи чисто немецких австрийских областей ослабило бы значение германской народности в мировых судьбах в гораздо большей степени, чем насколько усилилось бы политическое могущество германского государства. Но и с другой стороны, распадение Австрии на ее составные элементы, под напором Пруссии, не могло соответствовать интересам австрийских народностей. Это справедливо не только по отношению к славянам, что уже само по себе ясно, но и по отношению к мадьярам и даже самим немцам, которые лишились бы своего преобладающего, господствующего положения.

Совершенное иное дело Россия. Если б Россия была только Россией, т.е. национально-русским государством, как Италия — национально-итальянское, Германия — национально-немецкое, то вся политическая противоположность между Россией и Австрией ограничивалась бы лишь тем, что в составе австрийских владений входят и чисто русские земли: большая часть Галиции, угорская Русь⁹ и часть Буковины. Противоположность эта могла бы разрешиться так же, как она разрешилась между Италией и Австрией, присоединением этих земель к общему Русскому отечеству. После этого их отношения приняли бы общий политический характер, основанный на временном и случайном совпадении или противоречии интересов. Но Россия не только национально-русское государство, а и

глава Славянского мира. В Австрии же Славянство занимает не отдельный какой-нибудь угол, вроде итальянских Ломбардии и Венеции, а проникает весь государственный состав, составляет основную ткань, в которую почти все другие народности как бы вкраплены.¹⁰

Понятно, на чьей стороне будут народные симпатии, в случае борьбы Австрии с Россией, и какой результат могло бы иметь поражение первой. Оно коснулось бы не какой-либо окраины государства, но поразило бы его в самое сердце, уничтожив то двойное давление, которое держит славянский элемент в подчиненном положении. Чтобы противодействовать этому, австрийское правительство не имело бы другого средства, как предупредить это насильственное разложение, полным уравнением прав своих славянских подданных с правами привилегированных народностей. Переустройство Австрии на благоприятный России, то есть Славянству, лад сделалось бы для нее необходимостью. Повторилось бы то же явление, которому мы были свидетелями после 1866 года, только в одном направлении и в больших размерах.

В самом деле, война 1859 года с Францией из-за Италии не оказала никакого влияния на внутренний строй австрийского государства, потому что итальянские владения были только внешней приставкой к Австрии. Отделением этой приставки все и ограничилось. Напротив того, война с Германией, не лишившая Австрии ни одного кусочка земли, повела к ее внутреннему переустройству, в благоприятном для Германии смысле, потому что преобладание досталось как сочувственному Германии элементу, немецкому, так и по внутренней своей ничтожности несколько для Германии не опасному элементу, мадьярскому, подкрепляющему немецкий, оказавшийся, по семнадцатилетнему опыту, слишком слабым для безраздельного и исключительного господства. Только после утверждения германо-мадьярского дуализма очутилось Славянство в положении подчиненном, низ-

шем, принесенном в жертву другим. В прежнее Меттерниховское и до Меттерниховское¹¹ время (за исключением лишь неудавшихся объединительных попыток Иосифа II)¹² в Австрии господствовал единственно отвлеченно-государственный, династический принцип; всякое же национальное стремление, всякая национальная жизнь — немецкая и мадьярская в том числе — были почти одинаково преследуемы.

Таким образом, в последнем выводе, нам представится следующее странное положение вещей: без искренней помощи своих славянских подданных, Австрия не может воевать против России; помощь эту может она себе обеспечить только уравнением их прав с правами привилегированных народностей; но с этим уравнением славянские стремления получают перевес, и славяне австрийские не захотят воевать против славян русских, за стеснение прав славян турецких: и Россия без войны достигнет всех своих целей, Австрия же перестанет быть Австрией.

Весьма многие из австрийских славян, а также и у нас, представляют себе, что такое перерождение Австрии и есть настоящая панацея от всех ее бед, и это переустройство Австрии на федеральных началах величают именем разумного панславизма, и удивляются ослеплению австрийских государственных мужей, никак не желающих прибегнуть к столь целебному средству. Согласимся, что и это панславизм, но только не разумный, а идиллический; согласимся, что и это панацея, — но панацея в том только смысле, в котором называют смерть лекарством от всех болезней.

При федеративном устройстве, Австрия становится славянским государством, и доселе господствовавшие народности, немецкая и мадьярская, обращаются, если не в угнетенные, как теперь славяне, то во всяком случае в подчиненные. Но ведь и это невыносимо для честолюбивых наций, привыкших к господству. Примером могут служить поляки, которым не свобода нужна, а господство, отчего и проистекают все их беды. С поте-

рею преобладания исчезнет для немцев и всякая побудительная причина продолжать оставаться в союзе; они, очевидно, будут стремиться присоединиться к могущественной Германии, захватив с собою в придаток как можно больше славянских клочков. Магьяры, которым деваться некуда, конечно, тоже будут искать покровительства Германии, чтобы, с ее помощью, сохранить хотя часть своего господства. Австрийские же славяне не могут противиться ни тому, ни другому, и, окруженные сильными внешними врагами, разъедаемые внутренними, по самому политическому положению, не говоря уже о национальных симпатиях и влечениях, не будут иметь другого исхода, как вступить в самую тесную связь с Россией. Таким образом, австрийская федерация неминуемо обратится в федерацию всеславянскую, и идиллический панславизм — в панславизм действительный, реальный.

Положение Австрии перед вступлением в войну с Россией подобно положению человека, готовящегося вынуть билет из лотереи, в которой выигрыш — известная, хотя бы и значительная сумма денег, а проигрыш смерть, и в которой, как и вообще в лотереях, число проигрышей во много раз превосходит число выигрышей. Много ли смельчаков, готовых решиться на такую азартную игру? Во всяком случае, осторожная Австрия не в числе их, если только ей известно истинное положение дел. А что оно ей известно, о том свидетельствует перемена тона многих ее туркофильских газет, перестроивших свою лиру с воинственного на мирный тон, как только наступила пора переходить от слов к делам, и с еще гораздо большим авторитетом свидетельствует тоже самое и вся новая история Австрии.

Австрию почему-то считают государством миролюбивым, и в ее силе и влиянии видят залог мирного направления европейской политики. Такое мнение действительно справедливо, если ограничить поле наблюдений одной эпохой Меттерниха, госу-

дарственного мужа, верно постигавшего положение Австрии. Но если обратиться к временам, предшествовавшим этой эпохе и последовавшим за нею, то оно опровергается фактами. За последние два века Австрия вела войны не только не реже, но едва ли даже не чаще всех прочих европейских государств. Она пользовалась всеми случаями, которые могли обещать ей какую-либо выгоду, чтобы воевать со всеми своими соседями. Войны эти не происходили, как большая часть войн, веденных Францией, из войнолюбивого характера ее населения; или как войны Англии, — из энергического преследования честолюбивой, а главное барышнической цели господства на всех морях, то есть, собственно говоря, господства во всех частях света, кроме Европы. Они не были также развитием одной, неуклонно преследуемой цели, как войны Пруссии, или оборонительными войнами, как войны России. Австрийские войны носят на себе характер политико-династический. Не будучи проявлениями национальных стремлений и требований, они велись всегда свободно и с расчетом, а потому всегда были благоразумны и прекращались во время, не переходя своих целей, при успехе, и не доводя государственного организма до полного изнеможения, при неудаче. Поэтому они не представляют таких крушений, как войны 1806 г. — для Пруссии, 1870 и 1871 гг. для Франции, или 1877 и 1878 — для Турции; но за то не представляют и таких торжеств крайнего напряжения народных сил, как революционные войны для Франции, или 1812 год для России. Организм Австрии не мог бы выдержать таких усилий. Однако, между всеми этими многочисленными войнами, веденными со всеми соседями, мы не встречаем ни одной войны против России. (Войны 1809 и 1812 гг. были лишь одними демонстрациями, с полным сознанием противников, что они воюют только для вида). Между тем, столкновения интересов между обоими государствами были довольно часты и такого характера, что не России предстояла надобность противодействовать стремлени-

ям Австрии, а Австрии — стремлениям России. Так было, например, в первую екатерининскую турецкую войну, в 1828 и 1829, в 1854 и в 1863 годах. Зная свое положение, понимая всю опасность, не начнет Австрия войны и теперь, не начнет потому, что войны Австрии были всегда войнами благоразумными. Если бы направление австрийской политики вполне зависело от мадьярского влияния, — тогда другое дело. Мадьяры — хотя маленькая, но все-таки национальность, которая имеет свои симпатии и антипатии, свои национальные цели. Их может увлечь страсть, и расчет может быть забыт. Но, во внешних делах, по крайней мере, и нынешняя Австрия еще в достаточной мере сохранила свою независимость от мадьярских увлечений, чтобы устоять на своей расчетливой, благоразумной отвлеченно-государственной точке зрения.

Эта благоразумная точка зрения заключается для Австрии в том, чтобы избегать того внешнего удара, который неминуемо приведет весь организм ее в сотрясение и, как в мало устойчивом химическом соединении, поведет к разложению его на составные части и затем к иной группировке их. За недостатком внутренней силы, охрана ее организма зависит в значительной степени от внешних сдерживающих влияний, среди которых она поставлена тройственным союзом императоров¹³. Понадеявшись на свои внутренние силы и соблазнившись благоприятными внешними обстоятельствами, она раз уже сделала попытку выйти из охранительных условий подобного же союза¹⁴. Она хорошо знает, чем за это поплатилась, и как рада рада была, когда, после долгих мытарств, снова удалось ей поступить под его охрану. Неужели без пользы пропали для нее опыты недавнего прошлого?

Конечно, образование и увеличение свободных славянских государств у границ Австрии усиливает те внешние центры притяжения, которые стремятся ее растянуть и заставить, как мы выразились, лопнуть по швам; но разве эта опасность может срав-

ниться с тою, которою грозит война с Россией? Неужели она не понимает, что, именно при этой борьбе, внешние притягательные центры и приобретают всю энергию своего действия?

Ручательством для Австрии, что под эгидой императорского союза она может надолго успокоиться, служат два свойства, издавна характеризующие внешнюю политику России: самая строгая легальность и чрезвычайно медленное, но постепенное достижение своих целей, чего во всей полноте нельзя даже всегда приписывать сознательному способу действия руководителей ее политики, а скорее внутреннему инстинкту России, говорящему ей, что у нее много времени впереди, и что цели ее лежат в самом русле исторического потока и потому не могут от нее уйти. Скорее можно ожидать преувеличения этих принципов, нежели их нарушения.

К такому положению вещей, которого не может не понимать Австрия, и, как по многому видно, действительно понимает, присоединяется для нее весьма почетный выход из затруднений, отличный предлог *faire bonne mine a mauvais jeu*¹⁵. Это — присоединение в той или другой форме, в полном составе, или отчасти, Боснии и Герцеговины. Но как же нам отнестись к этой австрийской аннексации? Не будет ли она для славянского дела потерю, отрицательным результатом, уравнивающим те положительные результаты, которые приобретены войною для Болгарии, Сербии и Черногории? Для непосредственного славянского чувства — это было бы, без сомнения, в высшей степени горестным, печальным событием, и нельзя не желать пламенно, чтобы эта новая чаша горечи и испытаний прошла мимо Славянства. Однако, с более общей точки зрения, и в этом плачевном событии откроется нам, если и не утешение, то некоторое вознаграждение в будущем. Добровольная сдача и пожар Москвы были в высшей степени прискорбны для народного чувства; однако же, они спасли Россию. Страдания, испытанные Болгарами, как они ни обливали кровью славянское и даже

вообще человеческое сердце, искупили свободу Болгарии. Такое же, думаем мы, будет иметь значение присоединение Боснии и Герцеговины к Австрии. Враги в этих случаях дальновиднее нас самих и наших друзей. Не даром и австрийские немцы и мадьяры противятся этому присоединению. В наших глазах представляется важным не то, что таким присоединением вообще усилится славянский элемент Австрии, — он и теперь уже достаточно силен, — а то, что усилится коренная рознь и противоположность между славянской и неславянской Австрией, что она прояснится для славянского сознания.

В настоящее время Австрия официально состоит из двух Лейтаний, но их уже и теперь можно насчитывать три. Кроме Лейтании немецкой, где немецкой народности подчинены и принесены в жертву чехи, словенцы и далматы, — кроме Лейтании мадьярской, где ради мадьярского меньшинства угнетены словаки, русские, сербы, хорваты и румыны, ведь есть еще Лейтания польская, где интересам польского меньшинства принесены в жертву более многочисленные русские. С присоединением Боснии и Герцеговины, к этим трем Лейтаниям прибавится еще четвертая, магометанская Лейтания, в которой магометанские беги будут приняты в союз с прочими преобладающими и угнетающими элементами, а на долю православных сербов ничего не останется, кроме несправедливости и угнетений, которые будут здесь тем невыносимее, что к гнету политическому присоединится несравненно труднее переносимый гнет социальный и экономический. Такой союз ясно покажет, на чьей стороне право и на чьей — насилие, и от такого союза, конечно, не поздоровится. Напряженность национальной вражды и противоположностей интересов возрастет и тем скорее доведет до кризиса. Присоединение Боснии и Герцеговины к Австрии будет новым патроном динамита, подложенным под государственную систему Австрии. Он еще скорее окажет свое действие, если эти провинции будут присоединены к мадьярской Лейтании, как

того требует географическое их положение, ибо в способности подражать лягушке, надувающейся в быка, мадьяры имеют достойных соперников в одном только поляках.

Мужественные борцы за славянскую свободу, зажегшие фитиль, взорвавший на воздух здание турецкой неправды и нечестия, — вам не суждено еще успокоиться и насладиться плодами ваших геройских усилий! От вас требуется новый завершительный подвиг. Вам же, видно, предназначено подать сигнал к сокрушению и другого врага Славянства, — разве благоразумие и осторожность возьмут верх в советах его.

III

(Русский Мир, 1878 г., 14 апр.)

Исключительные отношения Европы к России. — Уступчивость и умеренность во время войны и после нее. — Еще о проливах — Произвольная «европейская» опека. — Уроки прошедшего и настоящего. — Характеристика внешней политики Англии. — Индийский путь к Босфору и Дарданеллам.

Тщательным и подробным разбором мы показали, что мирные условия между Россиею и Турциею, которыми устраиваются дела на Балканском полуострове, не подлежат обсуждению Европы, ни потому, что ими изменяется Парижский трактат, ни потому, что они, будто бы, касаются общеевропейских интересов. Сколько мы ни искали, ни единого общеевропейского интереса не оказалось. Оказались только частные интересы, английские и австрийские, интересы характера чисто эгоистического, и притом с английской стороны чисто мнимые, воображаемые, с австрийской же — хотя и действительные, но совершенно незаконные, не заслуживающие, с точки зрения права народов, справедливости и человечности, никакого внимания. Почему же эти эгоистические мнимые и незаконные интересы Англии и Австрии, которые притом вовсе не принимали участия в

войне, ставятся не только на одну доску с справедливыми, бескорыстными, человеческими интересами России, принесшей столько жертв кровью и достоянием своим, но даже гораздо выше их, ибо нарекаются интересами общеевропейскими, перед которыми должны преклониться интересы России?

Потому, что, где только идет дело об отношениях Европы к России, — там нет и речи о справедливости, равноправности, беспристрастии. Эта бесспорная истина вытекает из анализа всех отношений между Европой и Россией уже с очень давних времен. Она с достаточной ясностью выразилась во всех обстоятельствах, приведших к Крымской войне, во время и после нее; но никогда еще она не обнаруживалась с такою поразительною яркостью, как именно теперь.

Припомним всю роскошь, все излишество уступчивости и миролюбия России, в течение почти двухлетних переговоров от начала герцеговинского восстания до объявления войны Турции. Война начинается, и тут дано время Турции образумиться. Сама война ведется вначале, так сказать, демонстративно. Россия не развивает и трети своих сил. В каких видах и в чью угоду? Спрашиваем мы. Но, по счастью для дела и по несчастью для самой России, так как именно эта умеренность увеличивает в огромных размерах ее жертвы деньгами и людьми, — ослепленная Турция и в самом деле начинает считать себя накануне решительной победы. Клики радости и восторга раздаются в Европе. Но не на них желаем мы обратить внимание. Прислушаемся, как относятся к этому периоду войны наши доброжелатели. Например, г. Бенигсен¹⁶, мотивируя свой известный вопрос в рейхстаге, видит в нерешительном ходе начала войны, что русская армия, вследствие изменчивости военного счастья, претерпели столь сильные неудачи, что это заставляло даже опасаться такого ослабления России, при котором она могла бы перестать служить достаточною поддержкою для сохранения того положения, какое Германия занимает в Европе. Вот куда мет-

нул! Между тем, не надо было иметь большой проницательности, чтобы видеть, что не было никакой изменчивости военного счастья, а было лишь недостаточное развитие военных сил, вследствие того, что Россия избегала решительного, подавляющего образа ведения войны во внимание к тому, что называется интересами Европы. Также, доброжелательный, по-видимому, к нам корреспондент «Times» пишет: «Неповоротливость, отличавшая русское войско в начале кампании, исчезла, и та сила, которая только возбуждала насмешки военных в Европе, стала могущественным орудием войны». В чем же это господа европейские военные находили предлог для своих насмешек и в чем видели неповоротливость? Разве в том изумительном геройстве, с которым русская армия, попавшая в критическое положение, единственно вследствие недостаточности введенных в дело сил, не только боролась с превосходящими силами на Кара-Ломе, Шипке и при Плевне, но и сохранила все преимущества, приобретенные ею в начале кампании? Мало в этом смешного: — гораздо более грозного и внушительного!

Война ведется Турками со всеми ужасами варварства, глубоко оскорбительными не только для народного чувства, при виде несказанных терзаний тех, кого пришли мы защищать, не только для чувства военного товарищества и братства, при виде тех истязаний и поруганий, которым были предаваемы наши раненые и пленные, но и, вообще, для всякого чувства человечности. И ни одного акта, не говоря мщения, но даже и, всеми признаваемых законными, репрессалий, ни со стороны военного начальства, ни со стороны простых солдат; ничего в роде расстрела французских вольных стрелков, которые ведь только защищали свое отечество вполне законными партизанскими действиями. В ответ на это мы встретили гнусную клевету, подверглись чему-то в роде исследования — *enquête internationale*¹⁷. Когда, наконец, рядом неслыханных, изумительных подвигов, силы Турции были разметаны в прах, — наша армия остано-

лась среди своего триумфального шествия. Несколько дней пути отделяли ее от Константинополя, от исполнения заветных стремлений Русского народа, от водружения креста на куполе св. Софии. В угоду чьих интересов, и даже не интересов, а чьих завистливых, ревнивых желаний, остановилась русская армия? Представим себе на месте ее какое угодно победоносное войско: германское, английское, французское, — поступило ли бы оно так? Не сочли ли бы необходимым удовлетворить столь естественному, столь законному народному чувству? А если бы, из уважения к смирившемуся врагу, хотя и не заслуживающему такого снисхождения, и удержались от занятия его столицы, — то не оградили ли бы, не обеспечили ли бы вполне своего положения условиями перемирия, что в то время было так легко сделать, быстро заняв, с согласия или без согласия Турок, Дарданеллы и Босфор, и потребовав немедленной выдачи всего или хотя большей части турецкого броненосного флота? Англия увидела бы тогда всю ничтожность своих грозных морских сил и все выгоды нашего стратегического положения. Австрия была бы уничтожена одним ударом. Но Россия и тут, как и всегда, судила по себе: она не желала помнить многократных опытов прошлого, хотела видеть в своих скрытых недругах честных и благородных противников, и еще раз должна была испытать коварство и вероломство.

За внимание к ее так называемым интересам, Англия, и во время войны не соблюдавшая обязанностей нейтралитета, самым дерзким образом ворвавшись в Мраморное море, по своему исконному обычаю нарушила и этот нейтралитет, и прежние, ею же защищаемые трактаты, как скоро соблюдение их представилось ей невыгодным. Но уступчивость, снисходительность России, скажу опять, не к интересам, а просто к желаниям других держав, не ограничилась условиями перемирия; она распространилась и на самый мирный договор. Россия отказалась от Салоник и от Андрианополя для Болгарии, от Сени-

цы, Вароша, Призрена — для Сербии, от Эрзерума и броненосного флота — для себя, а главное — отказалась от своего самого естественного, самого законного права на свободный проход своего военного флота через проливы.

Два раза говорил я уже о проливах, разбирая вопрос с разных точек зрения; но не могу не обратиться еще раз к этому предмету, чтобы выставить на вид тот новый оборот, который принимает это дело, после того как Россия лишается своего естественного права, уже не от сопротивления Турции, сломленной полностью, и которая уже ничему противиться не могла, а вследствие сопротивления Европы.

Турция, вступив своими завоеваниями в обладание всеми берегами Черного и Азовского морей, которыми владела еще безраздельно в первой половине прошлого столетия, имела неоспоримое право и власть над проливами; она могла распоряжаться ими по единому своему усмотрению. Когда, по разным мирным трактатам, все берега Азовского и большая часть берегов Черного моря перешли во власть России, но вместе с этим не было приобретено ею и прямое последствие этих территориальных изменений, заключающееся в праве свободного плаванья по проливам для ее военных судов: то в этом еще не было ничего, кроме упущения Россиию своих выгод, происходившего от того, конечно, что упорство Турции не было еще достаточно сломлено прежними войнами. Положение России было похоже на положение тяжущегося, который выиграл свой процесс о каком-либо спорном имуществе, но по каким-нибудь причинам не мог, или еще не успел, выговорить в свою пользу некоторых прав, пользование которыми нераздельно связано с владением выигранного имущества. Но с того момента, как всякое сопротивление Турции было окончательно сломлено, дело принимает совершенно иной вид. Вопрос о выгодах переходит в вопрос о государственном и национальном достоинстве России. Она лишается своего естественного права уже не по обращенному в

ничто сопротивлению Турции, единственного и законного владельца проливов, а по сопротивлению Англии или, лучше сказать, вообще Европы: ибо одна Англия, если бы не опиралась на сочувствие Европы, не смела бы выставить своей оскорбительной претензии, основываясь единственно на своих частных эгоистических интересах. Такое странное сопротивление Европы есть уже лишение России равноправия, той свободы, верховенства и державности, которые признаются неотъемлемыми свойствами всякого, самого маленького независимого государства. Россия как бы ставится под опеку Европы, в интересах которой налагаются на нее ограничения в пользовании ее морскими силами. В сущности, это даже обиднее нейтрализации Черного моря. России запрещается один из способов проявления ее государственной силы, в видах мнимой общей пользы, мнимых общих интересов Европы, — значит, признается, что она есть злая, вредоносная сила, к которой питают справедливое недоверие. Черноморский флот России считается как бы нравственно зачумленным, от появления которого дозвоительно ограждать себя некоторого рода общими карантинными мерами, — разбойничьим, пиратским флотом, так что можно и должно не допускать его на общую арену состязания — открытое море. Ни одно государство в Европе, Америке, Азии, Африке или Австрии, ни большое, ни малое, не подвергается такому оскорбительному остракизму; ни на одно не налагается таких ограничений в пользовании его вооруженными силами. Англия, угнетательница морей, несчетное число раз нарушившая своими произвольными действиями права нейтральных судов, может владеть на чужих берегах и в чужих водах Гельголандом, Гибралтаром, Мальтой, Церимом, Сингапуром, чуть не всеми проливами и наблюдательными пунктами земного шара; а Россия, всегда стоявшая за свободу морей, за гуманизацию морской войны, лишается единственного выхода из своего замкнутого моря общим к ней недоверием, недоброжелательством и непонятною

пристрастностью Англии. Разве это равноправность и справедливость? И когда подумаешь, из-за чего такая напасть! Беззаконная купеческая компания, притеснявшая, обманывавшая, грабившая, попиравшая царства и народы, и проливавшая кровь, как воду, ради своих акционерных барышей, — основала на дальнем востоке купеческое царство — едва ли не самое безнравственное явление во всей всемирной истории: — и вот это-то постыдное произведение алчности и корысти, *en grand*¹⁸ отравлявшее Китай, должно быть сохранено во что бы то ни стало, как некий драгоценный перл англо-саксонской цивилизации, и из-за этого-то гнусного наследия торгашества и барышничества, недавно переименованного в Индийскую империю ее британского величества, наша великодушная, славная Россия должна быть спутана и связана в самом законном проявлении своей государственной силы!

Ни самое кровавое оскорбление, нанесенное России в ее возвышеннейших и священнейших чувствах, ни беспримерно-великодушный образ ведения войны, ни крайняя уступчивость и внимание к посторонним интересам и желаниям (вспомним хоть Египет, например), ни рыцарская доверчивость, при заключении условий перемирия, ни самая умеренность при назначении мирных условий, — ничто не обезоружило враждебности, питаемой к нам явно или скрытно большинством Европы. Вопреки дипломатическим прецедентам и обычаям, которыми руководятся по отношению к другим государствам, выставляют лживый претекст обязательной силы трактатов и общеевропейских интересов, чтобы подвергнуть вопросу все, столькими жертвами купленные Россией, результаты ее святой борьбы! Их хотят обсуждать на конференции или на конгрессе, и уже одним этим замедлением наносят огромный экономический вред России, препятствуя ее разоружению.

Неужели и этот новый урок останется втуне? Неужели не выведет Россия и на этот раз заключающихся в нем поучений:

1). Что истинный враг России не Турция. Турция не более — как подставное лицо. Она действовала, как иначе не могла действовать по своей внутренней природе, как действовала не раз и прежде. Но если дикий зверь вырывается из клетки, кусает и растерзывает всех, кто попадает к нему под зубы и когти, — разве он несет за это ответственность, а не тот, кто его кормит, поит, кто наострил его зубы и когти, выпустил на волю, науськал и даже обнадежил своею помощью?

Все это Англия, — скажут нам, — а не Европа. Да, Англия, конечно, запевало; но если бы у Европы лежало сердце к справедливости, если бы она относилась, не говоря, сочувственно — а только беспристрастно к России и Славянству, разве она не в силах была бы заставить не только Турцию, но и самую Англию повиноваться голосу чести и человеколюбия? В 1840 году, египетский паша, знаменитый Мегмет-Али, хотел получить Сирию, как наследственное владение, — собственно говоря, хотел основать независимое Египетско-сирийское государство. Франция стояла на стороне Мегмета-Али; Англия, как и всегда стояла за султана. Россия, Австрия и Пруссия приняли сторону Англии. Как ни хорохорились в то время Тьер и Франция, — и она, и Египет, однако, смирились перед общим, твердо высказанным требованием. В настоящем случае, вмешательство было еще гораздо настоятельнее, предмет его важнее и возвышеннее, и нет сомнения, что в случае его — и Англия, и Турция последовали бы примеру Франции и Египта. Но дело в том, что Европа никогда не станет за Россию против кого-бы то ни было из своих, особенно в вопросе касающемся Славянства. Справедливость и человеколюбие, свобода и право народностей, о которых так много кричат в другое время, — отступают здесь на второй, третий план, и даже утрачивают всякое значение.

2). Что никогда, ничем Россия не заслужит не только доброжелательства, но даже и справедливости от Европы. Всеми своими услугами она вызовет, если и не всегда отъявленную

неблагодарность, то, во всяком случае, не поднимет выше точки замерзания чувств самых заявленных друзей своих. «Наша хата с краю, я ничего не знаю»: вот высшая формула дружбы, на которую может рассчитывать Россия.

3). Что Россия, в твердом убеждении, что цели ее законны, справедливы и требуются интересами Славянства, единственной народности в Европе, за исключением еще Ирландцев, не достигшей еще равноправности с другими народами, должна неуклонно преследовать свои цели, не обращая внимания на чуждые, а тем более на враждебные ей интересы, на всяком шагу преграждающие пути ее. Поступая так, она будет только следовать тому образу действий, которому следуют другие, по отношению к ней. Пусть нам покажут хотя бы единственный пример, что другие державы — Англия, Франция, Австрия, Италия и даже Пруссия и Германия — добровольно принесли в жертву России какой либо из своих интересов, достижение какой-либо из своих целей, и мы согласимся, что мы неправы, что мы смотрим на вещи с пристрастной точки зрения.

Раз убедившись на несчетном числе примеров, беспрестанно повторяющихся, в чьей-либо непримиримой враждебности, надо смотреть на дело прямыми глазами и врага считать врагом. Мы не будем говорить об Австрии, или, вернее, о мадьярах, которые постоянно и открыто заявляют свою враждебность к нам. На них мы можем до поры до времени смотреть, пожимая плечами и повторяя стих Крылова:

Ай Моська! знать она сильна,
Что лает на слона!

Но истинный, непримиримый, всегда и во всем, и в мире, и в войне стремящийся вредить России враг — есть Англия.

У нас очень любят заботиться об общих интересах человечества, и если это не совершенно пустое слово, то на России действительно лежит великая общечеловеческая задача, которую она од-

на только и может совершить, это — низвержение Англии с того пьедестала, с высоты которого она считает себя и в праве и в силе притеснять и оскорблять все народы земли, лицемеря и тиранствуя в одно и то же время. Всех ослепляет величие Англии, ее успехи в науках, поэзии, промышленности, устройстве своего быта (впрочем только для высших и средних классов), в политическом устройстве своего государства. Все это при ней и останется. Мы говорим о ее внешней политике, — до которой только и есть дело другим народам и государствам. Разве Трансваальской республике, захваченной англичанами, или бомбардированному ими Копенгагену¹⁹, легче от того, что англичане пользуются *habeas corpus*, или что между ними родились Шекспир и Ньютон? С каких пор высшие дары духа оправдывают преступления: воровство, грабеж, дневной разбой, поджигательство и отравление? А во всем этом виновата Англия перед другими народами земли.

Разве овладение Гибралтаром, когда с Испанией она собственно и не воевала, а делала вид, что ее защищала от насилия Франции, невозвращение Мальты, отнятой у французов, настоящим ее владетелям, мальтийским рыцарям, или овладение мысом Доброй Надежды от Голландии, которую она также ведь защищала от завоевавшей ее Франции — не воровство и не мошенничество? Захват Трансваальской республики — не явный грабеж? Бомбардирование Копенгагена и насильственный увод датского флота, сгноенного потом в великобританских гаванях, не дневной разбой? А поддержка всех мятежей, заговоров и тайных обществ, заслужившая Пальмерстону название лорда Фейербранда, поддержка, доходившая до защиты участников в приготовлении Орсиниевских бомб²⁰, — не поджигательство? И наконец насильственно, оружием навязанная китайцам покупка индийского опиума — этот венец политического злодейства — не отравление, подобие которому мы найдем только в истории того бельгийского графа (Бокарли, кажется), который насильно влил никотин в рот своей жертвы?

Англия очень дорожит Босфором и Дарданеллами, она не может допустить свободного прохода через них русского флота; ей важно беспрепятственное сообщение с Индией, которому, будто бы, угрожает будущий русский черноморский флот. Ну, так России ничего другого не остается, как постараться, чтобы проливы потеряли для нее всякую цену, чтобы свободное сообщение с Индией утратило для нее всякое значение. Князю Паскевичу приписывают слова, что путь в Константинополь идет через Вену. Видно и путь к Босфору и Дарданеллам идет через Дели и Калькутту.

ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ!

(«Русская Речь», 1879, янв. и февр.)*

Две тысячи лет с лишком тому назад, вождь Галлов Бренн¹, кладя свой меч на весы, на которых взвешивалась дань, уплачиваемая побежденным Римом, воскликнул: горе побежденным! Сам ли полумифический вождь Галлов произнес эти слова, или только вложил их ему в уста римский историк, изречение это обратилось в общую поговорку, в пословицу, — подобно всем поговоркам и пословицам, выражающую мысль ясную, простую, несомненно истинную и в своей краткости и простоте не требующую никаких комментариев.

Но вот, двадцать три века спустя после знаменитого Галла, нам, русским, приходится воскликнуть диаметрально противоположно: горе победителям! Изречение парадоксальное, звучащее нелепо — в роде светлой тьмы или громкого молчания, и которое поэтому едва ли получит такое общее применение, такое общее гражданство, как слова Бренна, но которое тем не менее, в применении к нашей недавно оконченной, славной и победоносной войне, выражает собою факт столь же несомненный, как и древнее общеприменимое восклицание. В самом деле, после одной из самых полных и решительных побед, обративших в ничто всю силу противника, вместо торжества и упоения славы — всеобщее уныние, чувство глубокого унижения, краска стыда на лице, слезы оскорбленной народной чести и поруганного достоинства. Потоки крови, мучения раненых, истязуемых варварами на полях битвы, десятки тысяч погибших от неприятельского оружия, может быть сотни тысяч умерших от болезней, сотни миллионов рублей народного достояния, невероятные подвиги терпения, мужества, отваги войск, военного искусства полководцев, — все это потеряно

* В «Русской Речи» статья эта была озаглавлена «Россия и Восточный вопрос» и все начало, до новой строчки: *В прошлом году...*, было опущено.

и принесено в жертву ради того, чтобы большую и, как говорят очевидцы, лучшую часть многострадального болгарского народа, уже было освобожденного, снова предать во власть его вековых мучителей, ради того, чтобы закабалить благородных Черногорцев, Сербов, Босняков, Герцеговинцев игу Австрии, ради того, чтобы утвердить на более прочных основаниях пошатнувшуюся было власть и влияние Англии на берегах Архипелага, Мраморного моря, Босфора и Дарданелл.

Если бы через столетия сохранились о нашем времени известия, столь скудные, как, например, те, которые мы имеем о некоторых периодах Римской Империи, и потомству остались бы лишь акты Сан-Стефанского договора² и Берлинского конгресса, по которым остроумным и проницательным историков предстояло бы восстановить ход событий, завершенных этими документами, не должны ли они были бы предположить, что в первое полугодие 1878 года свирепствовала жестокая война, окончившаяся полным поражением России и принудившая ее отказаться от всех успехов, приобретенных ею в войну 1877 года? Но происшедшее на самом деле гораздо хуже такого предположения этих гипотетических историков. Военная неудача бывает часто результатом непредвиденных случайностей. Отступление же перед одною угрозой, и угрозой врагов, к сущности очень мало опасных, как Англия и Австрия, не свидетельствует ли о сознании бессилия государства, все равно, основано ли это сознание на действительном положении вещей, или только на ложном представлении о нем? Последнее, пожалуй, даже хуже первого, ибо указывает не на материальную немощь, которая более или менее исправима, а на расслабление и немощь духовную.

В прошлом году, при начале турецкой войны, многие надеялись, что она поведет к окончательному решению Восточного вопроса. Такой надежды мы не разделяли и вот что говорили по этому поводу (см. выше, стр. 54. 2-го авг. 1877 г.): «Настоящая вой-

на, сколько бы она ни была успешна, разрешить Восточного вопроса не может. Разрешит это целый период борьбы не против Турции только... Настоящая война есть только первый шаг к этому решению... и все дело в том, чтобы шаг был сделан правильный, действительно поступательный, облегчающий в будущем и приближающий решение этой всемирно-исторической задачи, которой дано название Восточного вопроса». Для этого нам предстояло достигнуть войной: разрешения всех преград, как нравственных, так и материальных, разделяющих северо-восточное славянство, т.е. Россию, — от славянства юго-восточного и от всех православных народов, населяющих Балканский полуостров.

И все преграды были разрушены штыками русских солдат, — и снова восстановлены, а некоторые даже усилены и вновь созданы перьями русских дипломатов. Отрицательные результаты, достигнутые русскою политикой, многим превзошли положительные, достигнутые русским военным искусством и русскою военною доблестью! Странно и нелепо звучащий парадокс: горе победителям! сумела она обратить в грустный, но несомненный факт.

О восстановлении и усилении преград материальных, укреплении Балканских горных проходов, опек Англии над Турцией и проч. — мы не будем говорить. Это всем слишком хорошо известно. Но считаем нужным сказать несколько слов о восстановлении, усилении и возникновении новых преград нравственных. Станем для этого на место болгар, сербов, черногорцев, герцеговинцев, босняков, и постараемся уяснить себе те чувства и мысли, которые должны у них возникнуть о России и об отношении их к ней. «Россия принесла для нас действительно огромные жертвы», — должны сказать они себе, — «и сокрушила Турцию. Но как только вместо Турции вступили на сцену настоящие враги славянства, в руках которых Турция была только орудием нашего угнетения, — то есть Европа и преимущественно Англия и Австрия, — Россия отступила, потому ли, что считает себя бессильною для борьбы с врагом бо-

лее могучим, чем Турция, или потому, что предпочитает так называемые европейские интересы нашей свободе, нашей национальной самобытности. Но почему же», — должны они рассуждать далее, — «так враждебна к нам Европа? Не потому ли, что мы единоплеменны и единоверны с Россией? Европа страшится увеличения могущества и силы России нашею силою, правда, только еще зарождающеюся, но со временем могущею, в союзе с Россиею, сделаться весьма значительною, в особенности, при том географическом положении, которое мы занимаем. Но в нашем ли положении мечтать о политической силе, о славном историческом будущем в союзе с Россиею, когда, с одной стороны, она — могучая, сильная (такою, по крайней мере, мы до сих пор ее считали) — сама от нас отрекается, а с другой — когда еще самые элементарные человеческие права за нами не обеспечены? При таких обстоятельствах, не разумнее ли нам примкнуть к Англии и к Австрии, которые в ближайшем будущем будут господствовать над нами, первая — под маской Турции в южной Болгарии, названной Восточной Румынией, во Фракии и Македонии, вторая — непосредственно в западной части полуострова. Не приглашает ли нас к этому сама Россия, подавая сербам и черногорцам совет — сойтись и сговориться с Австрией? Не быть же нам *plus russes que les Russes eux mêmes*»³. Мудрено ли после этого, что высказанные в ответ нашей дипломатии на критику Сан-Стефанского договора в известной записке лорда Салисбюри предсказания о неблагодарности Болгар, имеющей возникнуть по примеру неблагодарности Румын, действительно оправдаются? Благodeяния, оказанные на половину, обманывающие надежды, возбужденные самими благодетелями и начавшие даже осуществляться, никогда не рожают благодарности. Это весьма известная психологическая истина.

Подобного рода мысли, столь естественные и благоразумные со стороны славян Балканского полуострова, потому только — мы на это твердо надеемся — окажутся ложными, что

ненависть и злоба — слепы. В южной Болгарии, турки, подстрекаемые и научаемые англичанами, будут потворствовать как турецкому насилию, так и честолюбивым притязаниям эллинизма, и тем усилят ее стремление к соединению с северными братьями. В западной части Балканского полуострова, австрийская политика, руководимая мадьярскими стремлениями, сумеет сделаться столь же ненавистной для своих новых вассалов, сколько она ненавистна для непосредственных славянских подданных Австрии. Какая странная, жестокая надежда: интересы славянства основаны на бедствии несчастных славян! И однако, другой надежды нет. Такова жестокая ирония судьбы.

Чтобы, впрочем, ни сказало будущее, каким бы путем ни исправило оно сделанных теперь ошибок — остается несомненным, что между Россией и славянством воздвигнуты новые нравственные преграды нашею победоносною войною, предпринятою для освобождения славянства.

Со стороны Румынии, материальная преграда, разделяющая нас от будущего Болгарского княжества, не уничтожена, потому что Дунайская дельта присоединяется к Румынии, которая даже увеличивается тем, что Добруджа передается в ее же владение. В сердцах же румынского народа, — точнее, впрочем, будет сказать: в заправляющей им интеллигенции, — воздвигнута могущественная нравственная преграда возвращением, отошедшей от России, части Бессарабии. Мы уже прежде высказали наше мнение об этом предмете. Настойчивость дипломатов на этом ничтожном пункте, когда они сочли возможным поступиться самыми жизненными, существенными условиями Сан-Стефанского договора, можем мы себе объяснить только желанием добиться полной отмены Парижского трактата, поскольку он непосредственно касался России. Желание вполне законное и справедливое, требуемое честью и достоинством России, но только при том условии, чтобы трактат этот не был

заменен своим близнецом по внутреннему смыслу и духу, актом Берлинского конгресса, и чтобы последняя лесть не была горше первой. Оскорбительная сущность Парижского трактата заключалась не в той или другой статье его, более или менее неблагоприятной России, а в том, что он связывал руки России, ставил ее под оскорбительный контроль, под опеку Европы, лишал свободы действий на Востоке. Образ действий Турции и последовавшая за тем война разорвали надетые на нас путы. Не налагаем ли мы их на себя вновь Берлинским конгрессом? Из-за чего после этого так хлопотать об отошедшем от нас, двадцать два года тому назад, кусочек земли! Если бы его возвращение не было сопряжено с значительным для нас вредом, то, можно смело сказать, конгресс никогда бы на него не согласился. Вред этот состоит в том, что наш естественный и необходимый для нас союзник отстраняется от нас и будет всегда готов принять сторону наших врагов. Здесь повторяется та же история, которая происходила на Венском конгрессе с Польшей. Присоединению ее к России, в виде самостоятельного царства, противились до тех пор, пока прусские уполномоченные, ближе знакомые с русско-польским делом и с сущностью тогдашних русских политических воззрений, не разъяснили прочим членам конгресса, что присоединение Царства Польского к России с сохранением его самобытности есть величайший для России вред, — что события и не замедлили оправдать. Относительно Бессарабии дело было понято скорее, и, как кажется, не потребовало ни с чьей стороны особых разъяснений.

Если, таким образом, отношения славян и румын к России, возникшие и имеющие еще возникнуть, как последствия веденной нами освободительной войны, представляются в неутешительном виде, то в еще худшем свете являются, по видимому, наши отношения к грекам, которые сделались прямо нам враждебны и открыто было перешли на сторону коренного нашего врага — Англии, до готовности вести вместе с нею

против нас войну^{*}. Но сделанные нами в этом отношении ошибки, по счастью, исправлены английскою политикою; выраженная нами надежда, что ненависть и злоба не допустят развиваться всем вредным для нас последствиям, начала уже осуществляться.

Но так или иначе, а печальное дело совершилось. Надежды России и Славянства еще раз обмануты по ее собственной вине. Дело теперь, на некоторое время по крайней мере, кажется непоправимым. Вместо ожидавшегося облегчения, задача Восточного вопроса еще более затруднилась. Мы находимся в положении Тарквиния перед Кумской Сивиллой. Она подносила ему девять таинственных книг, заключавших в себе предсказания о судьбе Рима, и обладание которыми необходимо для совершения этих судеб. Но цена, за них просимая, казалась слишком высокою. Савилла сожгла три книги и потом еще три, требуя за остальные все ту же цену. Так и Россия от времени до времени привязывается к решению рокового Восточного вопроса, заключающего в себе узел судеб ее, — но и она, подобно Тарквинию, отступает перед, кажущеюся ей, чрезмерностью требуемой от нее цены. Цена же все возрастает и возрастает. Но, наконец, все-таки придется ее заплатить, заплатить под страхом собира-

^{*} Могло бы казаться, что с нашей стороны сделана большая ошибка тем, что мы не побудили Грецию объявить войну Турции, хотя бы одновременно с Сербам, после пленения Плевненской армии, дабы дать нам этим предлог выговорить при заключении мира присоединение к ней Фессалии, Эпира и Крита. Но такой упрек едва ли бы был справедлив. Такое присоединение только увеличило бы притязания Греции. Греки со своею «великою идеею» и эллинизмом принадлежат к числу тех маленьких честолюбивых народов, с которыми, по странному велению судьбы, все приходится иметь дело России; подобно Полякам и Мадам, они добиваются не свободы и своего права, а власти над другими народами, более их многочисленными, которых они почему-то считают ниже себя, чтобы питаться их соками и основать на их угнетении свое искусственное величие. Я уже сравнивал их с лягушкою басни, надувающегося в быка. Россия не может быть другом таких народов. *Чернов. рукоп.*

ния и в огне вметания, как собирается и в огонь вметається в день исторического суда все, что не исполнило своего назначения. День же этот приходит, как тать в ночи, как пришел спор о Вифлеемских ключах между греческими и латинскими монахами, как пришло ничтожное, ни кем не замеченное при своем появлении, герцеговинское восстание. Следовательно, нужно бодрствовать и быть готовыми, ибо не ведаем ни дня ни часа, когда вновь прозвучит призыв истории. А чтобы быть готовыми, нужно понять причины, почему мы на этот раз оказались столь неготовыми, что благоприятное решение выпало из наших рук, уже было крепко схвативших его. Тут виноваты уже не плохие ружья, не плутни поставщиков, не дурное устройство интендантства и санитарной части. Несмотря на все это, наши геройские войска блистательно исполнили свое дело, — не за нами оказалась неустойка, обратившая торжество победы в горечь поражения.

Ближайшие причины нашей неудачи — у всех перед глазами, более или менее всем известны и ясны. Поэтому, мы ограничимся только группированием их и представлением в систематическом порядке. Причины эти подводятся под следующие четыре категории: 1) недостаточность и неудовлетворительность самих условий Сан-Стефанского договора и в особенности того перемирия, которое было заключено под стенами Константинополя. 2) Неточность и неопределенность тех условий, которые были предписаны Туркам, так что исполнение их ничем не было обеспечено и предоставлялось, собственно говоря, полному произволу Турок. 3) Необеспеченность, неограждение выполнения этих условий от постороннего враждебного вмешательства, и, наконец, едва ли не самая важная причина 4) формулирование этих условий в виде прелиминарного договора.

Недостаточность и неудовлетворительность перемирия и самого мира была двоякая: во-первых, законные и справедливые желания покровительствуемых и освобождаемых славянских дру-

зей и союзников наших оставались неудовлетворенными, в угоду незаконных и нелепых притязаний Австрии, а частью и Греции. Болгария лишалась Солуни и вообще значительной части болгарской Македонии; Сербия — Пристины и большей части Старой Сербии; Черногория Скутари, Требинье, и вообще должных границ на севере, юге и востоке. Оба последние княжества не должны были соприкасаться, в виду дикого австрийского требования, чтобы оставлен был промежуток для проведения железной дороги к Эгейскому морю, как будто железные дороги возможно проводить только по турецкой земле. Во-вторых, Россия не получала должного вознаграждения за свои жертвы. Таким вознаграждением можно бы считать только уступку России турецкого броненосного флота и присоединение Эрзерума, ибо этим достигалось бы утверждение полного и неоспоримого влияния нашего на Турцию.

Уступка России броненосного флота, доставляя ей разом сильное морское положение, прежде чем Англия успела бы собрать достаточную силу, давала средство занять проливы не только с европейской стороны, но также с азиатской и с моря. Присоединение же Эрзерума выказало бы свое действие постепенно, мало-помалу. В самом деле, из наших малоазиатских приобретений, Батум, как хороший порт, доставляет только торговые выгоды, Карс лишь оборонительное значение, обеспечивающее Закавказский край. Напротив того, Эрзерум занимает центральное господствующее положение над сообщениями Анатолии, Курдистана, Месопотамии и Сирии, составляющих основу турецкого могущества. Владея им, мы могли бы спокойно смотреть на все английские затеи, как например обеспечение за собою Эвфратской долины и проведение стратегических железных дорог от берегов Босфора к Персидскому заливу. Из Эрзерума наше давление на Турцию могло бы быть столь сильно, что его не могло бы перевесить враждебное нам влияние в самом Константинополе.

Если вникнуть в условия Сан-Стефанского договора, то нетрудно заметить, что руководящею мыслью его был раздел Турции, — первая наброска этого раздела, имевшая в виду не столько раздел ее территории, сколько раздел влияний. Берега Эгейского и Мраморного морей, проливы и окрестности Константинополя предоставлялись влиянию Англии (как это видно из уступки Салоник и незанятия Галлиполи) под сильным, конечно, контролем России; через посредство Забалканской Болгарии. Запад полуострова предоставлялся Австрии, как то видно не только из предоставленных ей Боснии и Герцеговины, но и из промежутка, оставленного между Сербией и Черногорией, также из того, что Пристина и Митровица не отдавались Сербии. Русскому влиянию должна была подлежать восточная половина полуострова — вассальная Болгария. Этим надеялись удовлетворить желаниям наших противников. Но Англии и Австрии показалась доля, им предоставленная, недостаточною; первой в особенности не нравился сильный контроль России. Берлинский конгресс, собственно говоря, стоит потом на той же точке зрения; он только умалывает до ничтожества долю влияния России, а недоброжелательство Румынии, нами же вызванное, еще более содействует этому умалению, почему европейские державы и отнеслись так благосклонно к возвращению России части Бессарабии.

Но раздел Турции составляет комбинацию, которой России следовало бы наиболее противиться, так как он совершенно противоречит интересам ее и Славянства. Существенная причина, которая могла и должна была удержать Россию от окончательного завладения Константинополем и проливами, заключалась именно в том, чтобы не подать сигнала к этому разделу; но раздел без Константинополя и проливов, конечно, еще гораздо хуже. И справедливость, и выгоды России требовали, чтобы Болгары, Сербь, Черногорцы были вполне самостоятельны и со временем, вместе с Греками, сделались полноправными наследниками тех земель,

на которых они были поработаны нашествием дикой турецкой орды; чтобы все они добровольно подчинялись естественному влиянию одной только России, — влиянию, основанному на единоплеменности, единоверии, на предшествовавшем ходе истории, на жертвах, принесенных Россиею для их освобождения, и на взаимных здраво понятых выгодах.

Раздел Турции, по отношению к России, совсем не то, чем был раздел Польши. Этим последним Россия получала почти все свое достояние (за исключением лишь восточной Галиции). Остававшаяся за тем часть составляла враждебный России элемент, который нейтрализовался разделом между Пруссией и Австрией. Такая комбинация была даже выгоднее последующего присоединения Царства Польского к России. В Турции, напротив того, Россия, с одной стороны, не имеет своего исконного достояния, на которое могла бы иметь законное притязание, но взамен того имеет дружественные народности, самобытности и благоденствию которых она должна содействовать; с другой же стороны, враждебный России остаток, при достижении первого условия, должен бы был сам собою подчиниться ее исключительному влиянию. Это безраздельное влияние имело бы ту важность, что предоставляло бы России свободный вход и выход в Черное и из Черного моря.

Неопределенностью и неточностью условий перемирия, не назначавшего срока, и при том возможно кратчайшего — не свыше двух, много трех недель — для сдачи крепостей в Болгарии и Малой Азии и дозволившего гарнизонам их свободно возвратиться в Турцию, — мы сами увеличили силу ее сопротивления и дали Англии и Австрии немаловажную точку опоры в их действиях, направленных против нас. Кроме того, этим мы дали Турции возможность, так сказать, дважды продавать нам одну и ту же вещь. Очищение крепостей было ценою, за которую ей был дарован мир, избавлявший ее от занятия столицы; и затем Турция стала требовать новых льгот, например, удаление рус-

ских войск на известное расстояние от Константинополя, за того же самое очищение крепостей.

Но все эти ошибки и упущения теряют свое значение перед двумя капитальными, по моему мнению, ошибками, к несколько подробнейшему рассмотрению которых я теперь и приступлю. Я разумею упущение занятия Галлипольского перешейка и Босфора — с согласия ли Турции, как одно из условий перемирия, или и без оно, силою, — и заключение прелиминарного мирного договора. Оба эти факта, в их совокупности и взаимодействии, составили всю силу наших врагов и настоящую причину всех последовавших наших неудач. Говоря о важности сделанного нами упущения незанятием своевременно проливов, я повторяю только всем известное. Но при этом я желаю обратить внимание на то, что и эта коренная ошибка приобрела всю свою пагубную силу только от заключения прелиминарного мира, и, наоборот, что заключение прелимированного мира могло оказать все свое вредное влияние только при незавладении проливами.

Ход событий, обративший Россию из грозной решительницы участи Оттоманской империи, из державы, державшей в своих руках судьбы Востока, обаяние которой, казалось, должно было утвердиться не только на берегах Босфора, но и на берегах Инда, Ганга и Ирравади, — в скромную участницу Берлинского конгресса, принужденную довольствоваться теми крохами, которые соблаговолят уделить ей Англия и Австрия от роскошной трапезы, ее же руками приготовленной, — по-видимому, свидетельствует о грозной силе Англии. Ей стоило только проснуться и развернуть свой флаг, чтобы спугнуть двуглавого орла, заставить его бросить ту добычу, которую он уже держал в своих когтях. Между тем, в сущности, сила Англии есть одно напускное марево, фантасмагория, нечто вроде намалеванных драконов, которыми китайцы пугают или пугали своих врагов, призрак, основанный на одном предрассудке, на привычке, перешедшей из тех времен, когда европейские армии считались

десятками тысяч, и английский вспомогательный корпус, всегда отлично снаряженный, мог оказывать довольно решительное влияние на ход кампаний. В особенности по отношению к континентальнейшему из всех государств, России, сила Англии почти совершенно равняется нулю. Но как всякому нулю, так и силе Англии, можно придать огромное значение, приставив к нему слева одну или несколько единиц. Эту приставку мы именно и сделали. Вся сила Англии, давшая ей в настоящем случае такое значение, есть вполне наше создание: мы вызвали из небытия грозный призрак, облекли его плотью, дали ему точку опоры, вложили ему в руки рычаг, которым он поднял и сковырнул нас с места, занятого нами с таких трудом, с такими жертвами.

Представим себе, для уяснения дела, простейший случай: войну между Россией и Англией, один на один, при честном соблюдении прочими державами, в том числе и Турцией, нейтралитета. Действия Англии ограничились бы полугодовой прогулкой по водам Балтийского и Белого морей, совершенно для нас безвредною, как показал опыт войны с 1854 по 1856 год. Даже единственное, сколько-нибудь действительное в прежние времена, оружие Англии — блокада портов — потеряло почти все свое значение с развитием железных дорог. Россия потерпела бы несколько от возвышения цен на предметы ее вывоза, вследствие удлинения сухопутной перевозки; но главный покупатель их — Англия — потеряла бы почти столько же от этого вздорожания. В барышах осталась бы одна Пруссия. Вывоз из Черного моря оставался бы при этом свободным, так как блокировать нейтральный Дарданелльский пролив Англия не имела бы права. В наших же руках оставалось бы крейсерство, которое принесло бы Англии в несколько раз более вреда, чем нам ее блокада. Но формалистическая Англия не страдает, как известно, излишнею привязанностью к легальности в делах внешней политики, и, без сомнения, нашла бы случай уговорить Турцию отказаться от своего нейтралитета, по крайней мере, на-

столько, чтобы представиться не имеющей силы заградить проливы для английского флота. Тогда к средствам Англии прибавилась бы еще блокада Черноморских портов, то есть, в этом последнем отношении, Россия была бы поставлена в то же положение, как и в прошлом году, во время войны с Турцией. О бомбардировании прибрежных городов, как в Балтийском, так и в Черном море, я не говорю. При силе сухопутной артиллерии и при торпедах, угроза эта потеряла почти всякое значение. Допустим, что, дабы не усложнить своего положения, мы стали бы смотреть сквозь пальцы на это нарушение турецкого нейтралитета, как смотрели в прошлом году на действия нейтрализованного Египта. Все жертвы кровью и деньгами, которые мы несли бы в войне с Турцией, оставались бы у нас в экономии. Следовательно, война с Англией один на один, хотя бы и при нарушении Турцией нейтралитета — пропуском английского флота через проливы, — для России гораздо легче, чем даже война с Турцией. Без значительного ущерба мы могли бы выносить ее несколько лет. В резерве оставалась бы у нас угроза выхода в Индию, один приступ к исполнению которого, вероятно, уже заставил бы Англию смириться, в особенности при том вроде, который наносился бы ей нашими крейсерами. Вот итог, к которому приводится сила Англии, по отношению к России, если смотреть ей без предрассудков прямо в глаза. Многим ли он разнится от нуля?

Но перейдем от предположения единоборства к той действительности, которая существовала в конце января нынешнего года. Занятием Галлиполи и Босфора, Черное море гораздо лучше обеспечивалось от вторжения английского флота, чем при нашем гипотетическом предположении о нейтралитете Турции. Англии оставалась еще возможность высадки ее британских войск и привезенных на Мальту сипаев. Но высадки — где? Не иначе, как на берегах Эгейского моря, в почтенном расстоянии от расположения главных русских сил. Там могли бы они занять

твердую позицию и укрепиться, пожалуй, если бы позволила местность, так же сильно как и в Гибралтаре. Ну, пусть бы себе и укрепились. Имея в своих руках Дарданеллы и Босфор, мы могли бы спокойно их пересиживать в наших укрепленных позициях. Чтобы побудить нас удалиться из наших несравненно важнейших позиций, англичане охотно согласились бы оставить свою. Мы господствовали бы над положением, значение же Англии было бы совершенно ничтожно, ничтожнее, чем в только что рассмотренном нами случае единоборства. В такое положение поставила себя Англия рядом самообольщений, как оказалось, ничем не оправдываемых. В начале войны она льстила себя надеждою, что Турция, и без ее помощи, — по крайней мере, явной, — устоит против России, которая будет этим поставлена в жалкое и смешное положение. Наши неудачи под Плевной еще более укрепили ее в этом мнении и тем усыпили ее бдительность, лишили привычной прозорливости, и этим были для нас, собственно говоря, благоприятны. Когда, 28-го ноября, Плевна пала, все думали, что наступившая глухая осень, холода и ненастье заставят русскую армию отложить свои дальнейшие действия до весны, а к тому времени, если бы не удались переговоры, можно было успеть и подготовиться на всякие случайности. Когда эти расчеты были обмануты изумительным, беспримерным зимним переходом через Балканы (увы! оставшимся бесполезным), Англия была захвачена врасплох. Мы могли сделать все, что хотели, но на беду хотели не того, что было нужно. Лорд Дерби⁴, правильно оценивший действительную силу противников, не полагался на силы Англии, и еще менее на силы Австрии, и потому боялся войны, боялся до того, что, когда дерзкие шаги его премьера, казалось, неминуемо к ней вели, то он не захотел разделить ответственности в политике, которая обещала быть постыдною и гибелью для Англии. Уступал ли ему в правильной оценке реальных политических сил европейских государств лорд Биконсфильд⁵ — этого я

не знаю; но зато последний в совершенстве разгадал характер дипломатии и направление политики России, и потому был твердо уверен, что войны не будет, что бы он ни делал, как бы дерзко ни поступал. Дерби, как государственный человек, выводил свои заключения из общих данных, из общеизвестных элементов народной и государственной силы; напротив того, Биконсфильд, как бывший романист, основывал свою политику на психологических комбинациях, на разгаданном им характере противников, с которыми имел дело. Что подало ему ключ к этой разгадке — глубокое ли изучение новейшей истории, правильная ли оценка веденных переговоров и вообще образа действий русской дипломатии с самого начала восточных замешательств, или какие-либо частности более интимного характера, ему только известные, им только понятые, — как бы то ни было, соображения его оказались, к несчастью, верными. Как бы в оправдание их, мы начали приставлять свои единички к нулю. Первою единичкою было оставление свободным входа в Мраморное море, с обещанием не занимать пролива, если англичане сами не сделают высадки на Галлипольском полуострове. Босфор также остался незанятым. Но всем этим положение Англии еще не очень усиливалось. Справиться с ним еще было можно. Подвести десант в Мраморное море, проникнуть флотом в Черное — англичане бы не осмелились. Обещание, как само собою разумеется, оставалось бы действительным только до начала враждебных действий, каковым, при всем желании смотреть сквозь пальцы, нельзя же бы было не признать прорыва в Черное море, или высадки на берегах Мраморного, и, следовательно, двери за ними захлопнулись бы. Самые элементарные правила, как сухопутной, так и морской стратегии, не допустят ни одного военачальника прорваться через дефили, оставив последний под угрозой немедленного занятия неприятелем. Про силы Турции — я ничего не говорю: в конце января их не существовало, они были разгромлены. Но тут-то и при-

ставили мы вторую единицу к нулю, допуская заключением предварительного мира, создание вновь этой силы, и тем же промахом, если не создавали, то придавали пагубное для нас значение силам третьего отъявленного нашего врага — Австрии.

Когда турецкие послы прибыли в нашу главную квартиру молить о даровании им мира, полагаясь единственно на наше великодушие, ибо другой помощи, ни от людей, ни от пророка, не предвиделось, нам предстояло, — так по крайней мере казалось, — или подписать окончательный мир, если бы мы хотели сами решить все дело, — или же ограничиться заключением продолжительного военного перемирия, ежели желали подвергнуть условия мира обсуждению Европы. Но было избрано нечто среднее — мир предварительный, нововведение по меньшей мере столь же неудачное в дипломатии, как поправки в морском строительном искусстве; предварительный мир соединял в себе все невыгодные стороны окончательного мира и военного перемирия, без заключающихся в них выгод.

Последствия заключения тогда же окончательного мира нам собственно рассматривать нечего. Уже то обстоятельство, что сочтено было необходимым заключить только предварительный договор, доказывает, что мы ясно осознавали, что условия, которыми мы думали закончить нашу борьбу с Турцией, не встретят сочувствия Европы и, преимущественно, государств, считавших себя наиболее затронутыми — Англии и Австрии, и что они всеми мерами будут стараться препятствовать их осуществлению. Следовательно, если бы, несмотря на эту нашу уверенность, мы все-таки решились придать условиям Сан-Стефанского договора санкцию твердого окончательного трактата, нам необходимо было обеспечить себя от враждебного постороннего вмешательства и для этого занять Дарданеллы и Босфор. Видя всякую помощь извне отрезанною, Турция продолжала бы находиться в том же настроении духа, в котором находилась при заключении перемирия. Видя единственное спасение в велико-

душии России, опасаясь еще худших условий в случае возобновления борьбы, она и не подумала бы собирать свои силы и истощать для этой безнадежной борьбы. С другой стороны, и Англия, видя, что дело кончено, что изменить его можно только новой войной, что все шансы в этой войне против нее, что в силах самой Турции она никакой помощи найти не может, а сама также помочь ей через непреодолимую преграду не в состоянии, — помирилась бы с неизбежным.

И так, рассмотрим другой случай. Россия желала заручиться согласием Европы на результаты, которые хотела извлечь из войны, и потому не хотела заключить окончательного мира. В таком случае, следовало бы ограничиться военным перемирием. При заключении военных перемирий преобладает стратегическая точка зрения и, главным образом, имеется в виду (со стороны предписывающего условия победителя), чтобы, в случае возобновления военных действий, противник не оказался в положении более выгодном, чем в момент их прекращения, если же перемирие завершится миром, то чтобы влияние победы сохранило всю свою силу вплоть до окончательного умиротворения. Так, в осажденную крепость допускают подвоз провианта только в количестве необходимом для пропитания гарнизона и жителей, а не для возобновления запасов. Поврежденные верки должны оставаться неисправленными, новые не могут возводиться. Следовательно, при военном перемирии, ни со стороны Галлиполи, ни со стороны Босфора, ни со стороны Константинополя, не могло и не должно было быть выкопано ни одного стрелкового ровика, не могло быть возведено ни одного редута, не могло даже быть прибавлено ни одного нового батальона. Пусть при таком положении дел Дарданеллы и даже Босфор оставались бы незанятыми; пусть те, не помню хорошенько, шесть или восемь английских броненосцев вошли в Мраморное море, даже получив наше обещание не занимать позади их пролива, но под единственным условием, что англичане не сделают

высадки и, что само собою разумеется, не начнут иным способом военных действий — положение России все бы оставалось господствующим. Могла ли Англия на что-нибудь решиться, зная, что, при малейшем ее движении, двери проливов, незащищенных турками, захлопнутся за ее флотом? Допустим, наконец, что, употребив какую-либо уловку, англичане успели бы предупредить нас и занять Галлипольский перешеек. Если бы даже нам не удалось их из него выбить, все же надо помнить, что сухопутные силы Англии могут иметь только значение вспомогательного корпуса, а за неимением кому помогать, при отсутствии турецких сил, были бы осуждены на ничтожество, и что таким образом Босфор, а, следовательно, и сообщение по Черному морю продолжало бы оставаться в нашем распоряжении, а это парализовало бы стратегическое положение Австрии, которая, вместо того, чтобы угрожать нашему пути сообщения, сделавшемуся от нее независимым, сама была бы почти со всех сторон окружена нами и нашими союзниками.

Заключение прелиминарного мира уничтожило все эти выгоды, потому что после него Турция вступала во все права, принадлежащие независимому государству. На все наши представления, она могла утверждать, что возводимые ею укрепления, собираемые и сосредоточиваемые войска — имеют единственно целью защиту ее нейтралитета, или даже подготовку для союзного с нами действия. Мы могли, конечно, тому не верить, но лишились уже всякого легального повода противодействовать этому и, таким образом, результаты победы постепенно таили и исчезали на наших глазах и на глазах наших противников.

Это различие между военным перемирием и мирным договором имело особенную важность именно для нас, привыкших столь строго соблюдать легальность в международных отношениях. При начале польского восстания 1863 года, в «*Journal de S.-Petersbourg*»⁶, слывшем и в России и в Европе официальным органом нашего министерства иностранных дел, была помещена фраза, на-

делавшая в свое время много шума: «La l'égalté nous tue»⁷. Упрек этот едва ли справедлив, если сожаление это относить (как это делал французско-русский журнал) к соблюдению излишней будто бы законности во внутренних делах, но совершенно основателен в применении к действиям нашей внешней политики. В деле легальности мы составляем, кажется мне, диаметральную противоположность с Англией. Там легальность, как известно, доводится до смешной крайности в отношениях государственной власти и закона к своим подданным. Там, например, адвокат действительно спасает двоеженца от наказания, советуя ему взять как можно скорее третью жену, потому что закон, крайне строгий к двоеженству, вовсе не предвидел случая троеженства. Но во внешних делах, Англия, когда это ей оказывается нужным или выгодным, не задумывается бомбардировать столицу государства, с которым не находится в войне, или провести свой флот через пролив, вопреки тому самому трактату, который она защищает.⁸ Россия, не простирая слишком далеко своей легальности во внутренних делах, — в отношениях внешних видит в каждой букве связывающего ее трактата препятствие, через которое не решается переступить, хотя бы дело шло о существеннейших ее интересах. Нисколько не осуждая этого и даже не выражая своего мнения о преимуществах той или другой крайности, я желаю только выставить на вид, что, при столь строгом соблюдении легальности в международных отношениях, России более чем другим следует быть осторожной в наложении на себя политических стеснений и обязательств. Так, в случае, подобном нами разбираемому, можно смело утверждать, что Англия или Бисмарковская Пруссия, даже заключив мирный договор, но заметив последствия, к которым он ведет не задумывались бы его нарушить, чтобы вывести себя из крайне затруднительного положения.

Военное перемирие, вместо прелиминарного мира, не только упрочивало бы наше господствующее стратегическое положение, но сглаживало бы путь и для дипломатии. Нашим про-

тивникам нельзя было бы тогда требовать, как предварительно-го условия конгресса (как будто конгресс этот был для нас какою-нибудь милостью), чтобы все пункты договора были представлены ему на обсуждение, так как самих условий этих тогда бы еще не существовало. Мы явились бы на конгресс не сформулированными уже условиями, подлежащими, с нашего же согласия, его решающей критике, а с такими, например, словами на устах: «враг наш не существует. Мы в состоянии не допустить до него внешней помощи, откуда бы она ни происходила, и потому бесспорно господствуем над положением; но не хотим злоупотреблять его выгодами и ограничиваемся: с одной стороны, безусловно необходимым для осуществления той цели, с которою предприняли войну, то есть, для освобождения христианских народов Балканского полуострова; а с другой — самым умеренным вознаграждением, на которое, кроме нас, ведших войну, конечно, никто не имеет ни малейшего права». Если бы, оградив себя со всех сторон, мы пожелали сделать несколько несущественных уступок самолюбию Англии и притязаниям Австрии, то они были бы приняты с благодарностью, ибо «всякое даяние благо и всяк дар совершен». Конгресса, которого добивались мы, делая невообразимые предварительные уступки для его осуществления, — добивались бы тогда наши противники, чтобы избавить себя и Турцию от висящего над ними Дамоклова меча, от непрестанно угрожающего занятия Дарданелл, Босфора и Константинополя, ничем и никем незащищенных. Всякое окончательное решение мало-мальски умеренное, не передающее нам полной непосредственной власти над проливами, было бы принято с благодарностью и радостью, как избавление от давящего кошмара, от страшной и неотвратимой опасности. Вместо июня конгресс собрался бы в марте или в апреле. Победа наша не отошла бы, ко времени открытия этого высокого собрания в область прошедшего, не обратилась бы в исключительное достояние истории, а оказывалась бы еще жи-

вым фактором, направляющим ход событий. И на конгрессе стояли бы мы в грозном положении победителей, а не людей попавшихся в западню.

В таком виде находились бы наши дела, если бы мы соблюли только в отдельности любую из главных предосторожностей, обеспечивавших завоеванное нами положение. Конечно, дела много бы еще улучшились, если бы не только были приняты обе эти меры в совокупности, но к ним присоединились бы еще сдача турецких крепостей в краткий определенный срок и уступка Турцией всего или большей части ее броненосного флота.

Но мы не заняли ни Галлипольского полуострова, ни Босфорского берега, а с Турками заключили прелиминарный мирный договор, то есть, договор, между строками которого самым четким шрифтом было написано: «напрягайте силы ваши все, недовольные миром, турки, англичане, австрийцы, и все существенное, что вам в нем не нравится, будет отменено и изменено в вашу пользу». Следуя подразумеваемому совету, турки собрали полтора или двухсоттысячную армию, частью из нами же выпущенных гарнизонов и возвели укрепления наподобие плевнинских у входа к Дарданеллам, вдоль берегов Босфора, в окрестностях Константинополя. Англия приобрела значение даже как сухопутная военная держава, ибо могла с быстротою парабросить свои сорок или пятьдесят тысяч войск на самый опасный для нас пункт. Ничтожный англо-сипайский корпус получил действительную важность, как всегда и всюду готовая помощь и без того значительным турецким силам. Черное море перешло в распоряжение Англии, и этим возвращены Австрии все, утраченные было, выгоды ее стратегического положения. Турецкие крепости у нас в тылу или посреди нашего расположения затруднили нас еще более, и наше положение из господствующего стало критическим. Мы очутились в западне. Геройские усилия войск, отстоявших Шипку, перешедших зимою Балканы, могли, конечно, вывести со славой и из такого положе-

ния; но перед подобными подвигами можно только благоговеть, а не основывать на них политические расчеты.

Неужели так трудно было все это предвидеть? Еще в то время, когда войска наши шли из Адрианополя на Константинополь и, по скудным газетным известиям, направление многих значительных отрядов оставалось неизвестным, со всех сторон слышались догадки, что, свернув с пути на столицу, они, вероятно, быстро продвигаются к Галлиполи. Так казалось тогда движение это естественным и необходимым. Но что говорить о проницательности и предвидении! Разве не был нам во всеулышание, еще в то время, преподан совет, не со стороны газетных политиков и стратегов, на которых присяжные дипломаты имеют, положим, право смотреть свысока, а авторитетным голосом всеми признанного, первого политических дел мастера в Европе? Не произнес ли князь Бисмарк, с кафедры германского рейхстага, своей нагорной проповеди о политическом блаженстве: «*Beati possidentes*»⁹, — сказал он. Кто же, или что же заставило нас пренебречь этим советом, заставило добровольно отказаться от обладания и через это лишиться политического блаженства?

Недовольство Германией, как за действия ее на конгрессе, так и во время предшествовавших ему переговоров, довольно распространено в нашем обществе. И я также писал, что за чистое золото наших, столько раз оказанных, услуг — Пруссия, или, что то же самое, Германия, платит нам ассигнациями весьма низкого курса. Но, положив руку на сердце, можем ли мы обвинять ее в недостаточной к нам благодарности? Что Германия вообще и Пруссия в особенности обязана нам чрезвычайно многим — это, конечно, не подлежит сомнению и даже официально ею признано. Но требовали ли мы от нее уплаты долга? Испытывали ли мы ее дружбу? Ставили ли мы ее в такое положение, в котором ей предстояло бы высказаться прямо и откровенно: за нас она, или против нас? Мне кажется, что нет,

и что поэтому, если мы можем упрекнуть Германию, то разве только в том, что ее признательность не слишком предупредительного свойства. Если частный человек, оказавший другому большие услуги, по деликатности или другим причинам не обращается к другу за помощью «в минуту жизни трудную», когда, следовательно, и наступил настоящий срок уплаты, не требует от него уплаты долга и довольствуется кое-какими мелочными услугами, от времени до времени замолвленным словцом; а друг, по собственному побуждению, не спешит на выручку, но остается доволен такою непритязательностью, дающею ему возможность сохранить наружное благоприличие и не ставящую его в затруднительное положение — или честно уплатить свой долг, или удивить мир своею неблагодарностью: — мы, строго говоря, в праве назвать такого друга — ложным другом. Но едва ли такой высокий нравственный критерий имеет применение к дружбе политической.

Военных успех и политическая неудача России, благодарность Англии, исполнение обещания, данного Австрии вознаградить ее на Востоке за потери в Германии и Италии, без явного нарушения своих дружественных отношений к России, — ведь это все, чего только могла желать и о чем едва ли могла мечтать Германия. И всего этого лишиться, не ради избежания упрека в неблагодарности, а просто из-за излишней предупредительности, из-за навязчивости своею благодарностью! Я искренно убежден, что такая мысль не только совершенно неуместима в голову европейского политика, но даже, что едва ли она и должна вмещаться в голову какого бы то ни было политика.

Мысль о желательности для Германии чисто военного успеха России может, пожалуй, показаться парадоксальною. Такой скептицизм был бы весьма неоснователен. Для Германии чрезвычайно важно мочь сказать: «смотрите, какого мы имеем союзника и друга. Для себя он, конечно, извлек очень мало пользы из своей силы, но для нас, поверьте, сумеет ее извлечь. За

это мы вам ручаемся». Впрочем, важность для Германии русского военного успеха не есть только наше личное, более или менее вероятное, предположение. Разъяснить это обстоятельство принял на себя труд весьма влиятельный член германского рейхстага. Он сказал: что «неудачи русской армии в начале войны заставляли опасаться только ослабления России, что она могла бы перестать служить достаточною поддержкою (какова честь, подумайте!) для сохранения того положения, которое Германия занимает в Европе». Кажется, — ясно, и чего же приятнее, когда вместо слабости оказалась сила, но не про себя, а про нужды Германии?

Но возвращаемся к нашему вопросу. Кто-же, или что заставило нас пренебречь благим советом знаменитого канцлера? На вопрос, кто, мы отвечать не можем по множеству причин. Во-первых, потому, что этого не знаем; во-вторых потому, что если бы и знали, то не могли бы напечатать; в-третьих, наконец, потому, что не придаем этому ни малейшего значения. Пройдет несколько десятков лет, и будущие читатели тогдашнего Русского Архива или Русской Старины узнают, по чьей ошибке, недосмотру, недоразумению, заблуждению, сделано было то или другое упущение, по чьему совету принята та или другая ложная мера и не принято надлежащей меры. Все это будет чрезвычайно любопытно, еще любопытнее оно было бы теперь — но настолько же бесполезно, насколько любопытно.

Говорим мы это не потому, что склонны отвергать или умалять влияние личного элемента в истории, согласно с теориями ныне господствующей исторической школы. Совершенно напротив, мы полагаем, что гораздо более правды в Карлейлевом культе героев, чем в учении этой школы. Мы думаем, что без князя Бисмарка еще долго пришлось бы Немцам мечтать за кружкой пива о газемт-фатерланде¹⁰, что все добро и все зло Петровской реформы имело своим главным источником

силу гения и воли Петра. Но, с другой стороны, люди обыкновенных размеров, без выдающейся оригинальности и силы мысли, без необыкновенной энергии воли, отражают в себе направление той среды, которою окружены, подчиняются господствующему настроению умов, живут традициями и предрассудками прошлого. Следовательно, в этом направлении, в традициях и предрассудках среды, в общественном мнении, господствовавшем, если и не в тот исторический момент, когда им приходится действовать, то в то время, когда складывался их образ мыслей, должно искать корни как их полезных действий, так и их ошибок. Они не способны идти против течения и следуют раз данному им толчку. Возьмем для примера хоть настоящий образ действий Англии, где характер общего направления мнений очевиднее, чем в какой-либо другой стране. Разве граф Биконсфилд не есть продукт этого направления и не следует за потоком общественного мнения, хотя бесспорно имеет все необходимые качества ума и воли, чтобы быть его достойным представителем и главою? Поэтому, люди, гораздо выше его стоящие по широте взгляда, положим как Гладстон и Брайт, оказываются неравносильными ему, побежденными соперниками. Если б эти люди даже стояли в главе правительства, они должны бы были уступить ему поле действия, как только русские успехи задела бы за живое предрассудки и самолюбие Английской нации; такого рода случай и был перед началом Крымской войны: миролюбивый Абердин¹¹ должен был уступить место воинственному Пальмерстону, а Кобден¹² лишился даже места в парламенте. Основываясь на этом, мы и считаем возможным ответить на вопрос: что было причиною всех недоразумений, ошибок и упущений, которые привели нас к такой поразительной политической неудаче после не менее поразительных военных успехов?

Ответ на этот вопрос заключается во всей истории внешних отношений России в течение всего XIX столетия.

Не входя в исследование, как благотельного, так и вредного влияния Петровской реформы в чисто культурном отношении, мы ограничимся лишь тем фактом, что, несмотря на подражательность в обычаях, нравах и образе жизни высших слоев нашего общества, — направление внешней политики России, в течение всего XVIII столетия, оставалось вполне русским. В эту сферу предпочтение чужого своему еще не успело проникнуть. Русских вельмож того времени, в их отношении к иностранному, можно сравнить с римскими патрициями времен империи. Эти патриции усвоили себе греческую элегантность манер, костюма, образа жизни, отдавали справедливое предпочтение греческому искусству и греческой науке, держали при себе домашних греческих живописцев, скульпторов, врачей, педагогов и даже философов; но то, что они считали высшею сферой человеческой деятельности, т.е. политика, продолжало носить чисто римский характер. Так и наши Екатерининские вельможи, хотя и преклонялись перед европейскими — собственно французскими — наукой, литературой, искусством, промышленностью и модой, но сохраняли в этом преклонении некоторый оттенок полупрезрительного покровительства, и не допускали мысли предпочтения политических интересов высокопросвещенной Европы интересам своей варварской и грубой России; не допускали мысли, чтобы сила и могущество России могли служить не русским целям, хотя бы и окрестить их названием возвышеннейших интересов человечества.

Когда грянула французская революция, и монархия вместе с аристократией были попораны разгулявшеюся чернью, — это не могло не оскорбить монархических и аристократических чувств императрицы и ее вельмож; но солидарности между собой и побежденною стороною вообще они не чувствовали. И в самую бурную эпоху, в самый разгар революционных страстей, русская политика продолжала преследование своих целей: окан-

чивалась вторая турецкая война, штурмовались Измаил и Прага, совершался третий раздел Польши. Не было недостатка, со стороны консервативных интересов Европы, в заискиваниях и просьбах о помощи; была даже собрана русская армия на западных границах; но императрица все медлила, все мы не шли искать похмелья в чужом пиру. Вопрос: что же выиграет Россия от победы? Удерживал от деятельного вмешательства в чуждые России европейские дела.

С кончиной великой Императрицы все это изменилось. Русские войска были двинуты на помощь Австрии и Англии, ради интересов совершенно чуждых России.¹³ Война была блистательна, подвиги русских изумительны; но и в 1799 г., как и в 1878 г., можно было воскликнуть: горе победителям! Победы были напрасны, от плодов их не осталось и следа. Конечно, это горе было легче сносить, потому что и самые плоды русских побед принадлежали тогда Австрии. После этой первой попытки употребления русских сил для чуждых России целей, сейчас же последовало и разочарование. Император Павел, наученный опытом, верно понял отношения России к Европе. На записке графа Растопчина против слов: «Одна лишь выгода из сего (из войны 1799 года) произошла — то, что сею войной разорвались все почти союзы России с другими землями. Ваше императорское величество давно уже со мною согласны, что Россия с прочими державами не должна иметь иных связей кроме торговых. Переменяющиеся столь часто обстоятельства могут рождать и новые сношения и новые связи, но все сие может быть случайно, временно», — император Павел собственноручно написал: «святая истина».

Но урок был, к сожалению, скоро забыт. Побудительною причиной военных приготовлений Екатерины и войны Павла была мысль о сохранении и восстановлении интересов консерватизма и легитимизма, нарушенных французской революцией. Это была та мазка, при помощи которой проскользнула в русскую политику — забота об европейских интересах. Но уже и

этой побудительной причины не существовало, когда в 1805 году мы явились опять на выручку Австрии, подобно громоотводу притянувшей на себя удар, назначавшийся Англии. В это время сам Наполеон уже принял в свои могучие руки охрану консервативных интересов.

Поводом к этой второй, не в русских интересах затеянной, войне служило уже обуздание ненасытного честолюбия Наполеон. Но вполне ли справедливо это обвинение, тяготеющее над памятью великого человека — обвинение, принятое нами от его врагов англичан и немцев и, в новейшее время, от враждебных ему демократических писателей? А, главное, было ли это честолюбие направлено против России, имело ли оно в виду нанесение ей вреда, умаление ее политического значения, как это несомненно постоянно имеет в виду действительно ненасытное честолюбие Англии, с которым, однако же, мы так желаем ужиться? — И то и другое опровергается фактами.

Наполеон, 19-го брюмера, низверг директорию. Но нам ли было принимать на себя защиту революционной легальности? Первая война, которую он вел как самостоятельный властитель Франции, против Англии и Австрии, и со славою окончил столь умеренным Амиенским и Люневильским миром, была ему завещана директорией. Он возложил на себя императорскую корону, — но то было единственным средством доставить победу монархическому принципу, и опять-таки не нам и даже не европейским монархиям было за это на него негодовать. Он возобновил войну против Англии, и, с какой точки зрения ни смотреть на это, за исключением точки зрения английского властолюбия, — право было на его стороне. Он поддерживал этим традиционную политику Франции. Утвердив ее могущество и силу на материке Европы, не мог же он равнодушно сносить, что все ее богатые и цветущие колонии перешли в руки ее исторического врага. В этом еще нет признаков алчного, ненасытного честолюбия. С точки зрения общих всемирных инте-

ресов, политика Наполеона также была в этом случае разумна, справедлива и дальновидна. Не нашла ли себя даже императрица Екатерина вынужденною прибегнуть к политике вооруженного нейтралитета¹⁴, для противодействия английскому самоуправству на морях? Но сколько же раз более страдали от него интересы Франции, издавна ведшей обширную морскую торговлю, чем интересы России? Наконец, и с точки зрения легальности, не Англия ли была главною нарушительницею Амьенского мира тем, что не оставляла Мальты, как обязалась по договору? Присвоение себе острова на Средиземном море было, подобно теперешнему захвату Кипра¹⁵, вопиющим насилием, которого победоносная Франция, понимавшая свои интересы и свое достоинство, не могла снести. Но именно из этого возобновления войны с Англией, в котором все право было на стороне Наполеона, проистекла уже по необходимости, роковым образом, вся последующая его деятельность. При помощи золота и дипломатического искусства Англия с этих пор возбуждала против него все новых и новых врагов, надеявшихся загладить свои прежние неудачи; а победы над ними поставили Наполеона на вершину политического величия, и тем заслужили ему укор в ненасытном честолюбии. Не он был зачинщиком войн 1805, 1806 и 1809 годов; а разгромив своих врагов, не мог же он оставить в их руках ту силу, которую они повторно употребляли против него.

Уничтожение французского флота и, вследствие этого, невозможность произвести высадку на берега Англии, заставили изобретательный ум Наполеона прибегнуть к единственному действительному оружию против своего непримиримого противника — к континентальной системе — мере, неоцененной его современниками, но которая, тем не менее, могущественнейшим образом содействовала развитию промышленности на материке: — упомяну лишь о свеклосахарном производстве, которое она породила.

Конечно, Наполеона можно упрекнуть в неразборчивости средств, к которым он иногда прибегал; но и в этом противник его, Англия, по меньшей мере, ни в чем ему не уступала, прибегая к мерам, подобным бомбардировке Копенгагена, причем, однако же, подобными действиями ничего не возбуждала, кроме бесплодного и скоропреходящего негодования.

Но, каковы бы ни были действия Наполеона относительно Голландии, Италии, Испании, мелких германских государств, Пруссии и Австрии, — относительно России он постоянно высказывал самое дружеское расположение, искал ее союза, предоставлял ей самое широкое поле действия. Если, по роковому ходу событий, проистекавших из твердого и неуклонного стремления Наполеона достигнуть своей вполне законной, справедливой, неизбежно для него необходимой цели — обуздать и смирить Англию, близок он был к достижению всемирного владычества, — то он призывал Россию разделить его с ним, чувствуя, что одному ему оно было не под силу. Россия смело и с чистою совестью могла бы последовать этому призыву, потому что все могущество и величие, которые пришлось бы на ее долю в этом разделе, принадлежали и принадлежат ей по праву: в них не заключалось никакого хищения или неправого стяжания.

Призывая Россию в первый раз к союзу, Наполеон великодушно отпускал ей пленных, которых Англия не хотела обменять на французов, томившихся на ее кораблях-тюрьмах, не взирая на то, что русские попали в плен единственно по вине Англии и защищая ее интересы. Тогда обстоятельства еще не привели Наполеона в близкие отношения к России, и, конечно, он еще не мог предвидеть, что власть его будет простираться до берегов Немана. Он повторил свое приглашение в Тильзите, предоставляя России все выгоды, каких только она могла желать. Наконец, Наполеон не переставал предлагать своего союза и в то время, когда был побежден, справедливо полагая, что

его уничтожение не может лежать в истинных интересах России, и что, подобно тому, как он, наверху могущества и после победы, считал усиление и возвеличение России вполне соответственным с своими интересами, — так и Россия, после его поражения, поймет, что сохранение его могущества требуется ее собственными выгодами.

Из этого очевидно, что Наполеон считал союз с Россией не временною сделкою, имевшею для него важность при тех или других случайных обстоятельствах, а политическою необходимостью, существенною частью своей политической системы, независимо от временных отношений между обеими державами, независимо от победы той или другой стороны. Война между Россией и Францией справедливо казалась ему лишь результатом недоразумений, наговоров, интриг, непонимания истинных интересов обеих государств, и потому он надеялся и верил, что свидание с императором Александром рассеет этот напускной туман. Того же мнения держались и некоторые русские люди высокого ума и несомненной преданности и любви к России. Сперанский и Румянцев¹⁶ держались его еще до прискорбных недоразумений, поведших к войне 1812 года, а сам победитель Наполеона Кутузов был того же мнения и после этой войны.

В самом деле, могущество Наполеона нейтрализовало деятельность Англии и Австрии — этих главных противников нашей восточной политики; собственные же интересы Франции на Востоке далеко не могли уравновесить в его глазах выгод от искреннего содействия России его планам на Западе. Про Польшу он сам говорил, что считал ее лишь орудием в своих руках, которым он охотно бы пожертвовал, убедившись, что Россия без задних мыслей входит в его политические планы, которые были совершенно согласимы с тем направлением русской политики, какому следовали Петр и Екатерина. В причинах, побудивших Россию, с таким напряжением сил, вести против Наполеона войны 1805, 1807, 1812, 1813 и 1814 годов, невозможно

отыскать никакого существенно русского интереса. Они были предприняты в защиту чуждых нам целей и интересов: английских, прусских, австрийских, германских, пожалуй — итальянских, голландских, испанских и португальских, одним словом — интересов и целей европейских, но никак не русских. Мы низвергли не только совершенно безвредное, но существенно полезное для нас могущество Наполеона, для того чтобы укрепить могущество Англии и восстановить силу Австрии, которые и прежде и после этого всегда были нам враждебны, которые стояли и стоят поперек всем нашим исконным, законнейшим и справедливейшим стремлениям; мы разметали могучие когорты великого Императора для того, чтобы освободить Германию и вывести из ничтожества Пруссию, ни прежде, ни после этого не оказавших нам никакой действительной помощи в тех затруднительных обстоятельствах, в которые мы попадали, благодаря все той же Англии, все той же Австрии и самой Франции. И ради чего же мы так действовали? — ради сомнительной чести считаться деятельным и бескорыстным членом европейской политической системы — чести, которой все-таки, однако же, не достигли в сознании европейских правительств и европейского общественного мнения.

Не замечателен ли в самом деле факт, что из всех союзов, которые Россия, по смерти императрицы Екатерины, заключала с разными государствами, извлекали для себя пользу только наши союзники, достижению же наших целей эти союзы никогда не содействовали, а, напротив того, были лишь путями, связывавшими свободу наших действий? В критические для нас моменты, союзники наши всегда держали более или менее явно сторону наших врагов. Так, Священный союз, затормозивший нашу деятельность в пользу восставших Греков, держался лишь до тех пор, пока нам потребовалась его помощь; так и недавний союз трех императоров не пережил первого испытания. Единственное исключение из этого правила составляет наш союз с

Наполеоном после Тильзитского мира, доставивший нам Финляндию, Бессарабию, Белостокскую область и Тарнопольский округ Галиции.

После неудачи 1805 года — этого истинного похмелья на чужом пиру, — мы обратились было к преследованию наших собственных интересов, и начали обычную войну с Турцией. Но лишь только появился новый повод выказать наше сочувствие европейскому делу, — свое дело было поставлено на задний план. Начатая война велась кое-как, а все силы были сосредоточены для новой борьбы с Наполеоном. Чуждое нам дело — защиту Пруссии — приняли мы в такой степени к сердцу, что в первый раз, в нашей новейшей истории, прибегли к призыву народного ополчения. Результаты войны 1807 года были в своем роде не менее изумительны, чем результаты компании, веденной 70 лет после нее, — но только в обратном смысле. Если теперь нам приходится восклицать: горе победителям! то после Тильзитского мира мы имели повод к не менее парадоксальному восклицанию: благо побежденным!

Гений Наполеона указывал России на прежнюю Петровскую и Екатерининскую политику, с которой мы сбились после смерти великой Императрицы. Руководимые его указаниями, мы и вступили на нее, но увь! не на долго. Заботы об интересах Европы скоро вытеснили из нашей политики заботы об интересах России, самое понимание которых как бы утратилось. Менее чем через два года, мы стали уже тяготиться ее национальным направлением и стремились снова стать на европейскую точку зрения. В 1809 году, обязанные трактатом помогать Наполеону в его новой войне с Австрией, мы отбросили даже свою обычную во внешних сношениях легальность, и вели войну только для формы, чем и лишили себя случая возвратить исконное достояние России — Галицкую Русь. В следующем году, мы точно также нарушили эту легальность допущением торговли с англичанами через Архангельск. Действуя таким образом, мы

не могли не предвидеть, что это поведет к ссоре с Наполеоном, не столько по важности самих отступлений от трактата, сколько по выражавшемуся в них духу нашей политики. Мы как бы давали знать Наполеону, чтобы он на нас не рассчитывал, что мы ему не пособники, что наших русских интересов мы или не понимаем, или ставим их ни во что, в сравнении с более дорогими нашему сердцу интересами европейскими. Чувствуя и зная, что Наполеон понял нашу политику, мы готовились к борьбе с ним, хотя, может быть, и не ожидали, что она наступит так скоро, и потому вели войну против Турции вяло, не употребляли на нее должных сил и, таким образом, из-за преследования европейских интересов, лишились Молдавии и Валахии, упустили случай тогда еще освободить Болгарию, по крайней мере до Балкан, стать твердою ногою на Балканах и утвердить зарождавшуюся независимость Сербии в более обширных границах, чем это удалось впоследствии Милошу¹⁷. Когда неприятель вторгся в русские пределы, по каким бы то ни было причинам, он, конечно, должен был быть из них выгнан; но, тем не менее, грустно сознание, что Бородинская битва, оставление и пожар Москвы, разорение значительной части государства, — были в сущности жертвы, принесенные нами ради интересов нам чуждых, и, как оказалось впоследствии, — что, впрочем, и тогда можно было предвидеть, а некоторыми (Сперанским, Румянцевым) и предвиделось, — не только чуждых, но и прямо нам враждебных.

Как бы это ни показалось странным, но мы смело утверждаем, что в течение XIX столетия — Россия имела только одного истинного друга в Европе, который и хотел, и мог быть ей полезным, — это Наполеона I. Дружбу эту, конечно, выгодную и для него, — в политике другой дружбы не бывает, да и не должно быть, — выказал он нам делами, положительными услугами, а не словами только, как прочие наши друзья, нами благодетельствованные, спасенные и даже возвеличенные. Он готов был дать

нам и гораздо сильнее доказательства своей дружбы, если бы мы только захотели принять ее искренно, без задних мыслей, если бы мы решились быть только русскими и ничем более. Но мы предпочли быть европейцами и, ради Европы, собственными руками низвергли и погубили своего единственного друга, а потому, 18-го марта 1814 года, в стенах Парижа, окруженные торжеством и блеском победы — если бы ясно понимали сущность нами совершенного и его последствия — мы точно также как 19-го февраля 1878 года под стенами Константинополя, в виду куполов святой Софии, должны были бы воскликнуть: горе победителям!

Наша десятилетняя, славная в военном, но не в политическом смысле борьба против Наполеона не принесла нам никакой пользы. Правда, мы получили, в вознаграждение наших жертв и усилий, Царство Польское; но, не говоря уже о том, что то же самое и даже еще гораздо более мы могли бы получить и через Наполеона, вспомним те цели и намерения, с которыми мы делали это приобретение в 1815 году. Оно должно было послужить началом раздробления России и восстановлением Польши в пределах 1772-го года; великое политическое преступление Екатерины должно было быть искуплено отторжением девяти русских губерний, подобно тому, как в малом виде это уже было испробовано над Выборгской губернией. Результатом этой политики были два кровавых возмущения 1830-го и 1863-го годов.

Кроме этого сомнительной пользы приобретения, чего же мы еще добились? Мы усилили наших врагов (Англию и Австрию) и не приобрели ни одного истинного друга и союзника. Мы связали себя на долгое время вредною для нас политикою так называемой солидарности с Европой. Мы сочли себя обязанными нести огромную военную тягость ради устрашения революционного духа в Италии и между германскими студентами. Мы даже смешали и национальное движение Греции с революционным. Мы самих себя причислили, вопреки истории, этнографии и статистике, к числу

держав, по существу своему враждебных национальной свободе, и тем связали себе руки относительно Греков и Славян. Этой связывавшей нас веревки не могли разорвать войны 1828 и 1829 годов, она продолжала связывать и спутывать наши действия, как в 1853, так и в 1876, 1877 и 1878 годах.

Не захотев содействовать планам Наполеона, потому что они были направлены против интересов Европы, хотя содействие это не налагало на нас никаких иных обязательств, кроме преследований своих собственных, вполне законных и справедливых Петровских и Екатерининских планов, — мы предпочли поступить на службу к Меттерниху с явною уже обязанностью действовать вопреки очевиднейшим интересам России, вопреки действительно священным религиозным и национальным сочувствиям и стремлениям русского народа.

Стремления и сочувствия эти не могли, однако же, быть совершенно подавлены. Они вспыхивали от времени до времени в 1828, 1853, 1876 и 1877 годах. Но, с другой стороны, и противоположное им европейничанье в политике сохраняло свою силу. Традиция его хранилась преимущественно в дипломатических сферах. Поэтому и после 1815-го года внешняя политика России сохранила тот же характер двойственности, нерешительности, колебания между двумя притягательными полюсами интересов русско-славянских и интересов европейских, который она имела в начале столетия, или, правильнее сказать с самой смерти великой Императрицы, при которой русская политика знала только один русский интерес и ни о какой солидарности не заботилась. В этом заключается причина того обаяния, того ореола, которым окружен ее блистательный век в памяти потомства. Не собственно военные подвиги, не Кагул, Чесма, Рымник, Измаил и Прага придают ее царствованию лучезарный блеск. Русские войска совершали после нее подвиги не менее славные, даже еще более трудные, и притом против противников несравненно могущественнейших и искуснейших. Но эти новые подвиги, новые победы: Требия,

Нови, С.-Готард, Бородино, Лейпциг, двукратный переход через Балканы и многие другие — отчасти не имели ничего общего с интересами России, отчасти же результаты их были приносимы в жертву чуждым и враждебным нам европейским интересам, именно вследствие шаткости, неопределенности нашей политической точки зрения, заменившей твердый, исключительно русский политический взгляд Петра и Екатерины.

Так, когда, после долгого колебания, русское направление политики одержало вверх, и император Николай I объявил войну Турции в 1828 году, результаты ее были умалены почти до ничтожества, в угоду Австрии и ради соглашения с Англией. Когда, по добровольному уговору с Турцией, мы могли приобрести Молдавию и Валахию взамен контрибуции, мы предпочли лучше простить ей часть этого долга, чем причинить неудовольствие нашей верной союзнице по Священному союзу.

В 1849 году, когда Европа, ослабленная внутренними смутами, не имела возможности сколько-нибудь успешно противиться расширению нашего влияния на Востоке, мы опять стали на европейскую точку зрения и своими руками восстановили готовую рухнуть монархию Габсбургов¹⁸, исконную противницу нашей восточной политики. Некоторые результаты венгерской войны: именно ознакомление венгерских славян с русскими и временное освобождение их от мадьярского гнета — выставляют часто полезными для России и Славянства. Но очевидно, что не эти, побочные, косвенные результаты имела в виду русская политика, при оказании помощи погибавшей Австрии. Притом, если этот поход русских на Карпаты и послужил к сближению с нами некоторых славянских племен и к уничтожению мадьярского гнета, тотчас же, впрочем замененного гневом немецким, то это было лишь на короткое время, и в конце концов послужило лишь к его восстановлению и усилению. Если бы же, напротив того, Венгрия выделилась из состава Габсбургской монархии, — то, слабая и ничтожная, она не могла составить сколько-нибудь действитель-

ной преграды России на Востоке; напротив того, она должна была бы искать покровительства России, против которой мадьяры не имели тогда никакой враждебности. При слабости своей, Венгрия точно также не могла бы держаться системы угнетения относительно славян, а если бы и вздумала ее придерживаться, то это повело бы лишь к выделению славянских и румынских элементов из состава венгерского государства. Но, как бы это там ни было, — очевидно, что помощь, оказанная Австрии в 1849 году, была одною из главных причин неудачи Восточной войны. И в этот раз, как много раз прежде, наша политика с ее европейской точки зрения более всего повредила нашей политике, ставшей было в 1853 году снова на русскую точку зрения. Но и тут мы стали на нее опять-таки нерешительно, с оглядками, как и в продолжении всего XIX столетия. Вместо быстрого и решительного образа действий, мы приняли систему постепенных уступок, столь противоречащих внезапности и, можно сказать, резкости первого нашего дипломатического шага в Константинополе. И, как всегда, последствием этой медленности и нерешительности было то, что враги наши успели собраться с силами, приготовиться, соединиться и тем окончательно нанести нам поражение. И тогда мы верили в благодарность Австрии, в Священный союз, в доброжелательство, честность и бескорыстие Англии, хотели сговориться, сладиться с нашими противниками, которых даже и не признавали за таковых: и так же точно были обмануты в своих расчетах, как и теперь, благодаря все той же двойственности нашей политики, желающей, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. В результате же только волки и оказываются сытыми.

Из этого краткого обзора истории внешних отношений России в течение последних 80-ти лет, ясно оказывается, что всякое действие России, имевшее в виду соблюдение, охранение или восстановление интересов Европы, заставляло упускать из виду русские интересы, пренебрегать и жертвовать ими различными способами.

Напротив того, когда мы отбрасывали в сторону заботу о Европе — мы завоевали Финляндию и, следуя той же политике, очевидно, могли бы сделать несравненно важнейшие приобретения, достигнуть гораздо существеннейших целей.

С другой стороны, Европа, как только внутренние ее дела давали ей к тому возможность, постоянно противодействовала нам всякий раз, когда мы предпринимали что-либо в пользу свою или Славян, противодействовала всеми силами, какие в данный момент находились в ее распоряжении.

После этих неопровержимых, постоянно повторявшихся фактов, позволительно будет сделать вопрос: существует ли между Россией и Европой какая-либо солидарность, какая-либо общность политических интересов? Если же, как показывает 80-тилетний опыт, этой солидарности, этой общности не существует, то каким образом могут Россия и Европа составлять одну политическую систему государств? Не до очевидности ли ясно, что, по крайней мере в политическом отношении, Россия к Европе не принадлежит?

У нас твердо укоренилось убеждение в принадлежности России к Европе в смысле культурном, и из смешения этих двух совершенно различных точек зрения, политической и культурной, мы бьемся изо всех сил примкнуть к Европе и в политическом смысле, принося все большие и большие жертвы этому пагубному заблуждению. О культурно-историческом европеизме России я точно и определенно высказал свое мнение в другом месте, и теперь этого вопроса не касаюсь. Я готов даже согласиться (конечно, не иначе, как в виде риторической фигуры уступления) на эту нашу культурную принадлежность к Европе. Но что же из этого следует? Япония предприняла в последние десятилетия ряд реформ, выказывающих ее намерение усвоить себе плоды европейской цивилизации не в научном только, но и в политическом и, пожалуй, даже в бытовом смысле. Допустим, что реформа эта будет вполне удачна и

будет продолжать развиваться все в том же европейском духе, и что, через несколько десятилетий, это восточно-азиатское государство сделается до неузнаваемости похожим на свои европейские образцы. Примкнет ли через то Япония к политической системе европейских государств? Но оставим будущее и проблематическое. У нас на глазах Америка, которая, в культурном отношении, есть уже бесспорно кость от костей и плоть от плоти европейской. Самые прогрессивные элементы Европы XVII столетия переселились за океан, затем освободились от своей метрополии, и население штатов постоянно пополнялось переселенцами из всех образованнейших, культурнейших стран Европы. И что же? Принадлежат ли Северо-Американские штаты к европейской политической системе? Ответом на это служит один из политических догматов американцев — учение Монроэ!

Но Япония отделена от Европы всем материковым протяжением Старого света, а Америка — Атлантическим океаном, между тем как Россия с нею сопредельна. Возражение совершенно ничтожное. География имеет, правда, свое значение в этом вопросе, но в совершенно противоположном смысле, как мы сейчас увидим; главное дело состоит все-таки в том, что между Европою, с одной стороны, и Америкою или Япониею — с другой, не существует общности, солидарности интересов. Если бы они существовали, то при быстроте и удобстве теперешних сообщений, отдаленность не помешала бы их принадлежности к одной и той же политической системе. Географическое удаление, в соединении с разными другими условиями, оказывает то влияние, что интересы Европы и Америки — в настоящем, интересы Европы и Японии — в предполагаемом будущем — совершенно другие, большею частью не перекрещивающиеся, не сталкивающиеся между собою, и потому можно сказать только то, что Америка и Япония — не Европа в политическом смысле. Но именно сопредельность Рос-

сии с Европой причиной тому, что интересы России не только иные, чем интересы Европы, но что они взаимно противоположны, что, следовательно, в политическом смысле Россия не только не Европа, но Анти-Европа.

На чем же основан этот антагонизм? На двух главных причинах, совершенно неустраимых до окончательного торжества одной из сторон. На славянстве России — и на стремлении Англии к бесспорному преобладанию на азиатском материке, с которым связано и все ее морское владычество. К этому присоединяется еще и третья причина, меньшего значения и не столь неустраимого свойства: противоположность между православием и католицизмом, борцом за который является, впрочем более по предрассудку и традиции, Франция. Все эти три противоположности замечательным образом спутываются в один узел на Босфоре, в Дарданеллах и в Константинополе.

Сила и могущество Европы — в целом — в значительной степени покоится частью на костях Славянства, частью на его поте, крови и слезах. На костях Славянства основано самое существование, а не только могущество Пруссии, а с нею и могущество Германии. Но этот вопрос уже покончен историей еще в то время, когда оплот Славянства, — Россия, только что зарождалась. Те, на долю которых выпал жребий охранять его в то время — преимущество Польши, не только не исполнили своего назначения, но даже содействовали его гибели (например, призывом рыцарского ордена), и потому, между прочим, Польша и сама погибла. Непосредственный антагонизм между Россией и Европой или, точнее, между Россией и Германией даже и не возникал по этому поводу. Но всякое дело человеческое ведет за собою длинный, нескончаемый ряд последствий, и Германия до сих пор не может отрешиться и никогда не отрешится от своего антиславянского направления. Ее политические сочувствия всегда будут на стороне поработителей и угнетателей Славянства, не взирая на временные и

случайные политические комбинации, не взирая на временное возбуждение негодования на слишком уже бесцеремонных врагов его — негодования, которого не чужды иногда бывают даже и англичане. Опыт достаточно показал, что обольщаться этим негодованием и возлагать на него надежды не следует. Корни исторической вражды рас проникли слишком глубоко, чтобы это могло измениться.

Не столь радикален, как образ действий северных немцев, был образ действий немцев южных, итальянцев, мадьяр и турок, и потому на юго-востоке Европы политически могущественная Россия еще застала славянство в живых, и, несмотря на свое увлечение европеизмом, от времени до времени, вольно и невольно, частью ведением, частью неведением, оказывала ему помощь, то здесь то там, то так то иначе. Всякая подобная попытка была достаточна; чтобы возбуждать противодействие Европы. Пусть биржевая политика и вообще политический материализм говорят, что мы сами в этом виноваты: зачем де прерывать ход биржевых спекуляций из-за дела собственно до нас не касающегося? Лучше умалиться, принизиться, чем прерывать торжественное течение биржевых дел. Но и этот благой совет ничему не пособит. Всякие политические тенденции и направления скоропреходящи, непостоянны, а народные сочувствия, исторические инстинкты неискоренимы, и нет-нет, да и прорвутся совершенно нежданно и негаданно, как в 1876 году, заставят и политику и дипломатию выйти против воли из своей колеи, несмотря на твердо и незыблемо установившееся, по-видимому, дипломатическое мирозерцание. Да и за самих политических деятелей не только в будущем, но даже и в настоящем, разве можно поручиться? Вдруг провернется какой-нибудь Черняев, или Игнатьев¹⁹, не говоря уже о Потемкиных, и о других русских орлах такого-же, и даже еще более высокого полета. Это ведь также все в руце Божией, как это и Европе очень хорошо известно. Следовательно, ни на какое миролюбие полагаться нельзя

и меры надо принять радикальные. Народные влечения основаны на более прочном фундаменте, чем вчерашние, сегодняшние или завтрашние биржевые или дипломатические воззрения. Поэтому, никакое умаление или принижение не поможет и в будущем, как не помогало до сих пор. Никакое любезничанье, никакие услуги, никакие уступки, жертвы, отречения от самих себя — не помогут, как не помогали до сих пор. Антагонизм Европы и России, основанный на славянстве России, не только сохранится по прежнему, но будет все возрастать и возрастать, по мере возрастания внутренних сил России, по мере пробуждения и уяснения народного сознания, как Русского, так и других Славянских народов. Надо, впрочем, сказать, что этот биржевой взгляд на дело, этот политический материализм, никогда не руководил направлением русской политики. Ошибки ее происходили из совершенно иного источника, более идиллического свойства: от искреннего высокопочитания Европы и благоговения перед нею, а иногда даже от тщеславного желания заслужить похвалы и рукоплескания ее ораторов и журналистов.

В антагонизме России и Европы, на сколько он обусловливается славянством России — представителем материка Евразии является Австрия, как наиболее заинтересованная в этом деле, имея в резерве за собой Германию.

Если бы Славяне жили и страдали где-нибудь в глубинах материка, а не по соседству с столь жизненными пунктами, как Босфор и Дарданеллы, англичане довольно равнодушно смотрели бы на наше заступничество за угнетенных братьев, пожалуй, даже сочувствовали бы ему, так как склонны к филантропии, если она не противоречит более существенным британским интересам. Но теперь, страна, гордящаяся сочувствием всем угнетенным народам, подает руку на самое жестокое угнетение, на самое ужасное тиранство, какое только видел мир в новейшее время, потому, что, по ее мнению, освобожденные Славяне сделаются сторонниками, друзьями, союзниками России, и жиз-

ненный узел старого света — Босфор и Дарданеллы попадут в зависимость России, могущей получить через это возможность угрожать всемирному морскому владычеству Англии, которого последняя добивалась в течение всей новейшей истории, с самого царствования Елизаветы. Войны против всех государств, обладавших заморскими колониями, составляют сущность английской политики за все это время, и Англия предпринимала их под видом охранения европейского равновесия. Сначала черед был за Испанией, потом за Францией, во время Людовиков XIV, XV, XVI, революции и Наполеона. Присоединение Голландии к Франции дало желанный предлог овладеть наиболее важными колониями и этой последней. Таким образом, почти все колонии европейских государств подпали под власть Англии или под ее преобладающее влияние. Посредством этих же войн, веденных якобы из-за охранения европейского равновесия, а также посредством отдельных захватов, при всяком удобном случае, очутились во власти Англии: главные проливы — Гибралтар, Перим, Сингапур; острова при входах во внутренние моря, как например Малые Антильские; центральные пункты во внутренних морях, как Мальта, Ямайка; прибрежные острова, составляющие сторожевые, наблюдательные пункты, как Голголанд, Гонг-Конг, Кипр; пункты перекрещения океанских путей, как остров св. Елены, мыс Доброй Надежды; наконец, целые материки или обширные тропические страны, как Австралия и Индия.

Но что собственно значит всемирное морское владычество? Непосредственно море никакому владычеству не поддается. Одно торговое преобладание, доставляемое обилием капиталов, развитием промышленности, обширностью коммерческих сношений — непрочное, как доказал пример Ганзы, итальянских республик, Голландии. Переведенное на общепонятный язык, морское владычество означает политическую власть, или, по меньшей мере, почти исключительное преобладающее

политическое влияние во всех частях света, туземные государства которых не обладают достаточным военным могуществом, для сопротивления собственными силами флотам и десантам владычицы морей. В таком именно положении и находятся все части света, кроме Европы и Северной Америки. Австралия принадлежит уж бесспорно Англии. Африка пока не имеет большого значения по недоступности ее внутренности, но и на этом континенте преобладание Англии бесспорно. Южная Америка находится под политическим и торговым влиянием Англии. На Северную Америку, со времени усиления Соединенных Штатов, всякая надежда потеряна. Остается, следовательно, для довершения всемирного морского владычества, утвердить власть Англии над обширнейшим и богатейшим азиатским материком. Лучшие страны его уже подчинены Англии. В сохранении и распространении этой власти над Азией и заключается в настоящее время для Англии весь вопрос о всемирном владычестве. И тут-то именно, с того времени, как Россия собственными руками низвергла последнего и самого страшного из прежних противников Англии — Наполеона, является она новым противником Англии, уже не в виде морской, а чисто континентальной державы. Россия, и только одна Россия имеет возможность угрожать Индии, в случае нужды подать помощь Китаю, защитить Персию и, вследствие ослабления Турции, с одной стороны, овладеть проливами, и через них угрожать кратчайшему пути сообщения с Индией, с другой же, по соседству, сделаться наследницею богатейших стран Азиатской Турции. Опасение это и выразилось в оборонительном союзе Англии с Турцией, посредством которого она овладела Кипром. Воспользуется ли Россия своим положением, захочет ли противодействовать Англии в ее обладании лучшими частями Азии, явится ли она, таким образом, противником ее всемирного морского владычества — этого Англия не разбирает. Она ничем не хочет быть обязанной, ни умереннос-

ти, ни расчету, ни великодушию своею противника, но стремится утвердить свое владычество единственно на собственной своей силе. При этом, как оказывается из ее последних действий, Англия не хочет довольствоваться сохранением своей Индийской империи, чем прежде оправдывала свой образ действий относительно России, но имеет очевидное намерение прибрать к своим рукам, как Афганистан, так и открывающееся, по ее собственным словам, наследство в Сирии, Месопотамии и Малой Азии.

Собственно говоря, такое преобладание Англии над азиатским материком не может быть приятно другим европейским государствам; но здесь-то и является на помощь Англии славянский вопрос. Англия, подобно тому, как она отняла все лучшие колонии других европейских государств, прикрывшись маскою заботы о сохранении европейского равновесия, под видом противодействия господству Филиппа II, Людовика XIV и Наполеона, чем и заслужила любовь и уважение Европы, — так и теперь пользуется тем же предлогом, принимая на себя охранение Европы от грозного панславизма.

К этим двум главным и неустранимым причинам антагонизма между Россией и Европой, неустранимым потому, что если бы Россия, по совету наших биржевых политических материалистов, даже отказалась от исполнения обязанностей, налагаемых на нее ее славянством, и от всех выгод своего положения в Азии (что она почти постоянно и делает), то это нисколько не обезоружило бы ее врагов, которые все, подобно Англии, основывают свою политику не на миролюбии в расчетах, не на ложном и неуместном великодушии России, а на самой сущности вещей, независимой ни от каких политических самоограничений, — к этим двум главным и неустранимым причинам присоединяется еще третья, по моему мнению, не столь существенная — это защита католических интересов на Востоке. Защита интересов католичества совсем не то, что защита интересов пра-

вославия. Последнее ничего более не требует, как устранения угнетений, которые претерпевают православные; католичество же, как всегда и везде, где только может, домогается не свободы, а господства и преобладания над прочими христианскими исповеданиями, в особенности же над православием, для чего готово даже заключить союз с исламом. Защитницею этих интересов, не по действительному к ним сочувствию, а по предрасудку и традиции, является Франция.

По небывалому, исключительному совпадению обстоятельств, которое никогда более не повторится, эти три причины антагонизма устранялись преобладанием Наполеона в Европе. Сокрушить могущество Англии было его главной целью, ради которой он готов был пожертвовать многим; — но и жертвовать ему ничем не приходилось, потому что освобождение и возвеличение Славянства могло состояться лишь ко вреду и к ущербу другого враждебного ему элемента в Европе, элемента германского. Наконец, нежелание папы войти в его планы, несмотря на все соблазны и прельщения, не допускало Наполеона принять на себя защиту интересов католичества, влияние которого, при том же, вскоре после революции было слабо и ничтожно во Франции. Поэтому-то Наполеон и был прирожденный враг Европы и, следовательно, друг России. Интересы его были антиевропейские, точно также, как и интересы России. Он понимал это тогдашнее тождество интересов Франции и России, но Россия, прельщенная своим недавним европеизмом, не понимала и не хотела этого понять. Она не понимает и не хочет понять и теперь своего коренного, ничем не устранимого антагонизма с Европой, обольщаясь мнимой и невозможной с нею солидарностью Европа же, освободясь от своего грозного властителя, сейчас же это поняла и продолжает понимать до сих пор.

Мы слышим, однако, нередко вопрос: что такое Европа? Есть, говорят, европейские государства, но никакой Европы в политическом смысле не существует. Когда Пруссия и Австрия

отнимали у Дании Шлезвиг и Гольштинию, когда затем Пруссия присвоила одной себе эту сообща приобретенную добычу, когда она разрушила утвержденный и санкционированный всеми государствами Европы Германский союз, когда присоединяла к себе родственный Англии Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау и вольный город Франкфурт, а затем отобрала у Франции две богатейшие провинции; когда Сардиния, при помощи революции, изгоняла неаполитанского короля и присвоила себе его владения и овладела Римом; когда, наконец, под шумок Берлинского конгресса — собрания, обеспечивавшего так называемую Европу от властолюбия и притязательности России, — Англия овладела Кипром и наложила свой протекторат на азиатские владения султана, — где была при всем этом Европа? Не думаем, чтобы такое сомнение было основательно. Европа не географическая (этой, пожалуй, что и нет), не культурная только, а именно Европа, как политическое целое, как политический организм, существует несомненно. Мнимое противоречие бездействий в одних случаях и напряженной деятельности в других — очень легко примиряется, и новейшие события, в особенности овладение Кипром, именно и подтверждают существование Европы, как политического целого.

Всякий организм — будет ли то индивидуальный, как человек, или сложный, как государство, или коллективный, как система государств, — получает сознание о своем отдельном бытии только при пробуждении сознания своей противоположности чему-либо. Человек сознает себя как самостоятельное, отдельное я, потому только, что органы чувств доставляют ему свидетельство о существовании внешнего мира — не-я, которое оказывает на него воздействие. Если бы на земле существовал только один народ, то понятие о национальности не могло бы родиться. Греки, не взирая на то, что в культурном смысле противоплакали себя другим народам — варварам, и даже не взирая на то, что имели некоторые учреждения общие всем греческим го-

сударствам, знали только Спартанское, Афинское и проч. государства, но не имели понятия о Греции, как о политическом целом, пока оно не пробудилось в них борьбою с Персами. Также точно и государства Европы получили понятие о себе, как о политическом целом, от противоположения мусульманскому Востоку. Вследствие борьбы с ним явилось сознание о себе, как о религиозном и политическом целом, которое называлось тогда не Европою, а всем христианством — *toute la Chrétienté*. Понятно, что и в настоящее время сознание о политическом целом, именуемом Европою, точно также является результатом сознания существования чего-то ей политически противоположного, а это противоположное, эта Анти-Европа, и есть Россия и представляемый ею Славянский мир. Европа терпела все иллегальности, сопровождавшие создание итальянского и германского единства, потому что были внутренние явления, только несколько усиливавшая одни и несколько ослаблявшие другие ее элементы, — явления, которые поэтому могли возбудить лишь частное противодействие отдельных государств. Англия овладевает Кипром. Это никому не может быть приятным, для некоторых довольно безразлично, для других, как для Франции и Италии, крайне невыгодно, даже оскорбительно; но это не возбуждает противоречия и борьбы, потому что сообразно с интересами целого, т.е. Европы в виду ее антагонизма с Россией. Действие это, иллегальное по форме, дерзкое по выбранному для него времени, однако же допускается без протеста, потому что оно направлено против общего врага — России. Хищническое овладение островом, с явною целью воспользоваться им для захвата всего азиатского наследия Турции, имеет одно свойство, которое искупает всю неправду его даже в глазах ближайшим образом заинтересованных в этом деле государств — это есть акт враждебный России. Этого довольно, чтобы освятить это насилие в глазах Европы. Это ли еще не доказательство существования Европы, как политического целого, когда не что иное как

именно интересы этого целого заставляют замолкнуть интересы отдельных государств, чувствительным образом нарушенные? Явное нарушение равновесия на Средиземном море получает название охраны этого равновесия. Европа, как целое, торжествует здесь над отдельными интересами Франции и Италии. Такие положительные и незастенчивые деятели, как английские государственные люди; конечно, пользуются общеевропейским направлением для достижения своих частных целей и, конечно, все это видят, но тем не менее прощают это отважному бойцу за его общеевропейское дело. Свобода проливов считается общеевропейским интересом, только под влиянием опасения, что иначе они перейдут под власть России; но пусть свобода эта будет нарушена Англией, пусть займет она Тенедос или даже сами Дарданелльские замки, как, по слухам, он обнаруживает к тому поползновения — никто против этого и не пикнет.

Что же такое Европа в политическом смысле? Это есть совокупность европейских государств, сознающих себя как одно целое, интересы которого противоположны интересам России и Славянства. Иного значения и смысла, кроме этой постоянной враждебности к нам, политическая Европа, конечно, не имеет. Со стороны Европы этот антагонизм есть не только факт существующий, но и факт ясно и отчетливо сознаваемый; со стороны же России и Славянства он не более как факт существующий, но, к сожалению, еще недошедший до их сознания.

Если настоящая война, все ее жертвы, все горе нами перенесенное, все ошибки нами сделанные, все криводушие наших противников и союзников, все оскорбления нами претерпенные — будут иметь своим результатом, что факт этот достигнет наконец до нашего сознания, станет нашим политическим догматом, то, несмотря на всю горечь испитой нами чаши, мы не напрасно воевали, не напрасно тратили достояние и кровь России. Такой результат был бы драгоценнее всяких материальных приобре-

тений, всякого видимого успеха, даже такого как овладение проливами и водружение креста на куполе святой Софии.

Отыскивая основную причину нашей политической неудачи, после блистательнейших военных успехов, мы нашли ее в направлении нашей политики в течение всего XIX столетия, которая, несмотря на кажущийся блеск некоторых эпизодов нашей новейшей истории, была в сущности одною огромною неудачей и которая, после не только блистательной, но и плодотворной внешней государственной деятельности XVIII столетия, завершилась на наших глазах подчинением почти всех турецких земель, как освобожденных, так и не освобожденных, как в Европе, так и в Азии, преобладающему влиянию наших отъявленнейших врагов — Англии и Австрии. Чтобы еще более убедиться в этом, стоит только взвесить, с одной стороны, результаты политики России в XIX веке, сравнительно с результатами, достигнутыми политикою других государств; с другой же — сравнить результаты нашей внешней политики в XIX и в XVIII веках.

Об Англии собственно нечего и говорить. Вся ее история в течении XIX века есть ряд непрерывных торжеств. Она победила всех врагов своих не собственными силами, а искусством заставлять, как друзей, так и врагов своих, работать для достижения ее целей и тем утвердила свое владычество во всех частях света. Австрия и Пруссия грызлись за нее против Наполеона и довели себя до гибели, от которой избавились лишь благодаря России, которая также почти непрерывно, в течение 15-ти лет, враждовала, преимущественно из-за английских интересов, с Наполеоновскою Францией, единственным государством, предлагавшим ей свою искреннюю, на обоюдных выгодах основанную и делами, а не словами доказанную дружбу. Подобным же образом умела Англия заставить наследника великого Наполеона способствовать ее планам против России, с которою она вступила во враждебные отношения тотчас после поражения,

преимущественно руками России же, великого Императора. Собственные силы Англии ничтожны и все более и более уменьшаются, по мере того, как умаляется значение флотов в решении великих международных распрей. Ее могущество и сила — один призрак, и если, не взирая на это, успехи ее столь поразительны, то это доказывает, что миром политическим управляет не столько самая сущность вещей, сколько те, большею частью неверные и предрассудочные понятия, которые люди составляют себе о ней. Чтобы победить Англию, надо только иметь смелость посмотреть на вещи прямыми глазами, отрешиться от предрассудков, давно уже потерявших всякий смысл. Но, каковы бы ни были силы Англии, она никогда не употребляла их иначе, как в свою собственную пользу; никогда не вела войн в чьих-либо чужих интересах; никогда не задумывалась бросить ли союзника, если уже выжала из него всю пользу, которую он мог ей доставить; никогда не упускала случая воспользоваться расположением политических созвездий. Одним словом, политика ее была прямою противоположностью политике русской — в чем и заключается вся ее сила.

Пруссия, из маленького государства, спасенного от конечной гибели Россиею, освобожденного ее помощью из подчиненного, вассального положения, — собственным искусством, неутомимыми трудами, направленными к никогда не упускаемой из вида цели, но все-таки при прямом содействии России, возвысила себя до значения первой европейской державы. В политике ее встречаются ложные шаги, несообразные с ее действительными силами, как в 1806 году; в ней были моменты слабости, как в 1848 г.; но все же Пруссия постоянно имела в виду не посторонние и чуждые ей, а свои собственные чисто прусские цели; прусскую окраску сумела она дать и общегерманским стремлениям. Нечего и упоминать, что все 8 войн, веденных Пруссией в XIX столетии, из коих было 6 удачных и 2 неудачных, имели в виду лишь прусские, а также и германские интересы,

которые она слила с прусскими, — и ничего кроме них. При этом, сознав раз историческую законность и справедливость своих целей, она не останавливалась перед нарушением дипломатической легальности, хотя стоявшие на пути ее преграды были не чета Парижскому трактату. Ее не устрасили ни Лондонский договор, гарантировавший целостность и неприкосновенность Датской монархии; ни еще более торжественный, всеевропейский акт Венского конгресса, установивший Германский союз; ни права независимых германских государей Ганновера, Гессен-Касселя и Нассау; ни права вольного города Франкфурта.

Еще блистательнее — успех, увенчавший политику законного национально-исторического эгоизма Италии, или, точнее сказать, ничтожного, третьестепенного Сардинского королевства, преобразовавшегося в первостепенное государство.

Австрия, конечно, не могла преследовать национальных целей в своей политике, ибо самое бытие ее есть отрицание идеи национальности. Но за то австрийская политика постоянно преследовала свои династические цели, которые, по необходимости, заменяют для нее цели национальные. После крушения Меттерниховой системы, Австрия приняла политику более рискованную и потерпела сильные неудачи; но в настоящее время она вознаграждает их за счет России и Славянства, постоянно ею оскорбляемых, и поприще своих интриг переместила с Апеннинского на Балканский полуостров. Войны ее были большею частью неудачны — именно пять из девяти, веденных ею в течении XIX века; а между удачными была лишь война против Дании — основанная на ложном расчете; но тем не менее, все ее войны и все ее союзы имели постоянно в виду лишь Габсбургские династические интересы. Результаты этой политики были далеко не столь блистательны, как результаты политики английской, прусской и итальянской, и значение Австрии, сравнительно с началом столетия, в особенности же в сравнении с временем, последовавшим за 1815 годом, потер-

пело значительный ущерб. Но, если мы примем во внимание ничтожность внутренних сил Австрии, столь справедливо оцененных графом Дерби, антагонизм составляющих ее элементов, наконец, самое ее географическое положение, по которому она окружена со всех сторон сознательными или бессознательными врагами, — то нельзя не удивляться достигнутым ею результатам. Подобно аббату Сиэсу²⁰, проведенному бурное время конвента, не попав на эшафот, она может с гордостью отвечать на вопрос: что делала она в течении трех четвертей столетия? — *j'ai vécu*²¹. Этим сохранением своего существования обязана она все той же политике, постоянно преследующей свои, а не чужие цели, которая так возвысила Англию, Пруссию и Италию.

Если политическое положение четырех рассмотренных нами государств усилилось, или, по крайней мере, осталось приблизительно на той же точке, как и в начале столетия, то нельзя того же сказать про Францию. В настоящее время ее положение, очевидно, менее благоприятно, не только чем в блистательные дни обоих Наполеонов, но и чем во времена Луи-Филиппа. Оно, в течение всего столетия, беспрестанно колебалось, то возвышаясь, то опускаясь. Но сообразно с этим и французская политика отличалась непостоянством направления. Она не преследовала одной национальнoй цели, а часто служила орудием для чуждых и посторонних ей целей, различаясь однако тем от политики России, что эти отклонения не носили на себе систематического характера, а были последствием увлечения то одним, то другим политическим предрассудком. Замечательно, что судьба Франции, главнейшим образом, зависела от ее отношений к России. В начале — вина их враждебных отношений, столько повредивших обеим, падает вполне на Россию; с половины же столетия — исключительно на Францию. Между тем как Англия, Австрия даже Германия, сверх общеевропейских причин вражды к России, имеют каждые свои особые побудительные

причины к этой враждебности, — Франция этого последнего рода причин не имеет. Поэтому Наполеон I, которого судьба поставила в антагонизм с Европой и который следовал чисто французской политике, всегда искал союза с Россией. Вот почему также, враждебность к России, приносящая другим непосредственные выгоды, — Франции всегда вредила не менее, чем России.

Положение России в начале столетия, после столь блистательной и успешной национальной политики Екатерины, было самое благоприятное. Все наперебой искали ее дружбы, и она была истинною решительницею судьбе Европы. Мы уже говорили, в какую сторону должно было бы направить ее ясное понимание своих целей и интересов. Чего бы не могла она достигнуть, следуя этому пути? Играя вторую роль при Наполеоне, она неизбежно заняла бы первую после его смерти, когда неминуемо должна была разгореться война между поработенною Европой и поработившею ее Францией. Руки России были бы развязаны. Константинополь и пролив легко сделались бы ее достоянием. Но она избрала ложный путь, употребляя свои материальные и нравственные силы, собранные Екатериной, в интересах своих прирожденных противников, которые не могли обратиться в друзей, несмотря на личное расположение людей, заправлявших их политикою. Но, тем не менее, значение этих сил, независимо от их правильного или неправильного употребления, что могло обнаружиться лишь впоследствии, давало ей неоспоримое первенство в Европе. Но первенство это было только видимое, кажущееся. Силы европейских государств, Англии, Пруссии и Австрии, были употребляемы для достижения их собственных целей. Силы России содействовали им в этом, а собственные ее цели были пренебрежены, забыты. Поэтому, весьма естественно, что первенство России могло сохраниться только до тех пор, пока она довольствовалась внешностью, формою, продолжая напрягать свои силы и употреблять свое влия-

ние все для тех же чуждых ей целей, как это было в эпоху конгрессов, в первые годы греческого восстания, даже в 1828 и 1829 годах, когда она, ради этих целей и интересов, почти не воспользовалась плодами своих побед; наконец, в 1849 г., когда она спасла Австрию, и в 1851, когда она своим словом разняла, готовых броситься друг на друга, своих союзников. Но, как только Россия захотела употребить в свою пользу этот союз, который поддерживала с такими жертвами, не требуя, впрочем, ничего кроме честного и дружественного нейтралитета, — союз рушится. Рушится и преобладание России, из которого она, во все время его существования, не извлекла для себя ни малейшей пользы, — и переходит к Франции, и тоже не на пользу, а от нее, опять-таки при содействии России, к Германии.

Последняя победоносная война ставит Россию, вследствие все того же политического направления, в положение во многих отношениях худшее, чем Парижский мир. Это не фраза, внушенная разочарованием от неосуществившихся надежд, — а горькая действительность, доказываемая сравнением тех уступок, которые сделала Россия на Парижском и на Берлинском конгрессах.

Территориальные уступки 1856 года ограничивались клочком Бессарабии, весьма важная часть которой нам и теперь не возвращается, а возвращаемая теряет всякое значение вследствие перехода Добруджи и части Болгарии к враждебной нам Румынии. Теперь же уступлена нами вся забалканская Болгария, урезана Черногория, возвращены Баязед и Алашкертская долина. Все эти земли ведь принадлежали нам, или нашим друзьям и союзникам, хотя бы и короткое время.

В 1856 году мы должны были отказаться от протектората над Сербией, Молдавией и Валахией. Уступка неважная, чисто формальная, которая только избавляла Россию от обязанности наблюдать за славянским движением в Сербии, и дала возможность помогать и содействовать ему. Отказ от протектората не помешал однако проходу русских войск через Румынию. При-

том протекторат этот заменялся чисто номинальным протекторатом Европы, который нисколько не увеличивал ее деятельного влияния в ущерб России. Теперь же Румыния поставлена в прямой антагонизм с Россией; Черногория отдана под полицейский надзор Австрии; Черногория и Сербия поставлены в торговую от Австрии зависимость, за которую, по естественному ходу вещей, не замедлит последовать и зависимость политическая; целые две славянские провинции приобретаются Австрией, из рук которой их гораздо труднее будет вырвать, чем из рук разливающейся Турции. Одним словом, значение и влияние России на Западе Балканского полуострова бесспорно уменьшилось сравнительно с порядком вещей, установленным Парижским трактатом. Значение же Австрии возросло в огромных размерах, ибо сопротивлением, встреченным австрийцами при занятии Боснии и Герцеговины, нечего увлекаться. Оно уже сломлено и послужит еще предлогом к окончательному утверждению австрийской власти в этих местах. То же придется сказать и о значении и влиянии России, сравнительно с значением и влиянием Англии, к югу от Балкан. Сверх этого, вся Азиатская Турция поступает под протекторат Англии. Европе казалось нестерпимым, что, по Кучук-Кайнарджискому трактату, Россия имела право вмешательства в пользу христианских подданных Турции; теперь же это вмешательство по всем отраслям управления передается Англии, к ее величайшему удовольствию.

По Парижскому трактату, Черное море было объявлено нейтральным, ни чьи военные флоты не должны были на нем появляться; а теперь появление английского флота будет зависеть от произвола султана, а произвол султана — от приказаний Англии. Россия не должна была иметь приморских крепостей на Черном море. Насколько этот пункт касался национального достоинства России, настолько и теперь, хотя и в более вежливой форме, Батум составит такую же неполную собственность России, как прежде Севастополь и другие прибрежные пункты,

«ради некоторого обеспечения свободы Черного моря», как изволил выразиться Салисбюри в парламенте. Сверх всего этого нам угрожает еще занятие Англией Тенедоса, если даже и не самих Дарданеллских замков.

Но, может быть, эти невыгоды уравниваются приобретениями, сделанными Россией: основанием вассального Болгарского княжества до Балкан, приобретениями в Малой Азии, возвращением клочка Бессарабии? Но Болгарский народ едва ли может быть доволен этою полумерой, которою, отделенные от него братья преданы эллинизации, румынизации и, только формально ограниченному, произволу турок. Всякий по себе знает, что обманутая надежда оставляет более горечи в сердце, чем неосуществленное желание. Как Болгары, так и прочие Славяне будут видеть в своей неудаче — бессилие России и будут обращаться за помощью уже не к ее силе, а к благорасположению Европы, что, впрочем, им и рекомендуется; и это благорасположение будет даваться им по мере их отчуждения от России. Поклонись мне — и все блага земные будут принадлежать тебе — будет им обещано. Многие ли устоят против такого искушения? Единственная горькая надежда, на которую мы еще можем положиться, основана, как я уже говорил, на том, что ненависть к Славянству переселит политический расчет. Что касается до Малой Азии, то очевидно, что сравнительно неважные приобретения, там сделанные, не уравнивают перехода всего остального в более или менее замаскированное распоряжение Англии. Клочок же Бессарабии с избытком оплачивается враждебностью Румынии, значение которой усиливается распространением ее территории на правый берег Дуная.

Но оставим частности и взглянем на общее положение России в восточных делах. Политика России, по отношению к Турции, очевидно, может быть двойка: 1). Или Турция должна оставаться достаточно сильною, для охранения своей самостоя-

тельности. В этом случае решение вопроса, интересующего Россию, предоставляется будущему, причем шансы этого решения в пользу или во вред России остаются неизвестными, и задача ее — склонить их сообразно своим выгодам — остается открытою. Турция может, конечно, подпасть в этом случае более или менее сильному влиянию враждебных России государств, как перед Крымскою войною; но может также подчиниться влиянию России, как во время Хункиар-Скелесского договора, или перед свержением Абдул-Азиса. Пролиты, составляющие настоящий узел вопроса, с политической точки зрения остаются во власти самостоятельного государства, ревниво охраняющего свою самостоятельность, в чем для России не заключается ни оскорбления, ни непосредственной опасности. С этой точки зрения смотрела Россия на вопрос при заключении Арианопольского мира; она же имелась в виду и в Парижском трактате.

2). Или Россия должна ослабить Турцию до лишения ее всякого самостоятельного значения. Была ли такая политика своевременна или нет, но самый смысл войны за освобождение Болгар не допускал уже иного решения, а наш военный успех его оправдывал. Но в таком случае, ослабленная Турция должна была подпасть под полную и исключительную зависимость от России. Очевидно, что именно эта цель имелась в виду при заключении Сан-Стефанского договора, что только она одна и согласовалась с интересами России, ибо в противном случае Турция неминуемо подпадала под зависимость отъявленных врагов и противников России — Англии и Австрии. Никакой середины тут быть не могло. Наступил кризис, и исход получился самый неблагоприятный.

Турецкая часть Восточного вопроса, не менее чем вопрос Польский, составляет узел внешней политики России со времен Петра. Все, что во внешней деятельности России не имело в виду их правильного решения, было отклонением от настоящей ее цели. Следовательно, неблагоприятное для России разре-

ние восточного кризиса не может считаться неудачею второстепенною, несущественною, а затрагивает самую сущность международного положения России. Но, с другой стороны, и причиною этой неудачи, как мы старались показать, были также не случайные, личные, или временные ошибки, а общее направление политики, которой Россия следовала почти неизменно в течение последних восьмидесяти лет. Следовательно, мы не можем не признать, что, в сущности, с самого начала столетия, действительное политическое значение России не возвышалось, несмотря на огромное усиление ее внутренних сил и средств, превосходящее усиление всех прочих европейских государств, — а постепенно падало, уклонившись от Екатерининских путей, не взирая на то, что упадок этот прикрывался, в течении почти 40 лет, от 1815 по 1853 год, блистательною маскою политического преобладания.

К такому же результату приводит нас сравнение результатов русской политики в течении XVII и XIX столетий.

В течении XIX столетия Россия вела 12 внешних войн с европейскими государствами, из коих семь были предприняты, как мы это показали выше, в интересах ей совершенно чуждых и даже враждебных. Само собою разумеется, что такое бесплодное напряжение сил не могло привести к благоприятным последствиям. Наружным, видимым выражением этой политики было то, что приобретения России в это время ограничились лишь одним Царством Польским, настоящим ящиком Пандоры, приведшим Россию уже к двукратной внутренней войне и к усилению польского элемента в западных губерниях. Без этого пагубного приобретения, центр Польских волнений находился бы в Пруссии, или Австрии, а западные губернии продолжали бы русеть, как во времена Екатерины.

Правда, что в XIX же столетии были присоединены к России Финляндия и Бессарабия, но первое присоединение было сделано в тот короткий период, во время которого Россия дей-

ствовала в Екатерининском духе, отбросив было заботы о Европе, и соединилась с тем, кто считался общеевропейским врагом. Что же касается до Бессарабии, то, по ходу войны 1806-1812 года, от которой нас беспрестанно отвлекали европейские соображения, можно утверждать, что, собственно говоря, мы не Бессарабию приобрели, а упустили приобретение Молдавии и Валахии.

В XVIII столетии Россия вела 11 войн, которые все, за исключением нашего участия в Семилетней²², были ведены в прямом и непосредственном интересе России; да и про Семилетнюю войну можно сказать, что то была лишь случайная ошибка, война, предпринятая без достаточных оснований, без ясно осознанной цели, но все-таки не война, веденная в чужих интересах. Зато и результаты этой Петровской и Екатерининской политики были совершенно иные, чем в XIX столетии. Они заключались в присоединении в Европе 17 губерний и областей, с пространством в 15,000 кв. м. и с населением в 18.000.000, доставивших России побережья трех морей; в воссоединении с нею ее исконного достояния; в возведении ее на такую ступень могущества, что, к началу нового столетия, Россия сделалась решительницею судеб Европы, и могла употребить приобретенную ею силу и счастливое политическое положение для вознесения себя на мировую высоту, вместо чего она предпочла принести себя в жертву ложному политическому идеалу, причислив себя — не формально только, а всем сердцем и всею душой — к европейской политической системе государств.

Нам можно возразить, что, если приобретения России в XIX столетии, на западной нашей границе, далеко уступают, по их обширности, населенности и политическому значению, приобретениям XVIII века, то причину этого можно найти в том, что всякому приобретению должен же ведь наступить конец и что в XVIII столетии все существенное в этом отношении было сделано, так что XIX-му ничего более делать не оставалось.

Многие, действительно, это утверждают, говоря, что Россия и без того уже слишком велика, и поют известную песнь на тему излишней обширности России. Но на рост государства нет определенной мерки. Нельзя сказать, что государство слишком велико, потому что включает в себе столько-то и столько квадратных миль. Можно лишь сказать, что оно довольно велико, если собрало под свою руку весь свой народ, если получило границы, которые дают ей внутреннюю безопасность и полную свободу действий. Но ни первого, ни второго Россия еще не достигла, следовательно, ей осталось еще кое-что приобрести и в XIX столетии. Еще около четырех миллионов русского народа находится в подданстве иностранного государства, — народа, населяющего область, составлявшую некогда достояние России. Но скажут, что и другие великие народы также не собрали всех соплеменников своих в одно государственное целое, что есть англичане вне Англии, французы вне Франции, немцы вне Германии и итальянцы вне Италии. Но в каком положении эти англичане, французы, немцы и итальянцы? Про англичан собственно говорить нечего. Единственные англичане вне английских владений — граждане Соединенных Штатов, отделившиеся сами от притеснявшей их метрополии, положившие начало новой национальности и не имеющие ни малейшего желания возвратиться в британское лоно. Но и прочие перечисленные народности, в огромном большинстве случаев, составляют или господствующий элемент в независимых государствах, или, по крайней мере, пользуются полною национальною независимостью и равноправностью с господствующим племенем, так что едва ли имеют желание променять свое господствующее, привилегированное или, по меньшей мере, независимое и равноправное положение на присоединение к своему главному национальному центру. Так, французы Бельгии образуют не только независимое извне и свободное внутри Бельгийское государство, но и господствуют в нем над элементом фламандским, ибо офици-

альный язык политики, суда, администрации, язык науки, литературы и общественной жизни в Бельгии — французский. Также точно и французы Женевы, Невшателя и некоторых других швейцарских кантонов пользуются полною национальною и гражданскою свободою. Сказанное о бельгийских французах вполне относится и к австрийским немцам, семь или восемь миллионов которых, совокупно с четырьмя миллионами мадьяр, господствуют над 25 миллионами своих австрийских, ненемецких и немадьярских, сограждан. Но немцы Германии не успокоились, пока не притянули к себе немцев Гольштейна и Шлезвига, которые не имели преобладающего значения в датском государстве, хотя и пользовались всею полнотою гражданских и политических прав наравне с настоящими датчанами. Точно также не успокоились и итальянцы, пока не выручили из неволи своих ломбардских и венецианских братьев; а теперь они явно заявляют свои права не только на действительных итальянцев Тироля, Корсики, Ниццы и Мальты, но даже и на мнимых итальянцев Истрии и Далмации. Итальянцы Тессино столь же независимы, как и французы Женевы и, вероятно, точно также не желают перемены в своем положении.

Таково ли положение русских в Галиции и в русской Венгрии? Составляют ли они в этих странах племя господствующее, или хотя бы только национально и граждански свободное? Не подчинены ли они невыносимому немецкому, польскому и мадьярскому гнету, и не имеет ли, следовательно, Россия права и обязанности освободить эти четыре миллиона своих соплеменников и возвратить их — этнографическому и историческому отечеству?

Конечно, Россия не имеет подобных прав на Молдавию и Валахию. Но жители этих стран не сочли ли бы, в начале нынешнего столетия, за величайшее благо, за осуществление всех своих стремлений и желаний — присоединение к единой России? А с другой стороны, не доставило ли бы это присоеди-

нение величайших выгод России, как в экономическом, так и в политическом отношении? Не предотвратило ли бы оно зарождение того антагонизма против всего русского и славянского, которым заразилась, если не масса румынского народа, то румынская интеллигенция, при посредстве развития революционных тенденций 1848 и 1849 годов, галломании князя Кузы²³ и офранцужения языка и литературы? Насколько облегчилась бы занятием твердого положения на Дунае задача освобождения и объединения Славянства? Даже и после 1829 года присоединение это было еще возможно и полезно. Теперь, конечно, обстоятельства переменились. Но, если благоприятные, для присоединения Нижнедунайских областей, обстоятельства невозвратно упущены, то, для сохранения непосредственной связи с Славянством, было необходимо привлечение Румынии на свою сторону, хотя бы это и стоило нам некоторых жертв. Между тем, все было сделано для ее отчуждения.

Наконец, в завершение Екатерининских приобретений, нам необходимо было обратить Черное море, — единственное из всех морей, омывающих наши берега, которое соединяет условия незамерзания зимою и близости к центру нашего политического могущества, — в нашу полную собственность, с свободным, и притом свободным для нас одних, выходом и входом.

Можно ли, следовательно, сказать, что, после великих присоединений восемнадцатого века, девятнадцатому уже не оставалось делать ничего существенного для достижения Россией полного национального роста и для приобретения ею полной свободы действий, зависящей от обладания морем, омывающим ее южные границы, от свободы выхода из него и входа в него, от возможности заграждения его для всех врагов?

Из этого сравнительного обзора результатов русской политики в XIX столетии, как с результатами, достигнутыми в то же время политикою главнейших европейских государств, так и с результатами русской политики XVIII века, очевидно, что русская по-

литика и дипломатия не заслуживают тех похвал, которые рсточаются ей иностранцами, частью лицемерно, в роде похвал лорда Салисбюри²⁴, частью от непонимания дела. Русская политика и дипломатия XIX века обязаны своею славою заслугам своих предшественниц — политике и дипломатии XVIII столетия, в особенности славного Екатерининского времени, а также тому недоверию, которое внушало ее, к сожалению слишком искреннее, бескорыстие и готовность жертвовать собою. Иностранцы не могли себе вообразить, что мы так легко отказались от своих славных политических преданий и так легко перешли от школы Екатерины к школе Меттерниха, весьма сообразной с австрийскими, но ни как не с русскими интересами, к учению о сохранении европейского равновесия и европейской солидарности. Они, поэтому, видели необыкновенную тонкость и ловкость там, где ничего подобного не было. Во время Крымской войны ходил рассказ, что английский корабль, будто бы, вошел в один из проходов между укрепленными островами Свеаборга, которым мог проникнуть до гельсингфорского рейда. Корабль осторожно подвигается, но в него не стреляют из предполагавшихся грозных орудий. Наконец, он останавливается и поворачивает назад, предполагая военную хитрость, засаду, которая должна обратить его в щепки, если он пойдет дальше. На деле же оказалось, что проход вовсе не был вооружен. Весьма вероятно, что это только анекдот; но, в применении к репутации нашей политики и дипломатии XIX века, он представляет верную ее эмблему. Но этот отвод глаз, эта фантазмагория едва ли еще может продлиться. После Берлинского конгресса и обстоятельств, к нему приведших, глаза у всех открылись, и положение России становится до крайности опасным.

Наша последняя цепь неудач есть только кульминационный пункт того политического направления, которому следовала Россия, почти без перерыва, в течение последних 80 лет; она потому только кажется столь поразительною, что прежде мы жертвовали в пользу других своими средствами, своими силами как-бы от

избытка их, и результаты этих жертв часто маскировались блестящею внешностью, а истинное значение их проявлялось лишь по истечении долгого времени, когда уже скрывались от непосредственного наблюдения причины, их произведшие. Теперь нам пришлось пожертвовать самою нашею победою и в самый момент этой победы, так что сомнение в причине, приведшей к этой неудаче, совершенно невозможно.

Можно смело предсказать, что подобные же и еще большие неудачи ожидают Россию в будущем, если политика ее будет продолжать следовать тому же пути, которым шла, с редкими и немногими исключениями, с самой смерти великой Императрицы.

Чтобы избежать плачевной участи перехода от неудачи к неудаче, несмотря даже на самые поразительные военные успехи, политике России ничего не остается, как повернуть на старый Екатерининский путь, то-есть открыто, прямо и бесповоротно сознать себя русскою политикой, а не европейскою, и притом исключительно русскою, без всякой примеси, а не какою-нибудь двойственною, русско-европейскою или европейско-русскою, ибо противоположности не совместимы. Пословица справедливо говорит: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь; во сколько же раз она справедливее, если догоняемые зайцы бегут в диаметрально противоположные стороны! Мы не догоним ни одного зайца: не достигнем русских целей и не приобретем расположения Европы, враждебность которой все усиливается, по мере оказываемых нами ей услуг, уступок и приносимых нами жертв.

Интересы России и Европы противоположны, — говорим мы. Что эта противоположность не выдумка, не изобретение панславистов, славянофилов, или вообще журнальных публицистов и теоретиков, какой бы то ни было партии, а факт общепризнанный самими трезвыми и практическими политическими умами, — сви-

детельствуют нам всего лучше и прямее самые протоколы Берлинского конгресса. Читая эти документы, мы постоянно встречаем, что, как представители России, так и представители других держав беспрестанно противопоставляют интересы России — интересам Европы. Одни требуют во имя этих последних — уступок со стороны России, другие соглашаются на них именно в виду этой причины. Следовательно, эта противоположность интересов до того присуща представлению государственных людей всех наций, что они инстинктивно, как бы против своей воли, несмотря на всю дипломатическую осторожность, употребляют выражения, соответствующие действительности и прямо противоположные той видимости, которую, конечно, желали бы ей придать: представители европейских государств для того, чтобы и впредь было им удобнее пользоваться тем обманом, в который добровольно вдается Россия; представители же России для того, чтобы не выставить на вид всей несостоятельности того политического направления, которое приносит интересы России в жертву интересам Европы. В другом, также официальном документе, мы читаем: «То, что совершается на наших глазах теперь, сопровождало, впрочем, и все прежние наши войны на Востоке. Несмотря на все наши успехи, мы никогда не могли разрешить задачу коренным образом. Нам всегда приходилось останавливаться пред непреодолимыми трудностями задачи, пред сплоченною стеной интересов и страстей, которые вызывались нашими успехами»^{*}. С таким объяснением неполноты результатов наших многократных турецких войн нельзя вполне согласиться. Так, в первую Екатерининскую войну, сплоченная стена интересов и страстей нам враждебных не считала для себя удобным сопротивляться силою намерениям России; чтобы отклонить ее от исполнения их, ей представили, по почину прусского короля, обязавшегося помогать России в случае войны с Австрией, такую богатую перспективу интересов, еще ближе касавших-

^{*} Из заявления 27 Июля.

ся достижения русских целей, чем сами турецкие дела, что Екатерина не могла не предпочесть ее, тем более, что бесконечно важное для России возвращение ее исконных западных областей от Польши доставалось почти без усилий. Всякий откажется от меньшего и трудного, когда ему предлагают взамен большее и легкое. Во вторую турецкую войну сплоченная стена была очень слаба, как потому, что главный враг наш на Востоке, Австрии, под управлением эксцентрического Иосифа II, была на нашей стороне, так и потому, что под влиянием поспевшей разгореться французской революции, сопротивление Англии и Пруссии не обещало быть очень сильным. Истинная причина недостаточности результатов этой войны была не политическая, а военная. Она заключалась в дурном ведении войны, которое было поручено мало способному в военном отношении Потемкину в то время, когда гений Суворова уже успел показаться во всем блеске. В войне с 1806 по 1812 год такой стены вовсе уже не было. Она была сломлена Наполеоном, и от нас зависело довести войну до самых желательных результатов; но мы сами предпочли заботы о благоденствии Европы — разрешению наших исторических задач. Только относительно войн 1828-1829 и 1853-1856 годов слова приведенной нами выписки вполне справедливы. Относительно только-что окончившейся войны, по нашему мнению, стена эта также была уже сломлена подвигами наших войск — и восстановлена ошибочными действиями дипломатии, под влиянием тех же забот о Европе, как и в войне с 1806 по 1812 год. Но, как бы то там ни было, в приведенных нами словах официального документа самым ясным образом выражена мысль о противоположности интересов России и Европы. Каким образом помирить с этим совершенно верным и точным пониманием этого факта, несколькими строками выше изложенную, прямо противоположную мысль того же документа, что «солидарность и согласие (с Европою, конечно) суть единственные залогов благополучия и общего мира для всего христианского Востока» — за это мы не беремся.

В чем именно заключается эта, всеми, и нашими, и европейскими государственными людьми признаваемая, противоположность, на это дают нам ответ протоколы того же Берлинского конгресса. Один из представителей России с полной откровенностью выразился так: «Конгресс старался упразднить этнографические границы и заменить их границами торговыми и стратегическими». На эти слова ни с чьей стороны не последовало возражения. Очевидно, что это упразднение этнографических границ не составляет точки зрения, на которой стояла Россия при заключении Сан-Стефанского договора, стремившегося не упразднить, а, напротив того, установить этнографические границы. Если, со всем тем, конгресс выразил противоположное этому стремление, то очевидно, что упразднение этнографических границ, или, другими словами, национального принципа, составляло точку зрения европейских государств (в том числе и Италии, столь громко провозглашающей принцип национальности; вот до чего доводит ослепление, порождаемое ненавистью к России и Славянству!). И Россия должна была уступить, во избежание войны, сделавшейся для нее крайне-невыгодною вследствие положения, в которое она сама себя поставила незанятием проливов и заключением, развязавшего Турции руки, прелиминарного мира, — опять-таки заключенного из-за желания угодить Европе, не нарушить пресловутой солидарности. Если, таким образом, Россию можно упрекнуть в слабости и недальновидности, то на гуманную и свободолюбивую Европу прямо падает упрек в злонамеренном и сознательном (а не бессознательном, как на Венском конгрессе, во времена которого принцип национальности еще не выяснился) живосечении народных организмов. Мы не знаем, в похвалу или в осуждение, или как простое формулирование факта, произнес русский уполномоченный свои достопримечательные слова; во всяком случае они составляют краткую, но полную нравственную характеристику деятельности конгресса и ставят печать или клеймо, с которым он перейдет в историю. Но в этой характеристике заключается еще

одна черта, ее дополняющая. Этнографический принцип проведения границ если нечто определенное, он показывает не только, где граница должна быть проведена, но и кому должна принадлежать территория по ту и другую сторону; самую же границу составляет, так сказать, математическая линия, сама по себе не имеющая значения. Напротив того, при границе стратегической, наибольшее значение получает именно сама граничная черта, в особенности, когда она идет вдоль горного хребта. Обладание его проходами дает средства не только для обороны, но и для нападения; а стратегический принцип, сам по себе, не дает еще никакого основания для решения вопроса, кому должна принадлежать эта столь существенно важная граничная черта. Очевидно, что конгресс подразумевательно признавал еще добавочный принцип, который нельзя выразить иначе, как словами: «заменить их границами стратегическими, с тем, чтобы проведены они были к выгоде сильного и угнетателя, и во вред слабому и угнетаемому».

Итак, по всеобщему сознанию, открыто выраженному многими, подразумеваемому всеми, — интересы России и Европы противоположны. Следовательно, для успешной русской политики в будущем ничего другого не остается, как смотреть на свое политическое и историческое положение открытыми глазами, то есть перестать считать Россию членом европейской политической системы, которая постоянно оказывается нам враждебною, лишь только обстоятельства выдвинут на сцену вопросы, затрагивающие интересы или сочувствия России, не взирая на всю справедливость и все бескорыстие ее целей, — открыто и решительно выпутаться из нее, освободиться от добровольно наложенных на себя пут и цепей, стесняющих свободу наших действий.

Что же значит выступить из европейской политической системы? Прервать все политические сношения с европейскими государствами, вызвать наших посланников из европейских столиц? Или с безумным неистовством, не разбирая ни силы, ни

числа врагов, наброситься на Европу? Конечно, нет. Ведь имеем же мы политические сношения и с Вашингтонским, и с Рио-жанейрским, и с Пекинским кабинетами, не считая себя членами, ни южно, ни северо-американской, ни восточно-азиатской политической системы, не чувствуя солидарности ни с внешними, ни с внутренними их делами. Дело идет о сущности направления нашей политики, а не о форме. Выступить из европейской политической системы значит: не принимать к сердцу европейских политических интересов, смотреть на дело как оно есть, и не закрывать глаза перед очевидностью, не принимать созданных себе призраков за действительность; где есть враг — там и видеть врага, а не считать его за друга, прибегая ко всевозможным фикциям, чтобы совершить эту метаморфозу, не на деле, конечно, а в собственном своем воображении. В моей книге: «Россия и Европа» я выразил эту мысль так: «Нам необходимо отрешиться от мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими интересами, о какой бы то ни было связи с тою или другою политическою комбинациею европейских держав — и, прежде всего, приобрести совершенную свободу действия, полную возможность соединиться с каждым европейским государством, под единственным условием, чтобы такой союз был нам выгоден, не взирая на то, какой политический принцип представляет собою в данное время то или другое государство» (стр. 488). Выступить из европейской политической системы значит действовать так, как действуют Англия, Австрия, Германия и в особенности Италия, которая пользовалась всякою комбинациею европейской политики для достижения своих целей. Она шла против России, чтобы заслужить расположение западных держав; она заключила союз с Францией для приобретения Ломбардии; она пользовалась недоумением своего союзника для завоевания Неаполя при помощи революции; она вступила в союз с Пруссией для приобретения Венеции; она завладела, наконец, Римом, употребив в свою пользу отчаянное по-

ложение Франции, в ее борьбе с Германией; она, конечно, не усомнится воспользоваться всяким затруднением Австрии, для овладения итальянским Тиролем и Триестом, и всяким затруднением Франции, для возвращения себе Ниццы. Положение России имеет лишь ту особенность, что ни Англия, ни Австрия, ни Германия, ни Италия, достигая своих частных целей, не выступают через это из европейской политической системы, которой они суть естественные и прирожденные члены, потому что общеевропейский интерес, в настоящем фазисе истории, который длится с самого Венского конгресса и продлится еще долго — состоит ни в чем ином, как в противодействии России; для России же твердое и неуклонное стремление к достижению своих целей равнозначительно выступлению ее из европейской политической системы. Продолжая в ней находиться, продолжая сообразовать виды своей политики с видами политики европейских государств, в том, что они имеют общего, мы никогда не достигнем своих целей:

В 1869 году я писал: «Именно так называемые высшие европейские интересы и составляют единственное препятствие к освобождению Славян и Греков и к изгнанию Турок из завоеванного ими Балканского полуострова. Если во время греческого восстания император Александр не послушался своего великодушного свободолюбивого сердца, то единственно потому, что считал необходимым подчинить национальные цели и интересы России — интересам европейского мира и спокойствия, мнимовысшим целям противодействия революционным стремлениям, снова грозившим обхватить европейское общество, — стремлениям, опасаться которых Россия не имела собственно ни повода, ни оснований» (другими словами, потому, что считал Россию членом европейской политической системы). И далее: «Пока эти и подобные им посторонние России соображения, как, например, забота о сохранении политического равновесия, и т.д., будут иметь влияние на решения России, то само собою разуме-

ется, что нечего и думать об удовлетворительном решении Восточного вопроса, который и в действительности, и в общем сознании Европы, непременно должен нарушить, если не законные ее права и интересы, то, по крайней мере, то понятие, которое она себе составила о своих правах и выгодах». (Заря, 1869, стр. 26. Росс. и Евр. стр. 352). Верно ли мы тогда рассуждали, и не сбылись ли наши предсказания от слова до слова с поразительной точностью?

Следовательно, Россия, для достижения своих целей, должна пользоваться всеми ошибками Европы, всяким внутренним раздором ее, всякою надобностью, которую то или другое государство может встретить в помощи России. Есть примеры и в течение XIX столетия, хотя, к несчастью, очень редкие, когда Россия держалась этих правил; есть и другие, несравненно более частые, когда она упускала их из виду и действовала в противоположном смысле.

Так, после Тильзитского мира, Россия, в сущности, выступила из системы европейских государств, вступив, на благо себе, в союз с ее внутренним врагом. Так поступила она и в 1870 году, объявив, что не считает себя связанною трактатом 1856 года, относительно наложенного на нее запрещения держать флот на Черном море. Но первое выступление ее продолжалось не более двух лет; второе же было лишь мгновенною вспышкой, потому что Россия испортила свое собственное дело, вступив в переговоры и приняв на себя обязательства Лондонского договора. Вместо того, чтобы добиваться европейского признания, в котором не было никакой надобности, следовало бы немедленно начать строить черноморский флот.

Отрицательными примерами могут служить: нежелание воспользоваться войной 1809 года для возвращения Галиции; все распри с Наполеоном не из-за русских, а из-за чисто европейских интересов, которые привели французов в Москву, а русских в Париж, и то и другое к прямому и непосредственному,

или к косвенному и посредственному вреду России. Отрицательные примеры, как не следовало России действовать, представляют также период конгрессов и последующее время до войны 1828-1829 годов; спасение Австрии в 1849; насильственное примирение Австрии и Пруссии в 1851; медленность и нерешительность действий в угоду Европе в 1853 и недопущение Германии начать вторую войну с Францией в 1875.

Выскажем нашу мысль прямо и откровенно. Политика России, чтобы быть успешною, чтобы возвратить себе тот блеск и те плодотворные результаты, которыми она увенчалась во дни великой Императрицы, должна держаться, как постоянного руководящего принципа, русско-славянского эгоизма, в чем и заключается настоящий смысл выступления России из европейской политической системы. Почему не общечеловеческого бескорыстного интереса? — воскликнут наивные политические идиллики. Потому, во-первых, что, строго говоря, никто не знает в чем заключается действительно бескорыстный общечеловеческий интерес. Потому, во-вторых, что, по крайней мере в настоящий период истории, русско-славянский эгоизм совпадает с бескорыстным общечеловеческим интересом. Наконец, в-третьих, потому, что если не действовать в духе русско-славянского эгоизма, то ничего не останется, как действовать в духе антирусско-славянского, англо-австро-европейского эгоизма, как до сих пор мы большею частью и действовали; потому что для политической деятельности России только и открыты эти два пути, нигде не сходящиеся, прямо друг другу противоположные.

Русско-славянский эгоизм совпадает в настоящее время с общечеловеческим бескорыстным интересом! В этом-то и заключается вся наша сила, вся наша надежда на окончательный успех, несмотря на столько раз повторявшиеся неудачи, происходившие не от чего другого, как именно от непонимания этого тождества.

В самом деле, в чем состоят наши русско-славянские эгоистические цели? В освобождении, полном и совершенном, всех Славян, как от ига Турции, так и от ига Австрии, в доставлении им возможности достижения полной политической самостоятельности. Интересы Славянства требуют правда не только свободы, но и единства; но оно явится, как необходимое, силою обстоятельств вынужденное следствие самостоятельности и свободы.

Далее, русско-славянский эгоизм требует достижения Россиею политической полноправности, в которой ей постоянно отказывают, под разными гнилыми предлогами, навязывая ей различные ограничения, повинности, сервитуты, относительно пользования, омывающим ее берега, Черным морем. Мы слышали, например, из уст Салисбюри, что пользование Россией Батумским портом преимущественно для торговых целей в некоторой степени обеспечивает свободу Черного моря, будто бы погибавшую без этого обязательства. То, что Россия в своем море, у своих берегов, отказывается от пользования некоторыми из своих несомненных прав, — называется, на европейско-политическом жаргоне, обеспечением свободы этого моря! Разве такой взгляд совместен с понятием о политической полноправности и верховенстве государства? На нашем политическом языке, и на языке здравого смысла, свободю Черного моря может быть названо только право России (и Турции, конечно, покуда она существует, как независимое государство) вводить в его и выводить из него, как свои торговые, так и свои военные корабли, а также право заграждать в него вход иностранным военным судам.

Как понимается право Славянских народов на независимое политическое существование, видно также из слов того же Салисбюри на европейском ареопаге. «Если значительная часть Боснии и Герцеговины отойдет к одному из соседних княжеств (Сербии или Черногории), то образуется ряд славянских госу-

дарств, простирающийся через весь Балканский полуостров, военное могущество которых угрожало бы населению других племен, живущих на юге». И подобные нелепости выслушиваются, принимаются во внимание, и даже постановляются сообразные с ними решения; и это получает название высших европейских интересов! Но ведь эти страны, составляют ли они, или не составляют сплошного ряда, населены славянским народом, и следовательно, не взирая на то, живет ли кто и кто именно на юге, имеют полное право составить из себя независимое политическое тело; но ведь и на юге полуострова только меньшинство не принадлежит к славянскому племени; но ведь эти, занимающие север полуострова, славяне никогда ни делом, ни даже словом не выказывали своего намерения не уважать независимости этого неславянского меньшинства, то есть греков. Все это не принимается в расчет. Почему же не высказывалось ни на каком конгрессе подобных опасений против соединения в одно государство с Пруссией — Баварии, Виртемберга, Бадена и проч., под предлогом, что этим образуется сплошной ряд немецких государств, который угрожал бы племенам живущим на юге, хоть в Италии, например, — что в былые времена немцы так часто делали?

Но что говорить о словах, когда мы видим такие дела: Россия, после войны с Турцией, заключает с нею мир, то есть независимое государство вступает в соглашение с государством также независимым, о регуляции своих будущих к нему отношений. Это находят недопустимым с европейской точки зрения. Восточные дела, — говорят, — касаются всей Европы, и нельзя допустить, чтобы одно государство устанавливало их о своему произволу. И в то самое время, когда идут совещания об установлении сообща этих отношений, одно из совещающихся государств — то самое, которое более всех других настаивало на этом общеевропейском воззрении на дела Востока, — само заключает с Турцией такие условия, которые передают в его руки

несравненно сильнейшее влияние, чем давал России Сан-Стефанский договор. И это явное и дерзкое нарушение общепризнанного принципа, коль скоро оно направлено против России, всеми молча принимается. Даже ничего не возражают и скрывают свое негодование те, интересы которых оно нарушает самым наглым образом. Франция и Италия, вместе с другими восстающие против возможности появления русских флотов в Средиземном море, терпят захваты Англии в этом самом море, потому что главная цель их — противодействие планам России, даже мнимым и воображаемым. Не в праве ли мы после этого усомниться, полноправное ли и равноправное с другими государство — Россия? Будучи третируема столь недостойным образом, может ли она продолжать считать себя членом европейской политической системы? Ни один честный человек не счел бы возможным оставаться на таких условиях членом какого-либо общества. Равноправна ли также славянская народность с другими народностями в глазах Европы? — Установление этой равноправности и полноправности — вот чего требует русско-славянский эгоизм, и чему противится антирусско-славянский, англо-австро-европейский эгоизм. Не совпадает ли первый с требованиями справедливости, а, следовательно, и с требованиями общего интереса человечества, к которому стоимиллионное славянское племя ведь также принадлежит?

Если такой бескорыстный и благородный характер носят на себе цели, к которым стремится русско-славянский эгоизм, то и те средства, которые *volens-polens* он должен употребить для их достижения, не менее справедливы, не менее сообразны с общечеловеческим интересом, то есть с интересом огромного большинства человеческого рода. Средства эти: во-первых, сокрушение того исполинского хищения, той громадной неправды, того угнетения, распространяющегося на все народы земли, которые именуются английским всемирным морским владычеством. Мы уже видели, что это морское владычество

приводится в сущности к обладанию всеми лучшими частями Азиатского материка и эксплуатации его всеми возможными средствами политическими и торговыми, доходящими до насильственного развращения и отравления такой огромной страны, как Китай. Вспомним, что еще недавно граф Дерби, в речи произнесенной в Английском парламенте, на весь свет громогласно объявил, что англо-индейская империя может сводить концы с концами только при помощи торговли опиумом. Затмение здравого смысла европейничаньем доходит у нас до того, что во время индейского восстания, последовавшего, как известно, через год после окончания неправой и нечестивой Крымской войны, в наших журналах и газетах того времени можно было читать упреки в узком патриотизме за пожелание успеха восставшим индейцам. Говорилось, что общие великие интересы цивилизации заставляют нас сочувствовать восставлению и утверждению потрясенной британской власти. События не замедлили опровергнуть эту гуманитарную нелепость. На том же дальнем востоке, государство, более замкнутое и отчужденное своими нравами и обычаями, чем Индия, но сохранившее свою полную независимость²⁵, по собственному почину вступило на путь новой цивилизации и культуры, не будучи к тому побуждаемо никаким чужестранным, будто бы благодетельным гнетом, и пошло по этому пути несравненно успешнее, чем подвластная англичанам Индия, в течение столетнего с лишком британского владычества. Так ли оно, следовательно, необходимо и полезно в интересах общей цивилизации, как думали наши европейцы? Освобожденная Индия разве прекратила бы свои сношения с Европой? Разве с изгнанием англичан, все другие народы, и французы, и голландцы, и немцы, и итальянцы, и северо-американцы и даже те же англичане не основали бы своих факторий и небольших торговых колоний вдоль берегов этой богатейшей страны, не вели бы с ней торговли? А собственная индейская промышленность,

некогда столь развитая, не могла бы разве опять возникнуть после свержения либерального британского гнета? Прекратилось бы, конечно, заменившее ее возделывание опиума, что едва ли бы составило потерю для человечества, гуманности, цивилизации и прогресса.

Другое средство, которое должно было употреблено для достижения целей русско-славянского эгоизма, есть сокрушение и упразднение Австрии, о которой ведь тоже плакать некому, кроме пользующихся плодами угнетения и насилия мадьяр и австрийских немцев. Хотя в то время, когда мы так бескорыстно сочувствовали восстановлению британского владычества в Индии, были у нас также поклонники и цивилизаторской миссии австрийского жандарма, которые и теперь еще не совершенно вывелись*, мы все-таки думаем, что излишне было бы распространяться в доказательствах тому, что человечество могло бы встретить без особенного сожаления известие о кончине Австрии, и что русско-славянский эгоизм, совершив это ужасное дело, не нарушил бы бескорыстного общечеловеческого интереса.

Упомянем еще, для счета, и о третьем средстве, необходимом для достижения целей русско-славянского эгоизма — об окончательном уничтожении турецкого владычества на Балканском полуострове, не сопровождая его никакими оправдательными комментариями.

В заключение, мы спросим: не совпадает ли русско-славянский эгоизм, как по целям, так и по средствам своим, с требованиями бескорыстного общечеловеческого интереса, насколько он нам известен и подлежит человеческому пониманию? Потому-то мы и думаем, что судьбы России лежат в самом русле исторического потока, предполагая, что поток этот направляется к разумным, справедливым и благим целям; поэтому мы и

* Как свидетельствует наставление, прочитанное одним журналом г. Иловайскому, попавшему в цивилизаторские руки этого жандарма. *Черн. рукоп.*

утверждаем, что положение России есть единственное в своем роде, не имевшее и не имеющее себе ничего подобного. Ее величие, ее миродержавное значение требует не завоеваний чужого, не угнетения народностей, не присоединения земель, по праву другим принадлежащих, — а освобождения угнетенных, восстановления погрязших, сокрушения насилия и неправды, какими бы титулами они не величались. А интересы Европы, как она сама их хочет понимать и понимает на деле, не прямо ли этому противоположны? То, что мы называли антирусско-славянским, англо-австро-европейским эгоизмом, не есть ли вместе с тем эгоизм, действительно противоречащий общечеловеческому интересу?

России и Славянству нужно освобождение Болгарии в границах болгарской народности. Европе нужно продолжение господства батакских извергов, укрепление его возвращением Балканских проходов Турции.

России и Славянству нужно полное освобождение Сербского народа. Европе нужно отрезать друг от друга две родственные части одного и того же племени: Сербию и Черногорию, вбив между ними австрийский клин. Ей нужно искупить полуосвобождение третьей доли болгарского народа подчинением австрийскому гнету другого столь же многострадального славянского племени; ей нужна отрезка 120-ти квадратных миль отвоєванных геройскою Черногорией, отдание под австрийский полицейский надзор, по возможности урезанного, черногорского морского побережья.

России и Славянству нужно присоединение к Греции — Офсалии, Эпира, действительно греческой части Македонии, многострадального Крита, островов Архипелага. Европе нужно раздуть эллинское тщеславие и властолюбие, возбудить этим греков против славян, склонить их на свою сторону, а затем обмануть их в их действительно законных и справедливых желаниях.

России и Славянству нужна действительная независимость и полноправность вновь освобожденных государств: Румынии, Сербии и Черногории. Европе нужно, за невозможностью отнять у них независимость политическую, лишить их, по крайней мере, независимости экономической и торговой, запрещением взимать транзитные пошлины; ей нужна эксплуатация их евреями, под лицемерным предлогом охранения религиозной свободы.

России и Славянству нужно право России на свободный вход и выход в Черное и из Черного моря, две трети берегов которого ей принадлежат. Европе нужно наложение на Россию разного рода постыдных сервитутов, ради охранения британского хищничества, которому она даже и не угрожала, — под лицемерным и кощунственным названием охранения свободы Черного моря.

России нужно справедливое и самое умеренное вознаграждение за принесенные ею жертвы. Европе нужно лишить ее этого вознаграждения и вместе с тем оскорбить, оказав предпочтение претензиям всякого европейского жида, всякого лондонского или парижского лавочника, доставляющих своими сбережениями средства для расточительности султана и пашей, для разврата их гаремов, для угнетения и мученичества балканских христиан*.

* Выходя из круга тех вопросов, для решения которых была предпринята последняя война и собирався Берлинский конгресс, мы встретим ту же противоположность правды и лжи, свободы и угнетения, проследить отдельные случаи которых было бы слишком долго. — Но там, где Россия по ошибке и неправильному пониманию своего интереса, отклонилась от своей цели и вместе с тем (сознаемся в этом откровенно) и от справедливости, о, там Европа охотно ей уступает! Когда Россия требует возвращения ни на что ей не нужного клочка Бессарабии и взамен его предает румынизации болгарскую Добруджу и тем оскорбляет и своего недавнего союзника и освобожденную ею Болгарию, — тут Европа ей не противоречит, ибо видит, что, поступая так, Россия вредит себе. *Черн. рукоп.*

В моей книге «Россия и Европа» я говорил об отношениях России к Турции и к Европе после Крымской войны: «Магометанско-турецкий эпизод в развитии Восточного вопроса окончился. Туман рассеялся и противники стали лицом к лицу, в ожидании грозных событий, страх перед которыми заставляет отступать обе стороны доколе возможно, откладывать неизбежную борьбу на сколько Бог попустит. Отныне война между Россией и Турцией сделалась невозможною и бесполезною; возможна и необходима борьба Славянства с Европой, — борьба, которая решится, конечно, не в один год, не в одну компанию, а займет собою целый исторический период». Оправдались ли мои слова? Сбылось ли это предсказание подобно многим другим? По-видимому, только отчасти; но если вникнуть в сущность дела, то оно сбылось вполне. В заключение настоящей статьи я приму на себя труд доказать это, не из тщеславного желания оправдать мою проницательность, а потому, что это дает мне, так по крайней мере мне кажется, самый удобный случай вполне выяснить настоящий характер только-что совершившегося, огромной важности, исторического события, и дает возможность представить мои соображения о будущем.

Что война между Россией и Турцией оказалась бесполезною и со многих сторон даже вредною, с этим, я думаю, спорить не станут. Но я считал ее невозможною, а, между тем, она велась с большими усилиями в течении 9-ти месяцев; напротив того, борьбы с Европой, которую мы считали необходимою и единственно возможною, не произошло. Хотя факты эти и бесспорны, но мы утверждаем однако же, что это лишь одна видимость, один мираж, обман чувств; в действительности, мы, под личиною войны с Турцией, вели войну с Европой, по крайней мере с Англией и Австрией, не без союза их, впрочем, и с прочими европейскими государствами, и мы были побеждены в этой войне, опять-таки под маской победы над Турцией. Эти личины, эти маски надели на себя наши враги с

сознательною и определенною целью; а мы не только не решились сорвать их, но даже с радостью надели их на себя и добровольно пошли на обман, что и было настоящею причиною нашей неудачи. Оставить эту маску на других, признать ее за настоящее лицо и надеть таковую же на себя заставил нас не один страх перед грозными событиями, а главным образом страх отступить от политических и дипломатических традиций, страх не нарушить европейских интересов, сделавшихся в XIX столетии столь дорогими русскому сердцу, и притом не одному только дипломатическому. Но именно этот страх перед грозными событиями, перед открытою борьбою с Россиею, заставил Европу надеть и до конца сохранять эту маску. Взглянем, как происходило дело.

Смуты в Герцеговине и Боснии начались, как известно, с подстрекательства Австрии, имевших очевидную цель найти случай к исполнению обещания, данного Бисмарком своему другу Андраши, вознаградить Австрию на Востоке за потери, понесенные ею на Западе. Первым шагом к исполнению этого обещания было заключение тройственного союза, следуя издавна известному рецепту, что союз с Россиею заключается всегда с прямою целью употребить ее силы для достижения планов, ей не только чуждых, но даже вредных. Дело пошло. Сербия и Черногория выступили на защиту славян. В России возбудился общий народный энтузиазм. Можно ли сомневаться, что Австрия легко могла затушить начинавший разгораться пожар, твердою угрозою Сербии, недопущением в нее русских добровольцев, наконец, военным занятием Сербии, если бы ничто другое не помогало? Можно поручиться, что войны от этого бы не произошло, и Австрии это было очень хорошо известно. Россиею были сделаны предложения относительно Боснии и Герцеговины. Ответом на них было и да и нет, из которого однако же Россия получила уверенность, что прямого противодействия со стороны Австрии не последует. Более всех побуждала Россию к

войне, после неудачи конференций, Германия, которой очень желательно было исполнить данное Австрии обещание. Расчет Бисмарка был, вероятно, довольно прост, так как для целей Германии большой сложности и не требовалось: наградить Австрию с прямого согласия России, что еще более закрепило бы чрезвычайно выгодный для Германии тройственный союз. Но расчеты Андраши были сложнее и тоньше. Ему желалось присоединить богатые турецкие провинции и подчинить своему влиянию западную часть полуострова, но не желалось, по весьма понятным причинам, получить всю эту благодать из рук России. Эта последняя комбинация оставлялась про запас, на всякий случай, как немогущее миновать его рук *pis aller*²⁶. Поэтому, полная военная неудача России не могла входить и в австрийские планы, так же как и в расчеты Германии или, точнее, Бисмарка, по другим вышеизложенным причинам. Поэтому, когда наши военные неудачи начали, по-видимому, угрожать неблагоприятным исходом кампании, дано было разрешение перейти Дунай все медлившей румынской армии и прекратилось сопротивление вмешательству Сербии в войну. В то время говорилось даже об оказании России непосредственной помощи. Все эти хитросплетения готовы были рухнуть перед необычайным зимним переходом через Балканы; но все они были восстановлены и получили даже новую жизненность и силу от незанятия нами проливов и заключения прелиминарного мира. Конференции или конгресса, мысль о которых была пущена Австрией, должны были устроить все дело сообразно ее желаниям: то есть доставить ей приобретение Боснии и Герцеговины, но не из рук России, а в виде европейской гарантии против России и Славянства. Что исполнение этого европейского поручения оказалось на деле сопряженным с трудностями и жертвами, которые были бы избегнуты при союзном действии с Россией, этого, конечно, тонкоумный Андраши не предвидел. Но в конце концов цель его, на время по крайней мере, будет достигнута.

Англия играла совершенно в ту же игру. Конечно, и она могла затушить разгоравшуюся распрю, подписав Берлинский меморандум, или содействуя улаживанию мира на Константинопольских конференциях. Но ей также хотелось ловить рыбу в мутной воде, хотя и с несколько иными расчетами. Видя все возраставшую уступчивость России, она надеялась, что Россия отойдет ни с чем; а когда война грозила нам неудачным исходом, по крайней мере, первой кампании, то самая военная неудача была бы ей приятнее даже захвата Кипра и протектората над Малой Азией, ибо лучше всего обеспечивала ее индийские владения, уничтожая все обаяние русской силы на азиат. Опасность в этой игре она не предвидела, надеясь, в случае надобности, всегда успеть прийти на помощь Константинополю и проливам. Об остальном она мало заботилась. И эти расчеты чуть было не были посрамлены, подобно австрийским, тем же неожиданным и негаданным зимним переходом через Балканы; но снова оправданы незанятием проливов и прелиминарным миром. На полную уступчивость России, однако, все еще не надеялись. Вознаграждением Англии должен был служить Кипр, или другая какая-либо позиция в Средиземном море. Война казалась неизбежной, и граф Дерби, основывавший свои расчеты на взвешивании политических сил, отступил перед ее риском и ответственностью. Австрия представлялась ему ненадежною опорою; на собственные силы, даже с поддержкою сипайского контингента, он также не полагался. Но, как я уже раз заметил, граф Биконсфильд руководствовался соображениями совершенно иного рода. Психологическая проницательность романиста сослужила на этот раз Англии лучшую службу, чем статистико-политические соображения государственного человека.

Таким образом, причину войны возбудили одни из наших европейских противников; другие явною и тайною поддержкою укрепили сопротивление Турции; они направляли ход войны, они же воспользовались ее плодами. От начала до конца Тур-

ция была лишь орудием их замыслов, марионеткой, двигавшейся веревочками, за которые ее дергали. Против кого же, следовательно, мы в сущности воевали?

Как же действовала Россия? Можно ли, по крайней мере, утверждать, что Россия откровенно поддалась обману, действительно верила, что воюет против Турции? Нет, этому и она не верила; но она добровольно закрыла глаза, согласилась принять личину за живое лицо, и надела на себя маску. В этой дипломатической игре действительно обманутых не было, а был, так сказать, обман по взаимному соглашению.

Русское чувство заставило Россию встрепетаться от головы до ног. Но она знала, что воевать с Турцией значило воевать с Европой, по крайней мере с Англией и Австрией; а вся ее политическая и дипломатическая традиция восставали против такого нарушения, принятых ею на себя и восемьдесят лет почти без перерыва носимых: политического европеизма, защиты европейских интересов и подчинения им русских и славянских интересов. Произошла драматическая комедия; борьба народного чувства, внутреннего, частью инстинктивного, частью сознательного понимания своего исторического назначения — с мнимым долгом, навязанным пагубным заблуждением о нашей принадлежности к европейской политической системе. Перипетии этой внутренней борьбы известны всем, следившим за ходом событий. Из этой коллизии Россия вывела себя дипломатическою фикцией. Переговоры, предшествовавшие Константинопольской конференции, сама эта конференция, в особенности же переговоры за ней последовавшие, дипломатические поездки, закончившиеся лондонским протоколом, — имели главною своею целью добиться признания этой фикции. Фикция эта состояла в том, что война против Турции есть общеевропейская мера, — экзекуция, порученная нам Европой, в роде, например, экзекуционной войны, которую вела Франция против Испании, в самый разгар реставрации. Признания этой фикции мы собствен-

но не добились, но, тем не менее, пред войной была разослана русская нота, в которой провозглашалось, что Россия предпринимает войну для приведения в исполнение безуспешных настояний Европы. В то время и во время самой войны, эту фикцию можно было считать довольно невинною дипломатическою забавой, если угодно, даже ловким дипломатическим маневром. Но, несмотря на грубое отрицание такого европейского признания со стороны Англии, мы, к несчастью, продолжали считать ее серьезным делом; и потому, когда наши войска стали у ворот Константинополя и перед роковыми проливами, мы, придерживаясь той же фикции, решили заключить не окончательный, а только прелиминарный мир, который, как это прямо следовало из этой фикции, подлежал утверждению держав, якобы уполномочивших нас на войну. Для обеспечения нашего положения было до очевидности необходимо занять проливы; но это было бы слишком явным противоречием фикции нашей европейской миссии, ибо обеспечение это требовалось не против Турции, но против самой Европы. Фикция восторжествовала над действительностью — проливы остались незанятыми. О, тогда, конечно, Европа схватилась обеими руками за данный нами ей предлог. Со всех сторон явились объявления, что Восточный вопрос есть вопрос общеевропейский, и наша фикция получила слишком реальное осуществление в Берлинском конгрессе.

Не вправе ли, следовательно, был я утверждать в 1869 еще году, что впредь война с Турцией бесполезна и, в сущности, невозможна, и что, напротив того, возможна и необходима война с Европой? Мы закрыли себе глаза и уверили себя, что ведем войну только против Турции, что с Европой мы в мире и ладу; на деле же мы вели войну против Европы, лишь прикрываясь дипломатическою фикцией. Но, как само собою разумеется, фикция была возможна только до тех пор, пока между нами и Европой стояла турецкая фантасмагория; когда же призрак рассеялся, и настоящие враги явились лицом к лицу, нам ниче-

го не оставалось, как взглянуть действительности прямо в глаза. Но и тут мы предпочли от нее отвернуться.

Счастливые случайности, а еще гораздо более беспримерная отвага, стойкость и выносливость наших геройских войск, доставили нам положение непреодолимое. Мы были законодателями судеб Востока, даже без борьбы с Европой, ибо борьба была невозможна с ее стороны. Мы захватили ее врасплох. Вместо того, чтобы воспользоваться своим положением, мы добровольно променяли его на такое, в котором борьба становилась уже крайне рискованною с нашей стороны.

В речи, в которой английский первый министр отдавал парламенту отчет в торжестве Англии и поражении России на Берлинском конгрессе, он, между прочим, произнес горделивые слова: «Англия сказала: стой! — и Россия остановилась». Мы не можем отрицать, что дело действительно имело такой вид, и что таков именно эффект имеют или будут иметь последние события на азиатский мир; однако же, сам надменный министр очень хорошо знает, что в сущности дело было не так. Не Англия, а ошибочная политика России, ее угодливость перед Европой — сказали стой русским успехам. Сама Россия вложила в руки Англии оружие против себя; сама устроила себе западню, захлопнула на ней крышу; сама дала окружить свои силы со всех сторон врагами: двухсоттысячною турецкою армиею, со стороны проливов и Константинополя; английским флотом с возможными на разных пунктах десантами, со стороны Эгейского, Мраморного и Черного морей; силами Австрии с тыла; несданными турецкими крепостями в середине своей позиции, — и таким образом, поставила себя в такое затруднительное положение, в котором уступка за уступкой могли считаться горькою, но благоразумною необходимостью.

Это говорим мы вовсе не в утешение оскорбленного народного самолюбия. Совершенно напротив. В наших глазах было бы гораздо утешительнее, если бы Россия действительно отступила пе-

ред английским: стой, а не по собственной угодливости перед Европой, угодливости, которая засадила ее в западню. В самом деле, что означало бы отступление России перед угрозой Англии? Что она взвесила свои силы и силы Англии и нашла борьбу неравною, невыгодною для себя. Если б этот расчет был верен, то уклонение от борьбы было бы с ее стороны благоразумием. Если бы расчет был ошибочен, то это свидетельствовало бы только о том, что силы противника были преувеличены, собственные же силы преуменьшены; свидетельствовало бы о нашей нерешительности, трусливой осторожности, пожалуй, о нашем малодушии. Но эта нерешительность, излишняя осторожность, малодушие — были бы лишь явлениями временными, случайными, примеры которых повторялись не раз в истории разных государств. Но ложная политика угодливости перед Европой, жертвование ей своими интересами, принятие этих интересов за что-то высшее, требующее большого внимания и уважения, чем наши собственные русские интересы; политика, которая обратилась в систему, в традицию, в неискоренимый предрассудок, вот уже восемьдесят лет парализующий успешное развитие нашей внешней исторической деятельности, — такое явление несравненно опаснее, несравненно оскорбительнее, чем неверный политический расчет, подавший повод к временному, случайному малодушию. Такая политическая система свидетельствует не о сомнении в силах и средствах, имеющихся в данную минуту для достижения предположенной цели, не об ошибочной оценке нашего положения в настоящий момент, а о сомнении в смысле, цели, значении самого исторического бытия России, которые, как нечто несущественное, сравнительно маловажное, второстепенное, должны уступить место более существенному, более важному, первостепенному. С такими сомнениями в сердце исторически жить невозможно!

Упрек в таком сомнении падает уже не на ту или другую, более или менее влиятельную личность, а на извращение общего народного сознания, по крайней мере тех классов народа,

которые называются его интеллигенцию и призваны жить сознательною историческою жизнью. Где границы уступчивости, в основании которой лежит такое сомнение? Поставим себя на место государственного человека, заправляющего судьбою любимого иностранного государства. Чего не сочтет он себя в праве и в возможности требовать от России, если облечет свое требование в одежду общеевропейского интереса, что ведь так нетрудно сделать? Стоит лишь наболтать всякого вздора, в который и сам не веришь, в роде сказанного на конгрессе графом Андраши против смежности границ Сербии и Черногории; или в роде слов Салисбюри о сплошном ряде славянских государств; слов Биконсфильда о непререкаемости прав султана на Балканские проходы; или слов самого Бисмарка в германском рейхстаге, что только денежные расчеты с Турцией подлежат взаимному соглашению воевавших держав, территориальные же требуют санкции Европы. Но, если бы со стороны России даже последовало сопротивление подчинить свои интересы чужим, то самая война против нее перестает внушать опасение и страх, ибо сама победа в руках ее лишилась, присущей победе, силы и действительности. В крайнем случае, побежденному, на голову разбитому противнику стоит лишь апеллировать к европейскому конгрессу; а такую, ничего не стоящую помощь более или менее красноречивыми речами, за красным подковообразным столом, готов оказать всякий, который задумался бы перед оказанием помощи, стоящей больших жертв.

Кому не случалось слышать рассказов о полуночных привидениях, сквозь которые безвредно пролетают пистолетные пули? Как бы таким привидением — только наоборот — является Россия. Не сквозь нее безвредно пролетают вражеские пули, а размах ее руки становится бессильным; при ударе ее меча рассекающем противника, половинки его срываются; вся грозная сила ее войска обращается в какой-то фантом, ибо самые тяжелые удары, им наносимые, не только исцеляются ее

же политикой и дипломатией, но, каким-то непонятным фокусом, отражаются на ней и заставляют истекать кровью ее собственное тело.

И так, не из страха перед Англией — в сущности, даже не по ошибке, ответственность за которую должна бы падать на то или другое лицо, потеряли мы плоды наших побед, а по губительному политическому предрассудку, тяготеющему над нами уже восемьдесят лет; предрассудку, которым проникнуто не только большинство наших дипломатических деятелей, но которым заражено большинство нашего общества, — вся та доля русского народа, которая носит название русской интеллигенции и которая составляет ту среду, из которой выходят и наши дипломаты, и прочие наши государственные и общественные деятели, которым, следовательно, неоткуда набраться иных политических принципов, негде проникнуться иными идеями. Не только немногие голоса, от времени до времени раздававшиеся против наших политических и национальных заблуждений, но даже и сам громкий и грозный голос таких событий, как Крымская война, были гласом вопиющего в пустыне.

У нас вошло в обычай прославлять благодетельные результаты, проистекшие, будто бы, из неудач Крымской войны, приписывая их влиянию реформы последнего двадцатилетия, в том числе даже и самое освобождение крестьян. Мы всегда считали взгляд этот неверным, и убеждены, что, каков бы ни был исход Крымской войны, либеральные реформы непременно последовали бы в наступившее тогда новое царствование. Защищать это воззрение здесь не у места, и мы упомянули о влиянии Крымской войны на внутреннюю жизнь России, единственно, чтобы указать, что опыт ее в тех сферах, к которым он ближе всего относится, оказался малодействительным. Интендантская часть осталась столь же неудовлетворительною, как и тогда; политические воззрения на наши отношения к Европе также не изменились.

Мы надеялись: «что сами события (имеющего вновь выступить на историческую сцену Восточного вопроса) заставят отбросить, хотя бы по неволе, те уважения, которые налагаются усвоенными привычками и преданиями, к существующим, освященным временем, интересам, даже незаконным и враждебным»; но должны сознаться, что горько в этом ошиблись. Уважения, основанные на привычках и преданиях, оказались сильнее самих событий. Проистекшие из этого — глубокое разочарование и горечь неудачи, вместо сладости и торжества победы, которые мы уже готовы были вкусить, — произведут ли лучшее действие? Если бы лекарство оказалось действительным, мы благословили бы испитую нами чашу; но надеяться на это не смеем.

Хотя сила событий раз уже обманула наши ожидания, мы все продолжаем возлагать на них преимущественно наши надежды. В только-что выписанном нами месте, излагающем неисполнившиеся наши надежды на целебную силу событий, — одно обстоятельство, считавшееся нами условием успеха и выраженное словами: «хотя бы то было по неволе», не осуществилось. Мы имели, к несчастью, свободу выбора и предпочли протившей нам действительности фикцию дружелюбного общего действия рука об руку с Европой. В будущем, начинающем восходить на исторический горизонт, этого выбора, кажется, уже не будет.

В ряду следовавших друг за другом, после 19-го января, печальных известий, единственно отрадным было для нас провозглашение Англией протектората над Малою Азией и захват Кипра. Не в возбуждении захватом Кипра негодования и опасностей за будущее в государствах, прилежащих к Средиземному морю, видим мы зарю лучшего будущего. Мы так убеждены в коренной враждебности европейских государств к России, что, если бы, вместо Кипра, Англия захватила Сардинию и Корсику, то и этим не понудила бы Францию и Италию к искреннему

союзу с Россией, к такому, который не только им помог бы обделать свои дела, но содействовал бы и России в достижении ее справедливых и законных целей. Предрассудок окажется сильнее самих нарушенных интересов. Во главе этих государств нет честолюбивого, властолюбивого, алчного Наполеона, и священные интересы Европы, то есть интересы вражды и ненависти к России и Славянству, будут по прежнему стоят выше всего.

Нас радует и утешает совершенно другое; то, что наконец настоящие враги стали друг против друга. Безумный, по выражению Гладстона, поступок Англии заключает в себе прямое и дерзкое оскорбление России, на которое первый министр ее мог решиться только в полноте гордыни своего торжества. На все наши, перешедшие всякую меру, уступки и жертвы материальные и нравственные, он ответил грубым недоверием, на которое даже не счел нужным испросить санкции конгресса. После этого, конечно, и мы, не нарушая постановлений конгресса, были бы в праве сказать: «Если любовное соглашение, так любовное, т.е. такое, которое не может существовать без взаимного доверия и уважения; если же система оскорбительного недоверия, предосторожностей и камня за пазухой, то она может быть только обоюдною. Англия не верит нам; она опасается за безопасность своих путей в Индию, даже самых окольных; опасается наших честолюбивых поползновений на азиатские владения Турции; и мы, с гораздо большим основанием, также опасаемся за наше черноморское побережье и за наши закавказские владения. Мы получили Карс, Ардаган, Батум, как самое ничтожное вознаграждение за жертвы, принесенные для обуздания турецких злодейств; Англия же присвоила себе Кипр даром, без всяких жертв, единственно в исполнение своих честолюбивых видов и в видах нанесения нам оскорбления, как точку опоры для наблюдения за нами, для противодействия нашему предполагаемому, хотя весьма нашими действиями опровергаемому, честолюбию. У Англии есть могущественный флот, — у

нас его нет на Черном море. Она может стремиться лишить нас наших закавказских владений, может, в имеющем подлежать ее влиянию армянском населении Малой Азии, устроить очаг интриг (ведь опасается же она наших интриг в Афганистане) для распространения смут между нашими армянами. Против всего этого мы остаемся безоружными».

«Чтобы оградить себя от враждебного влияния Англии в Константинополе, которое, каждую минуту, может открыть ей ворота в Черное море; чтобы предупредить замыслы, которые она может иметь против нашего Закавказья, мы должны были бы заявить, что мы оставляем за собою проходы через Балканы, чтобы и с своей стороны иметь средства влиять на Турцию; что мы не возвращаем Баязета и Алашкертской долины; что мы остаемся в Эрзеруме, чтобы, в случае нужды, пресечь ту железнодорожную линию, которая должна идти вдоль долины Евфрата; что мы укрепим Батум. Англия объявила, что будет владеть Кипром до тех пор, покуда мы оставляем за собою то, что ей угодно называть нашими завоеваниями в Малой Азии; мы должны были бы объявить, что сохраним Балканские проходы, Баязет с Алашкертской долиной, Эрзерум и батумские укрепления, до тех пор, пока Англия не возвратит Кипра и не откажется от своей системы недоверия и оскорбительной подозрительности, выразившейся в присвоении ею протектората над Малою Азией. Если она истинный друг Турции — пусть докажет ей свою дружбу возвращением не только захваченного ею острова, но и всего того, что мы хотим оставить за собою сверх условленного по Берлинскому трактату, единственно в видах предосторожности против интриг и честолюбивых замыслов Англии».

Хотя такие слова произнесены не были, но самый ход событий легко может заставить нас говорить именно этим языком; во всяком случае, теперь или после, а дело поставлено так, что борьба между Англией и Россией сделалась неизбеж-

ною. Уклониться от нее стало уже невозможным. Англия дерзко вызывает нас на бой, прямо и открыто, без всякой маски, без чьего-либо посредства. Принятие этого вызова есть только вопрос времени, и таким образом, Восточный вопрос примет свой настоящий вид: борьбы России и Славянства сначала против главного врага их — Англии. Весьма благоприятным началом ее будет, если она возникнет из непосредственной ссоры с Англией из-за азиатских дел. Этот окольный путь всего лучше приведет нас к нашим целям: к полному освобождению и объединению Славян и к приобретению проливов в наше полное распоряжение.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ КОНСТИТУЦИОННЫХ ВОЖДЕЛЕНИЙ НАШЕЙ «ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ»

С некоторого времени все чаще и чаще стали появляться в наших либеральных журналах более или менее ясные и определенные намеки на то, что единственно действительным лекарством для уврачевания наших общественных зол и бед было бы введение у нас конституции по образцу просвещенных государств Запада. Намеки эти столь часто повторяются, что в части нашей печати, держащейся других воззрений, выражаемые этими намеками вождения должны были быть разоблачаемы и опровергаемы. И я желал бы сказать по этому предмету несколько слов. Прежде всего, дабы избежать действительных недоразумений или умышленных уверток, надо точно определить, что разуметь под словом конституция. В обширном смысле оно обозначает государственное устройство вообще, и в таком смысле конституцией обладает и Россия. Но, конечно, не об этом идет речь. Всякому известно, что слово конституция имеет еще и другой, несравненно более тесный, но, по этому самому, и более точный, определенный смысл.

Под конституцией разумеется такое политическое учреждение, которое доставляет гарантию, обеспечение известного политического и гражданского порядка не только от нарушения его подчиненными агентами власти, но и самим главою государства. Конституция есть следовательно ограничение верховной власти монарха или, точнее, раздел верховной власти между монархом и одним или несколькими собраниями, составленными на основании избрания, или родового наследственного права. В этом ограничении, в этом разделении власти вся сущность дела: есть оно — есть и конституция; нет его — нет и конституции, и никакая гласность, никакие совещательные учреждения, при посредстве которых желания, потребности, нужды народа могли бы доходить до сведения верховной власти, конституции в этом смысле еще не составляют.

Конечно, я никому не скажу чего-либо нового, утверждая, что все осуществленные на деле и даже все мыслимые формы правления несовершенны по самому существу своему, и что ежели каждая из этих форм, т.е. различные виды монархии, аристократий и демократий, обладают свойственными им достоинствами и преимуществами, то каждая из них имеет и свойственные ей недостатки; словом, что идеальной формы правления не существует, что поиски за таковою были бы поисками за философским камнем, вечным движением, квадратурой круга. Но этого мало. Если бы такая форма действительно существовала в теории, то на практике от нее было бы очень мало пользы, ибо вопрос заключается не в абстрактном существовании такого политического идеала, а в применимости его к данному случаю, то есть к данному народу и государству в данное время, и следовательно, вопрос о лучшей форме правления для известного государства решается не политической метафизикой, а историей. Я позволил себе написать эти немногие строки общих мест, трюизмов, лишь для того, чтобы показать, что всякие рассуждения о пользе, бесполезности или вреде конституции для России, по меньшей мере рассуждения праздные, — что им должен предшествовать другой, гораздо более радикальный вопрос: возможна ли конституция в России? И отвечаю на него: нет, конституция в России совершенно и абсолютно не возможна, то есть власти и могущества на земле, которые могли бы ей даровать ее.

Во всех современных политических учениях более или менее ясно и открыто провозглашается, как политический идеал, принцип державности или верховенства народа. Для осуществления его на практике требуют всеобщей подачи голосов, которая действительно введена уже во многих государствах, и должна в непродолжительном времени ввестись и во многих других, например в Италии. Но и это, по справедливому в сущности мнению крайних демократов, не дает не малейшего ручательства в том, что страна действительно управляется сообразно с желаниями

большинства. Как очевидный пример противоречия образа действия правительства, избранного всеобщей подачей голосов, с желаниями этого большинства, может служить изгнание духовных орденов из Франции и атеизация французских школ, когда все деревенское население, да и значительная часть городского остаются приверженными к католицизму. Для осуществления на деле этого верховенства народа придумано новейшими радикалами учение о крайнем федерализме, не таком, какой, например, существует в Соединенных Штатах или в Швейцарии, где штат или кантон заключает в себе от сотни тысяч до нескольких миллионов граждан, а о федерации самых элементарных общественных единиц, т.е. общин. Немного нужно размышления, чтоб убедиться, что и при таком общественном устройстве верховенство народа останется такой же фикцией, как и при всеобщей подаче голосов в больших государствах. Конечно, свои мелкие общественные дела народ будет в состоянии решать вполне самостоятельно, ежели угодно державно — ведь это все дела такого рода, которые и теперь, при любом государственном устройстве, сам народ может решать и решает при правильно устроенном самоуправлении. Но дела более общего характера, обнимающие собою интересы целых групп общин и, наконец, всего федеративного государства, через это не упразднятся, и, по отношению к ним, масса народа будет столь же не компетентна, как и теперь в любом централизованном государстве. Чтобы выразить свою волю, надо прежде всего иметь ее, а дабы иметь, надо обладать сколько-нибудь отчетливым мнением о предмете, относительно которого должна выразиться эта воля. И напрасно думают, что этого можно достигнуть просвещением народа. Просвещение это во всяком случае может быть только самым элементарным, а предметы политические, точно также как и научные, требуют образования обширного, требуют сосредоточения мысли, а это в свою очередь требует досуга, которого работающий на фабриках, пашущий земли и вообще материально трудящийся народ иметь не может. Сло-

вом, державность и верховенство народа, понимаемые в смысле управления внешними и внутренними делами государства на основании воли народа, есть фикция, абсурд, нелепость, по той, уже вышеупомянутой, весьма простой причине, что для управления на основании воли народа по меньшей мере необходимо, чтобы такая воля была, а ее-то и нет и быть не может.

Но верховность народа имеет и другой смысл. В этом смысле она не составляет ни права, на какого-либо политического идеала, которого можно и нужно бы было стремиться достигнуть, а есть простой факт, всеобщий, неизбежный, неизменный, состоящий в том, что основное строение всякого государства есть выражение воли народа его образующего, есть осуществление его коренных политических воззрений, которых не лишен ни один народ, ибо иначе он и не составлял бы государства, да и вообще не жил бы ни в какой форме общежития, и ежели такое коренное народное политическое воззрение затемняется, утрачивается, то и государство им образуемое разлагается и исчезает: это не теорема, а аксиома, не требующая доказательств, истина сама по себе понятная.

Всякая идея, дабы осуществиться, перейти в действительность, в факт, должна иметь в подкладке своей силу для своей реализации, а где же искать эту силу для идеи политической как не в массе, не в совокупности народа, который по ней устраивается в государство и поддерживает его против всех внутренних и внешних врагов в течение своей исторической жизни? Все исключения, которые можно представить против всеобщности этого закона, только кажущиеся. Например, скажут, неужели Болгары, Греки и вообще вся христианская ра́я составляющие большинство населения Европейской Турции, своею волей поддерживала Турецкое государство? Конечно, нет, но эти народы никогда Турецкого государства собою и не составляли, они были вне его, чужды ему во всех отношениях и удерживались в нем внешнею силою, точно так, как неприятельская армия удерживает в своем повиновении занятую ею страну. Тут внешнее наси-

лие постоянно действовало в течении нескольких столетий, а не только в тот исторический момент, когда произошло завоевание. Само собой разумеется, что мы говорим не о завоевании, а о правомерном, самого себя поддерживающем государственном строе. Но бывают случаи, которые сильнее говорят против нашего положения, чем пример турецкой райи. Несомненно существуют примеры, что в ином государстве распространено всеобщее недовольство не какими-либо частными отдельными правительственными мерами, а самым основным политическим строем его и, несмотря на это, он сохраняется и продолжает существовать многие и многие годы. Но не должно забывать — что однако же так часто забывается — что все так называемые политические, экономические и вообще общественные силы не самобытны, не непосредственны, как, например, силы физические, а могут действовать лишь через посредство индивидуального сознания, — а для того, чтобы достигнуть его, чтобы оно уяснилось и определилось, требуется очень и очень много времени; а пока это не произойдет, старый порядок продолжает держаться, по инерции, по привычке, и в этом случае все распадается при первом толчке, пришедшем извне или изнутри.

Можно представить и такое фактическое возражение. Если государственный строй есть выражение народной воли, то каким образом объяснить непрерывные перемены этого строя во Франции в последнее столетие, в течение которого различного вида и характера республики, империи и королевские монархии сменяли друг друга? Неужели народная воля могла столь быстро меняться, воля, которая имела даже возможность ясно и открыто себя заявлять и по-видимому заявляла себя? Иные думают даже, что некоторые из этих перемен, например, установление второй империи, было чистым подлогом, подтасовкой голосов. Мнение, очевидно, несправедливое; если и был в самом деле подлог, он мог простираться на сотню, другую тысяч голосов, с целью представить в большем блеске единодушие французской нации, а не

на все миллионы действительно поданные в пользу Наполеона¹. Дело очевидно в том, что как отдельный человек, так и целый народ может потерять твердость, ясность и определенность своих убеждений, и результатом этого будет в обоих случаях шаткость всех поступков. С народом, как существом коллективным, может произойти еще и иное: убеждения народа могут потерять свою цельность, свое единство, разделиться так, что ни одно из них не будет иметь бесспорно преобладающей силы. Тогда, очевидно, то или другое из них будет брать перевес, смотря по случайным обстоятельствам. Это без сомнения и имело и имеет до сих пор место во Франции. Конечно Вандейцы, жители Бретани, имели в эпоху первой Французской революции весьма определенное и ясное политическое убеждение и выразили его в своем героическом восстании, но убеждение это было совершенно не то, которым было одушевлено население Парижа. После всех этих треволнений, в духе французского народа осталось твердым и незыблемым только одно политическое убеждение самого общего характера, то, что Франция должна быть независимою и сильною державой, — и это убеждение свое проявил он и в 1870 и 1871 годах, проявляется и теперь, не жалея никаких жертв на устройство своих вооруженных сил. Но затем, какая государственная форма должна быть усвоена этою, непременно сильною и независимою, Францией, это для большинства французов стало неясным и неопределенным, а для тех, для кого оно и определено и ясно, для тех, кто имеет политические убеждения (верные или не верные, это все равно), они чрезвычайно различны.

Диаметральную противоположность с Французским представляет в этом отношении Русский народ. Его политические воззрения, его политическая воля до того ясны, определены и цельны, что даже их нельзя назвать воззрениями, убеждениями и даже волей, потому что понятие воли предполагает выбор, оценку pro и contra². Политические воззрения и убеждения, государственная воля Русского народа составляют непреложный политичес-

кий инстинкт, настоящую политическую веру, в которой сам он не сомневается и относительно которой никто, сколько-нибудь знакомый с нашим народным духом, усомниться не может. Я позволю себе привести следующее место из моей книги «Россия и Европа», ясно выражающее мою мысль:

«Нравственная особенность русского государственного строя заключается в том, что Русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более или менее искусственного государственного механизма только, а по глубоковкорененному народному пониманию, сосредоточенный в его Государстве, который, вследствие этого, есть живое осуществление политического самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе. Вот смысл и значение русского самодержавия, которого нельзя поэтому считать формой правления в обыкновенном смысле, придаваемом слову форма, по которому она есть нечто внешнее, могущее быть измененным без изменения сущности предмета, могущее быть обделанным как шар, куб или пирамида, смотря по внешней надобности, соответственно внешней цели. Оно, конечно, также форма, но только форма органическая, т.е. такая, которая не делима от сущности того, что ее на себе носить, которая составляет необходимое выражение и воплощение этой сущности. Такова форма всякого органического существа, от растения до человека; посему и изменена, или, в применении к настоящему случаю, ограничена такая форма быть не может. Это невозможно для самой самодержавной воли, которая по существу своему, т.е. по существу народу политическому идеалу, никакому внешнему ограничению не подлежит, а если воля свободная, т.е. самоопределяющаяся» (стр. 501).

Сомневаться, что таково именно понятие Русского народа о власти Русского Государя, невозможно; спрашивать его об этом бесполезно и смешно. Такой вопрос был уже задан ему самою ис-

торией, и ответил он на него не списками голосов опускаемыми в урны, а своими деяниями, своим достоянием и кровью. Было время, когда государство в России перестало существовать, когда была *tabula rasa*, на которой народ мог писать, что ему было угодно. Он по слову Минина собрался и снарядил рать, освободил Москву и вновь создал государство по тому образцу, который ясными и определенными чертами был запечатлен в душе его. Изменился ли с того времени этот постоянно присущий ему образ, и если б, избави Боже, ему пришлось вновь проявить эту свою творческую, зиждительную деятельность, не так ли же точно он бы поступил, как и в приснопамятных 1612 и 1613 годах? Пусть всякий вдумается в этот вопрос и ответит на него пред своею совестью, не кривя душой!

Но, при таком понятии народа о верховной власти, делающем Русского Государя самым полноправным, самодержавным властителем, какой когда-либо был на земле, есть однако же область, на которую, по понятию нашего народа, власть эта совершенно не распространяется, — это область духа, область веры. Может быть скажут, что тут нет никакой особенности Русского народа, что вера всегда и везде составляет нечто не подлежащее никакой внешней власти, что всевозможные принуждения и гонения никогда не достигали своей цели. Но дело не в принуждениях и гонениях, а в том, что мнение, в других отношениях высокоразвитые и свободлюбивые народы, не придавали такого первенствующего, важнейшего значения внутреннему сокровищу духа, — так что предоставляли решение относящихся до него вопросов государственной власти, между тем как за малейшее право внешней, гражданской, или политической, свободы стояли с величайшею твердостью. Укажу лишь на примере свободлюбивой Англии, в которой, начиная с Генриха VIII³, правительственные власти составляли догматы, литургию и обряды нового вероисповедания таким точно путем, как составляются всякие другие законодательные билли. Таким путем состряпанное вероисповедание и есть анг-

ликанское, которое из рук правительства было принято тогда же большинством Английского народа, и теперь им удерживается. Рыцари наших прибалтийских губерний перешли из католичества в лютеранство — слышал ли кто-нибудь о сопротивлении этому переходу со стороны Эстонского и Латышского народа? Да и во время реформации все исходило от владетельных князей, баронов, городов, а про народ в различных договорных актах того времени говорилось, что он должен следовать за своим сюзереном и, действительно, он за ним послушно следовал. Надо ли указывать на то, что не так понимал и понимает дело веры Русский народ?

Я уже сказал, что и политический строй Русского государства составляет предмет настоящей политической веры Русского народа, которой он держится и будет, несмотря ни на что, твердо и неизменно держаться именно как веры. Если, следовательно, когда-либо Русский Государь решится дать России конституцию, то есть ограничить внешним формальным образом свою власть, потому ли, что коренная политическая вера его народа была бы ему неизвестна, или потому, что он считал бы такое ограничение своей власти соответствующим народному благу, то и после этого народ, тем не менее, продолжал бы считать его государем полновластным, неограниченным, самодержавным, а следовательно, в сущности он таковым бы и остался. Конечно, государь, подобно всякому человеку, может и должен себя ограничивать; но он не может сделать, чтобы это самоограничение, т.е. истинная свобода, стало ограничением внешним, формальным, извне обязательным, т.е. принудительным. В самом деле, в чем бы это внешнее ограничение заключалось, на что опиралось бы оно, когда народ его бы не признал и не принял? А он его не принял бы и не признал бы, потому что мысли об этом не мог бы в себя вместить, не мог бы себе усвоить, как нечто совершенно ему чуждое. Конечно, он исполнял бы всю повеленную ему внешнюю обрядность, выбирал бы депутатов, как выбирает своих старшин и голов, но не придавал бы этим избранным иного смысла и значения как под-

чиненных слуг царским, исполнителей его воли, а не ограничителей ее. Что б ему ни говорили, он не поверит, сочтет за обман, за своего рода «золотые грамоты». Но если бы, наконец, его в этом убедили, он понял бы одно, что у него нет более царя, нет и Русского царства, что наступило новое Московское разорение, что нужны новые Минины, новые народные подвиги, чтобы восстановить царя и царство...

Итак, внешнее формальное ограничение царской власти — что и составляет единственный смысл, который можно соединить со словом конституция — немыслимо и не осуществимо; оно осталось бы пустою формой, не дающего никаких других гарантий или обеспечений политических и гражданских прав, кроме тех, которые верховная власть хочет предоставить своему народу, насколько и когда этого хочет — как всегда от ее воли зависящий, и ни от чего иного не зависящий дар.

Для гарантий, для обеспечения прав, скажем прямо, для ограничения царской власти очевидно нужно иметь опору вне этой власти, а этой-то опоры нигде и не оказывается. Желаемая конституция, вожденный парламент ведь никакой иной опоры, кроме той же царской воли, которую они должны ограничивать, не будут и не могут иметь. Каким же образом ограничат они эту самую волю, на которую единственно только и могут опираться? Ведь это *ponsense*, бессмыслица. Архимед говорил, что берется сдвинуть даже шар земной, но лишь под условием, что ему дадут точку опоры вне его. Только Мюнхаузен считал возможным решить подобную задачу иным образом, вытащив себя за собственную косу из болота, в которое завяз.

Как же назвать после этого желание некоторыми, конечно весьма немногими в сущности, русской конституции, русского парламента? Как назвать учреждение, которое заведомо никакого серьезного значения не может иметь, как назвать дело имеющее серьезную форму, серьезную наружность при полнейшей внутренней пустоте и бессодержательности? Такие вещи на общеприня-

том языке называют мистификациями, комедиями, фарсами, шутовством, и русский парламент, русская конституция ничем кроме мистификации, комедии, фарса или шутовства и быть не может. Хороши ли или дурны были бы эта конституция и этот парламент, полезны или вредны — вопрос второстепенный и совершенно праздный, ибо он подлежит другому, гораздо радикальнейшему решению: русская конституция, русский парламент невозможны как дело серьезное, и возможны только как мистификация, как комедия. Придать серьезное значение конституционному порядку вещей в России — это ни в чьей, решительно ни в чьей власти не находится.

В наш век, очень обильный курьезами, мы видели уже в одном государстве пример такой конституционной мистификации, такой парламентской комедии. Шутовское представление было дано в Константинополе в 1877 году, после того как русские войска перешли уже через Прут. Сам устроитель его Мидхат⁴, дарователь — султан, участники — депутаты и зрители (публика эта впрочем была очень малочисленна, ибо едва ли кто из подданных султана удостоивал малейшего внимания отчеты, печатаемые в газетах, о дебатах Стамбульского парламента), все, без исключения, знали, что устроена была мистификация и комедия. Впрочем, она имела еще некоторое оправдание. Мистификация была рассчитана не на турецкую, а на европейскую публику. Даже нельзя сказать, чтоб и ее надеялись обмануть. Дело было предпринято с совета и согласия Англии, с мыслью, не удастся ли обмануть Россию, не отступит ли она пред упреками европейского общественного мнения в гонении свободных государственных форм, в гонении зарождающейся свободы. Но фарс был слишком груб. Россия пошла своим путем, и даже со стороны европейского общественного мнения упрека этого не последовало.

Но даже и этого жалкого оправдания не выпало бы на долю желаемой некоторыми Петербургской комедии. При чтении некоторых наших газет, мне представляется иногда этот вожде-

ный Петербургский парламент: видится мне великолепное здание в старинном теремном русском вкусе, блистающее позолотой и яркими красками; видится великолепная зала в роде Грановитой Палаты, но конечно гораздо обширнее, и в ней амфитеатром расположенные скамьи; сидящие на них представители Русского народа во фраках и белых галстуках, разделенные, как подобает, на правую, левую стороны, центр, подразделенный в свою очередь на правый, левый и настоящий центральный центр; а там вдали, на высоте, и наша молниеносная гора, — гора непременно: без чем другого, а без горы конечно уже невозможно себе представить русского парламента; затем скамьи министров, скамьи журналистов и стенографов, председатель с колокольчиком, и битком набитые элегантными мужчинами и дамами, в особенности дамами, трибуны, и наконец и сама ораторская кафедра, на которую устремлены все взоры и направлены все уши, а на ней оратор, защищающий права и вольности русских граждан. Я представляю себе его великолепным, торжествующим, мечущим громы из уст и молнии из взоров, с грозно поднятою рукой; слышу восторженные: слушайте, слушайте, браво, и иронические: о-го! Но между всеми фразами оратора, всеми возгласами депутатов, рукоплесканиями публики, мне слышатся, как все заглушающий аккомпанемент, только два слова, беспрестанно повторяемые, несущиеся ото всех краев Русской земли: шут гороховый, шут гороховый, шуты гороховые!

Неужели пало на голову России еще мало всякого рода стыда, позора и срама, от дней Берлинского конгресса до гнусного злодеяния 1 марта, чтобы хотеть навалить на нее еще позор шутовства и святочного переряживания в западнические костюмы и личины!

Мшатка 21 апр. 1881 г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШЕГО НИГИЛИЗМА

По поводу статьи: «Этюды господствующего мировоззрения»

(Русь 1884, 15 ноябр. и 1 дек.)

Помещенная под выписанным заглавием статья г. К. Толстого¹ в № 16 «Руси» (1884) показалась мне чрезвычайно интересною, как искренний голос человека, принадлежавшего к числу адептов учения, окрещенного у нас именем «нигилизма», затем понявшего его ложность и возвратившегося к более правильному взгляду на вопросы нравственности и политики, и откровенно излагающего, что именно заставило его, а вероятно и многих других, примкнуть к нигилистическому исповеданию, а затем отрешиться от него. В конце статьи автор изъявляет благодарность за всякие указания на ошибки и неясности.

Мне захотелось заслужить ее, указав на то, что представляет, по моему, неясности и недоразумения именно по вопросу о происхождении и широком распространении нигилистического учения, получившего такую странную привлекательность для молодежи и для стариков в оные дни, а затем изложить и собственные мои мысли по этому предмету.

Если я верно понял мысль автора, то причина, оттолкнувшая людей из поколения начала шестидесятых годов от христианских идеалов, заключалась в загрознении и опошлении их разными Иудушками или Тартюфами, и что такое же загрознении о опошление новых идеалов нигилистической этики Юханцовыми² и собратней заставили многих, подобным же образом, отвратиться и от этих последних. — Что таков действительно был исторический процесс смены убеждений у автора и у многих других отдельных лиц, к чести их чувств, но не к чести их логики, — этому вполне я верю; и тому, что «у большинства вера эта (новая, нигилистическая) была вполне искренняя и горячая, что во всем про-

цессе перемены идеалов не было ни следа (у большинства только конечно, а не у всех же) преднамеренного самораспускания, подделки, фальши и вообще какой-нибудь недобросовестности». Но если все это так было, то какое же было непонимание целей, какое отсутствие всякой логики! Говоря так, я имею в виду не вообще материалистическое учение, полагающее свое основание в области чистого мышления, а не в потребности новых нравственных начал, — а именно нигилистический материализм, который при самом своем возникновении вступил прямо в нравственную сферу и потому в ней же и коренится, по выражению г. К. Толстого. — Да, изумительная нелогичность господствовала в умах! Только она и позволяет понять недоумение автора, когда он, описав процесс возникновения Юханцовых и вообще того, что он весьма верно называет порнофикацией русского общества, из новых идеалов, восклицает: «таков обыкновенный процесс опошления идеалов», и, вслед за тем, еще недоумевает, говоря: «но в данном случае необыкновенна та быстрота, с которою наши новые идеалы опошлись, между тем как идеалы христианства так долго господствовали, и еще доселе продолжают господствовать над человечеством». Удивляться тут нечему и не над чем недоумевать. Причина всего этого заключается не только в различии качеств самих идеалов, которое конечно признает и сам автор, но еще и в другом, весьма существенном для занимающего нас вопроса, обстоятельстве, которое по-видимому не столь для него ясно. Дело в том, что ни в Иудушках, или, общее и понятнее, ни в Тартюфах, с одной стороны, ни в Юханцовых со братиею, с другой, нет ни малейшего загрязнения и опошления идеалов, а есть нечто совершенно иное. Все Иудушки, Тартюфы и вообще все искажители христианства или зазнамо отрекаются от его идеалов, зазнамо поступают совершенно вопреки им и лишь маскируются их личиною; или, по крайней грубости своего ума и чувства, вовсе не понимают этих идеалов; или, наконец, по слабости и немощи человеческой природы, не согласуют с ними своей жизни вообще,

или в отдельных случаях, также более или менее ясно сознавая это. Очевидно, что ни в одном из этих трех случаев нет ни загрождения, ни опошления христианских идеалов, продолжающих по-прежнему пребывать чистыми и недосыгаемо высокими; а есть только или полное их отрицание, или теоретическая, или практическая непоследовательность им, или обе вместе. — Но точно так же и новые Иудушки и Катоны³ от нигилизма, как называет их наш автор, вовсе не опошляют и не загрождают своих новых этических идеалов. Совершенно напротив, эти практические нигилисты только одни из последователей нового учения и выказали полное логическое его понимание, одни только и были вполне последовательны, верны его духу.

Глубокое различие и даже совершенная противоположность между идеалами и последователями христианства, с одной стороны, и идеалами и последователями нигилизма (так для краткости буду называть новое учение), с другой, заключается между прочим в том, что практика никогда не достигала, если позволено так выразиться, теории христианства; в новом же учении, напротив того, практики превзошли самых последовательных теоретиков и в правильности его понимания, и в логической строгости выводов из него. Собственно они одни и заслуживают название нигилистов, потому что они одни остались вполне верными новому нравственному кодексу, правильно вывели из него все его действительные, а не мнимые последствия и осуществили их, в степени весьма близкой к совершенству, в жизни. Можно ли после этого назвать этих столпов нигилизма загрождителями и опошлителями своего учения? Теоретики же его оказались слабыми, непоследовательными, не понимающими сущности дела. Поэтому они и свернули с настоящего пути нигилизма куда-то в сторону, прицепили к своим метафизическим основам совершенно не идущий к ним и чуждый хвост, в котором, скажу не обинуясь, все-таки, по счастливой непоследовательности человеческой природы, стали видеть сущность и

главное содержание своей новой, собственно уже псевдонигилистической веры. На многое, и чересчур многое, хватило у них духу; но все же не хватило на строгое и последовательное проведение ими же признанных начал. Этого хватило только у Юханцовых со братией, которых можно называть кем угодно, только никак уже не загрязнителями, не опошлителями начал, ими исповедуемых.

Для доказательства, стоит только несколько вникнуть в символ новой веры, как он изложен самим г. К. Толстым.

«Существование Верховного Разума, построившего вселенную и пекущегося о ней, нет возможности допустить. Это член первый. — Вне материи и сил ей присущих, вселенная ничего в себе не содержит. Это второй член. — Человек есть машина, с разрушением которой исчезает всякая ее способность в какой бы то ни было работе. Это третий член». — И в этих трех членах и заключаются все так сказать, метафизические основы учения. Все дальнейшее уже будет этическими и политическими следствиями, из коих правильно выведено только первое: «цель жизни есть счастье», что и примем за четвертый член символа. Но уже определение счастья совершенно не согласно с только что приведенными началами. Счастье должно будто бы состоять в свободном упражнении всех способностей и в возможно полном удовлетворении всех потребностей. Последнее конечно так, потому что удовлетворения потребностей несомненно приносят удовольствия, совокупность которых и составляет счастье. Но упражнение всех способностей! С какой стати? Не всех, а очевидно только тех, упражнение коих приносит удовольствие! Нужны ли доказательства? Возьмем очень известный пример: знаменитый музыкант России, конечно, обладал композиторскими способностями, но, как известно, в течение значительной части своей жизни совершенно перестал упражнять их. Значит удовольствия это упражнение ему не доставляло. Очевидно, что с точки зрения, на которую мы стали, счастьем может быть названо лишь то, что или прямо доставляет удовольствие,

или, по расчету каждого, может доставить ему средства для удовольствий в будущем, в течение того времени, конечно, в которое машина его, по вероятному расчету, может действовать, т.е. сознавать и ощущать, — вот и все.

Еще неосновательнее и непоследовательнее, с точки зрения доставления счастья, дальнейшее разделение способностей и потребностей на естественные и искусственные, и неизвестно откуда взятая необходимость уничтожения потребностей названных искусственными. «Справедливо ли это разделение и эта необходимость подавления некоторых потребностей с какой-либо объективной точки зрения, — до этого», скажет последовательный адепт нигилистического учения, «верующему лишь в вышеизложенный трех или, пожалуй, четырехчленный символ, нет никакого дела, и нет ни малейшего основания признавать это деление и соглашаться на подавление потребностей отнесенных к разряду искусственных. «Для меня важно только то: приятно ли мне будет это подавление, или болезненно, и если даже и не болезненно и не неприятно, то не лишит ли меня это подавление некоторой доли удовольствий, которые я мог бы испытывать при удовлетворении этих не нравящихся кому-то потребностей, если бы они во мне сохранились? А при таком положении дела, во имя чего же я соглашусь на их подавление, то есть на пожертвование долею моего счастья вопреки четвертому члену символа? Без крайней непоследовательности, без ничем не мотивированного отступления от моего четырехчленного символа, я решительно не могу признать, ни за собою, ни за кем-либо другим, права на такую ампутацию или кастрацию. — Я человек с чрезвычайно тонкою способностью ощущать разного рода материальные наслаждения. Я люблю приятные щекотания нервных сосочков моего языка разными изящными яствами и питьями, различаю их и наслаждаюсь ими с тонкостью Лукулла⁴ или Апиция⁵. Фламинговы или соловьиные языки, приправленные гастрономическими соусами, или страсбургские пироги доставляют мне неизъяснимое наслаж-

дение, и потому составляют значительную долю моего счастья. С какой же стати я подчинюсь решению каких-то непоследовательных нигилистов-теоретиков, не умеющих сколько-нибудь логически связать предыдущее с последующим, посылок с заключением, и вздумавших поместить такие гастрономические потребности в разряд искусственных?»

«Но может быть теоретики сделают мне в этом случае уступку, допустив, что гастрономические потребности естественны, — благо ведь и животные, доставляющие норму для деления, имеют их в некоторой, хотя бы очень слабой степени. Вот и моя собака, когда не голодна, не ест куска черного хлеба, а с наслаждением проглатывает, если я обмочу его в жирный соус. Благодаря собаке, и вообще зоологическим наблюдениям нигилистов-теоретиков, я могу успокоиться. Но ведь я не удовольствуюсь этою снисходительностью. Я не только гастроном, но еще и очень тщеславный человек. Похвалы, лесть, всякое поклонение моей особе и фирмам мне воскуриваемый приносят мне невыразимое удовольствие и потому также составляют значительную долю моего счастья, можно даже сказать, оставив в стороне разные пустяки и мелочи, составляют все мое счастье, достижению которого я готов всем пожертвовать, — но этим счастьем никому и ничему. Оглядываясь на собак и зоологию вообще, и вижу, что тут они уже решительно против меня, что они возвещают на все голоса, что потребность моя наискусственнейшая, и что пощады ей никакой оказываемо быть не может, по нигилистической лжелогике. Из-за чего же опять я пожертвую ею в угоду систематическим фантазиям моих учителей?»

Пойдем далее.

«Люди соединяются в общество во имя материальных удобств и взаимной выгоды»... «Это довольно согласно с символом», скажет мой логически-последовательный адепт, «кроме однако же словечка взаимной; но в виду согласия в главном, спорить не стану и лицемерно приму и это словечко, тем более, что неопровержи-

мо могу заключить: если «взаимной», то конечно и моей, а так как в этом для меня и вся сила, ибо ведь, если другим есть нечего, — мой желудок голода не ощущает, и если других бьют плетями или палками, — моей спине не больно; то в этом именно смысле и буду я понимать слово взаимной. Но ведь и это мало: ясно и очевидно, что если будут пусты желудки, и спины будут подвергаться ударам плетей и прочего, и если я буду иметь при этом некоторую возможность распоряжаться увеличением и уменьшением этой пустоты, учащением или разряжением этого палочного дождя, падающего на спины, то из этого произтекут немалые для меня удобства и выгоды, ибо во избежание этих, частью от меня зависящих, зол, и в видах приобретения противоположных им благ, многие будут мне угождать, или, как говорится, многих буду я в состоянии эксплуатировать из числа моих сочленов по обществу. Конечно, этот способ приобретения счастья требует двух условий, очень впрочем ценимых адептами нового учения: ума и энергии, при совершенной бессовестности; но совести откуда же и взяться при исповедывании нашего нового символа?»

«Следовательно, энергетическим, умным и логически последовательным исповедникам нигилистической веры, и мне в том числе, предстоит решить очень простую задачу: при допущении даже возможности осуществления радикального общественного переворота, будто бы вытекающего, как логическое требование, из означенных принципов или членов символа, будет ли доля личного моего счастья, понимаемого в истинном, сообразном с учением смысле, больше или меньше той, которой можно надеяться достигнуть при эксплуатации не будущего, находящегося еще за горами, а теперешнего общества? Ответ не может быть сомнительным, Та тысячемиллионная доля общего счастья человечества, или точнее его материального благосостояния и его материальных наслаждений, которая падает на мой удел, может ли она идти в сравнение с тою, которую я имею гораздо вернее и безопаснее благоприобрести от эксплуатации моих сочленов теперешнего общест-

ва, при том уме, той энергии и той бессовестности, которые в себе сознаю? Ведь первая доля ни в каком случае не может многим превосходить того, что мне может тогда доставить, положим, и при более благоприятных чем ныне кооперативных условиях, один мой личный труд. Пусть будет она равняться концентрированным во едино долям благосостояния или счастья теперешних двух и даже трех русских мужиков, или хотя бы и французских, английских или немецких фабричных рабочих, — больше ведь уже нельзя предположить по самому щедрому расчету. Куда же как еще далеко этот доле до счастья доставшегося, например, г. Юханцову, не только во времена его славы и блеска, но и после того, как его дело сорвалось, и ему пришлось искупить свою логическую последовательность новым принципам жительствова в местах отдаленных!»

«По всем этим соображениям», продолжал бы мой адепт, «хотя я пожалуй и согласен, что единственным критерием нравственных отношений между членами общества, вытекающим из основных положений нашего символа, является арифметика, но однако же совершенно не та арифметика, которую приняли, по своей крайней нелогичности, теоретики нигилизма. Моя арифметика превозглашает вовсе не равенство и не равноценность всех членов общества, и вовсе не то «что выгода большинства есть абсолютное добро, а выгода меньшинства — абсолютное зло». Это совершенно не касающийся до меня вывод, какой-то сбоку припек к единственно признаваемой мною обязательной для меня метафизике, заключающейся в не раз упоминавшемся символе. Он ясно, громко гласит мне, без малейшей возможности непонимания или недоразумения: Аз есмь единица, всезатмевающая, всепоглощающая — и только аз един. Все прочие — ничтожные дробинки; и это только из вежливости, — а собственно нули, только тогда нечто для меня значащие, когда, как и по обыкновенной арифметике, будучи справа ко мне приставлены, удесятят, усотеряют, утысячат долю моего счастья... — Если мне возразят: ты, мнящий себя

быть этою исключительною единицею, а всех прочих принимающий за нули, ведь и сам подвергаешься такому же принятию и тебя за нуль со стороны других, также мнящих себя единицами, — я не убоившись отвечу: это уже мое дело защитить свои притязания, на то я от природы умен и энергичен, а по исповедуваемому мною символу бессовестен. Разве вы не принимаете борьбы за существование, за верховный мироправительный закон, только недавно нам возведенный и потому вероятно и не успевший еще попасть в наш символ, как четвертый или пятый его член? Оно правда, соглашусь я далее, за умных и энергичных признают себя многие, но ведь большинство их конечно ошибается, и пусть себе ошибается, тем лучше для действительно умных, энергичных и последовательных. Результатом этого может быть только то, что общество, и до, и после проповедуемого переворота, разделялось, разделяется и будет разделяться на овец поедаемых и стригомых, т.е. глупых и непоследовательных, каково большинство, и на волков поедающих и лжепастырей стригущих, т.е. умных, энергичных и, главное, последовательных. — Таким образом, и при новом учении, хотя в сущности все останется старым по старому, но однако же с значительным, смею даже сказать с огромным, усовершенствованием, и это без всякой надобности в каком-либо внешнем перевороте. Что теперь считается аномалиею, противоречием нравственному закону, и от времени до времени в том или в другом даже отчасти и исправляется, как это недавно и у нас в России случилось в освобождении крестьян, — то сделается общим явлением; ибо, в теперешнем обществе, как оно ни несовершенно, зло значительно умеряется потребностями, считаемыми нашими теоретиками искусственными, то есть потребностями нравственными и религиозными, ощущаемыми и признаваемыми многими умными, энергичными и последовательными с их точки зрения людьми, потребностями, которые, при распространении нашего символа, конечно отойдут в область предрассудков и никого уже беспокоить не будут».

«Новая нравственная арифметика, не та, которую приняли непоследовательные теоретики нигилизма, ибо та на воздухе висит, а та, которая только что была строго логически выведена из нашего нового символа, отождествляется с новою нравственною философиею, которую, по аналогии с метафизическим учением Фихте, можно пожалуй назвать этикою субъективного эвдемонизма, то есть учением, по которому только счастье лично мною ощущаемое может иметь притязание на реальное значение; счастье же всех остальных существ должно являться мне как пустой бред, греза, галлюцинация, на которые никакому умному и последовательному адепту учения нет не только никакой надобности, но даже и никакой возможности обращать малейшее внимание».

Вот единственно как должен и как мог бы говорить действительно последовательный ученик того нового учения, которое изложил нам г. К. Толстой, как учение начала шестидесятых годов, прозванное нигилизмом. Эти единственно возможные из него выводы — не какие-либо запутанные комбинации, за которыми трудно было бы следить обыкновенному здравому смыслу, и выводы простые, ясные, как говорится, на ладони лежащие и сами собою напрашивающиеся всякому дающему себе самый малый труд в них вникнуть. Поэтому, никоим образом не могут быть они и названы загрязнением, опошлением или искажением идеалов, из коих истекают, тогда как они напротив того очевиднейшие и законнейшие следствия из основ нового мировоззрения. — Не тому должно удивляться, что опошление этих идеалов, и то весьма неполное и несовершенное, — (ибо, по словам нашего автора, теперь еще имеют они много приверженцев, именно будто бы все группы нашей интеллигенции, кроме славянофилов и консерваторов), — потребовало только тридцати лет; а удивительно скорее то, что такое мировоззрение могло почитаться источником для нравственного идеала в течение хотя бы тридцати минут. Как могла несостоятельность его сразу не броситься в глаза людям, и искавшим

то именно нравственных идеалов? Также точно, возможно ли себе представить, чтобы примеры лицемерия Иудушек и Тартюфов, и примеры грубого непонимания христианства, которые, как мы выше видели, никоим образом нельзя признать за загрязнение, опошление или искажение его действительных идеалов, могли возбудить жажду к отысканию новых высших идеалов и утолить ее, хотя бы на самый краткий срок, теми основными мировоззрениями, как бы плохо их кто ни понимал, которые нам излагает и по моему совершенно верно излагает, г. К. Толстой? Эти воззрения ровно никаких нравственных начал в себе не содержат — разве только те, которые излагает Карлейль в своей философии свиней: «Что такое справедливость?» (и нравственность, можно прибавить). — «Моя собственная доля в свином корыте, и никакой вашей доли». — «Но что составляет мою долю?» — «А в этом-то и лежит великое затруднение. Свинья наука, размышляя над ним долгое время, решительно ничего не могла установить. Моя доля — хрюк, хрюк, — моя доля будет вообще то, что я могу захватить не будучи повешен или сослан на каторгу».

Поэтому и нельзя согласиться с положением, что жажда нравственного идеала могла служить причиной как происхождения, так и распространения нигилистического мировоззрения между нашею молодежью шестидесятых годов и вообще в нашем обществе, и должно думать, что наш автор в этом обманывается. Таким образом, и это новое объяснение происхождения печального явления нашей жизни, известного под именем нигилизма, должно быть причислено к числу несостоятельных. Таковыми же представляются мне и все те, которые предлагались с разных сторон и стали ходячими в разных частях нашего общества, смотря по излюбленному в них направлению. Перечислим и разберем их вкратце, прежде чем предложим свое.

Одни, впрочем немногие, связывают происхождение и распространение нигилизма с крепостным правом, и притом двояким образом: во-первых, тем, что некоторые, лишившись своих

выгод и прав, были подвинуты этим к отмщению за понесенный ими ущерб, точно так например, как рабовладельцы Соединенных Штатов, и сделались возбудителями, тайными конечно, всяких противообщественных учений, как материала для последующих противообщественных действий. Во-вторых тем, что люди, испорченные крепостною зависимостью от них крестьян, привыкшие к приобретению средств к жизни чужим трудом, очутились в безвыходном положении и, будучи не способны к какой бы то ни было трудовой деятельности, обратились в самый пригодный материал для восприятия вредных учений. Странное дело! — такое мнение высказывалось и со стороны очень либеральных людей, и со стороны очень нелиберальных. Оно до такой степени невероятно и противоречит фактам, что на опровержение его не стоит и тратить слов. Достаточно сказать, что весь кодекс нигилистического учения был уже готов до освобождения крестьян, хотя впрочем возможно, что несколько неудачников и этого происхождения увеличили собою нигилистический контингент.

Приписывают также нигилизм влиянию наших политических врагов, преимущественно конечно Поляков. Нет никакого сомнения, что всякими вредными для России, ослабляющими ее внутренние силы, явлениями Поляки готовы воспользоваться и, по мере возможности, им содействовать, а, следовательно, и нигилизм им на руку; но породить его они конечно не могли, уже по одному тому, что явление в области мысли (хорошее или дурное) возбуждается только словом печатным или устным и производится не вдруг, а постепенно и исподволь. Когда Поляки получили некоторую возможность таким образом действовать, нигилизм был уже готов. Но главное здесь то, что идеи нигилистического пошиба между Поляками вовсе не господствовали, и имели может быть менее хода, чем в какой-либо другой стране, так как мысли их были направлены совершенно в иную сторону, не к материализму, а напротив того к фантастическому идеализму и таковой

же религиозности, с совершенно им специально лжепатриотической окраскою! Следовательно, чтобы передать нам вредное учение, они должны бы были его искусственно сочинить собственнo с целью преподнесения его нам, и сделать это заранее, предупредительно. Но это есть уже сама по себе вещь совершенно несообразная, ибо развивать и распространять с успехом можно только то, во что сам веруешь искренно и сильно. Возможность распространения ложных учений, религиозных и других, путем сознательного обмана давно уже всеми отвергнута. Наконец, мы просто знаем, что фактически ничего подобного не было во времена предшествовавшие обнаружению нашего нигилизма, когда он подготавливался, возрастал и развивался. Идеи конституционализма, политической свободы, революции, также как идеи о неправоте России в завладении так называемыми польскими, а в сущности коренными русскими землями, — идеи, которые господствовали и господствуют между Поляками, могли быть ими распространены и развиваемы у нас, как без сомнения это издавна и делалось; но относительно идей философского, эстетического и нравственного характера, к числу коих конечно принадлежит, хотя и как уродливый выродок, и нигилизм. Поляки, думаю я, неповинны, т.е. неповинны в их зарождении и первоначальном распространении, хотя, видя их злобредность для России, они конечно впоследствии не преминули содействовать их дальнейшему преуспеянию и распространению, а главное — придаче им той политической и социальной окраски, которая согласовалась с их целями. Еще более, думаю я, виновны они, не только примером ржонда, жандармовешателей, кинжальщиков, но без сомнения и прямым участием, в порождении террористического направления тайных обществ, совершивших столь ужасные преступления и принесших столько зла.

Далее, приводят нигилизм в генетическую связь с нашим школьным делом, и притом двумя диаметрально противоположными путями. Одни утверждают, что наша последняя учебная ре-

форма средних учебных заведений, классицизм, и вообще более строгое, а по мнению их даже чересчур строгое и требовательное отношение к занятиям учеников, как в течении курсов, так и при экзаменах, заставляя многих выходить из заведений до срока, не получив ни прав, ни знаний для каких бы то ни было занятий, обращали их в неудачников, не имевших куда головы преклонить и без средств зарабатывать себе хлеб насущный. Для этих несчастных, недовольных, озлобленных, не оставалось, говорят, иного пути, кроме пути крайнего отрицания, на который ничего и не стоило их натолкнуть. — Совершенно верно, что и эти неудачники могли увеличивать и действительно увеличивали контингент нигилистов, но что не в них заключался корень зла — об этом, кажется, также нечего и говорить.

Другие, напротив того, утверждают, и по-видимому с гораздо лучшим основанием, что плохое состояние школ, после изменения учебного плана в сороковых годах, когда в средних заведениях было ослаблено изучение классических языков, и в особенности после реформы 1863 года, было главною причиною нигилистической заразы. Конечно, рассуждая с очень общей точки зрения, — в дурном учении, имеющем своим результатом неправильное понятие о вещах, или, что еще хуже — неспособность различать правильное от неправильного, истинное от ложного, можно видеть корень всякого нравственного зла. Но то вполне хорошее учение, которое давало бы в своем результате сообщение всем обучающимся правильного понятия о лицах, вещах и взаимных отношениях их, а главное — сообщало бы безошибочный критерий для различения лжи от истины, есть конечно и навсегда останется *primum desiderium*⁶, уже по одному тому, что это зависит не только и даже не столько от правильного преподавания, сколько от правильного восприятия и усвоения преподаваемого. При той же степени достижения этого идеала учения, образования и даже воспитания, до которой до сих пор доходили люди, можно, кажется, с достаточною вероятностью утверждать, что отношение чис-

ла отклонений от правильного здорового пути к числу последователей ему в смысле приближения к нравственной истине — очень мало зависит от состояния школ и даже вообще от состояния просвещения, как бы ни было оно, напротив того, influentially в других отношениях. Гораздо сильнейшее и можно сказать даже почти исключительное влияние в этом важнейшем деле имеют те господствующие в обществе и так сказать носящиеся в воздухе идеи, все равно истинные или ложные, которые приобретают власть над умами и сердцами людей, и влекут их неудержимо за собою в хорошую или дурную сторону, и или ставят их на высокую степень нравственного совершенства, или ввергают в бездну зла: первое видим мы, например, в первые века христианства, а второе в оргиях французской революции.

Что не плохое состояние наших школ вообще, и не отсутствие в них классического обучения в особенности, было причиною возникновения и распространения у нас нигилизма, видно до очевидности ясно из того, что в той стране, где обучение вообще, и притом именно классическое, находится уже давно на высокой степени совершенства — именно в Германии — преимущественно возник и распространился неоматериализм, не в кругу народа конечно, но в кругу интеллигенции, которая ведь только одна и пользуется как средним, так и высшим образованием, и в этом кругу спустился он довольно низко по лестнице общественных положений; а материализм есть не только корень нигилизма, но в теоретическом смысле даже совершенно с ним совпадает. Разве имена Фейербаха, Штрауса, Штирнера, Фохта, Молешотта, Бюхнера, Геккеля не имена корифеев и учителей нового материализма? Не они ли вместе с тем духовные отцы и родоначальники нашего нигилизма? Ибо, если это учение исходило в прошедшем столетии из Франции, от энциклопедистов и последователей их, то со второй половины настоящего столетия, и даже несколько ранее, не вырабатывалось ли оно преимущественно в Германии и не оттуда ли перешло и к нам?

Но не только чистый теоретический нигилизм заимствован нами оттуда, — не оттуда ли перешел к нам и социализм в новейшей форме его развития? И как для первого прямыми и непосредственными учителями конечно были означенные немецкие материалисты, так для последнего такими же учителями были для нас Лассаль⁷, Маркс и другие немецкие социалисты.

Итак, скажу я, ни классицизм, ни другая какая-либо педагогическая метода не может предохранить от порождения, развития и распространения как материализма и нигилизма, так и вообще ложных учений, также как и противоположная им не может их породить, конечно если она не прямо направлена на их сообщение учащейся молодежи. Само собою разумеется, что, говоря это, я вовсе не имел намерения сказать что-либо в осуждение принятой у нас теперь педагогической методы. Единственным моим желанием было показать, что нигилизм не есть наше русское самобытное явление, происшедшее как результат частных зол и неустройства нашей жизни; ни экономических и общественных, как крепостное право; ни политических, как неправильные наши отношения к Польше; ни педагогических, как плохое состояние наших школ. Я хотел также показать, что, хотя исправление как этих, так и многих других частных зол в высшей степени желательно, но что от каждого такого врачевания и можно ожидать только частных изменений, которые, по общей связи между всеми процессами органической жизни народа и государства, хотя и должны оказать некоторое полезное влияние и на прочие отправления общественной жизни, но все же останутся улучшениями частными, а не будут панацеями, от коих позволительно было бы ожидать всевозможных благ и исцеления от всевозможных зол, — нигилизм же есть симптом общей болезни. Но какой же именно? Где источник его? В чем состоит это болезненное состояние, которое проявилось столь опасным симптомом?

Мы уже собственно ответили на этот вопрос. Если нигилизм не результат какого-либо из частных зол наших, не протест, хотя и ложно направленный, против которого-либо из них, или против всех их в совокупности, если, далее, он не самобытное и специальное наше явление, а нечто заимствованное, как это показывают непреложные, неопровержимые факты, то и он есть дитя общей нашей болезни — подражательности.

Наш автор, с разбора мнений коего я начал свое рассуждение, говорит: «не мы его выработали (новое мировоззрение названное нигилизмом), оно стало как мир, — мы только собрали его по кусочкам из разных мыслителей всех веков и народов, да сшили самодельными нитками». Нет, и в этом было бы еще слишком много чести: такая компиляция, такое соображение и прилаживание разных частей в одно целое, хотя бы и лыком сшитое, было бы уже трудом несколько самостоятельным. Хотя древность учения и нахождение его у разных народов несомненны, но ни в древности, ни в современной разноплеменности мы ничего не исследовали, не отыскивали, не сопоставляли, не извлекали, а, как я уже сказал, взяли и теоретический материализм, и порождение его (хотя и незаконное) — новейший социализм — преимущественно из последнего немецкого издания, как в последнее время во всем привыкли это делать. Прежде подражательность наша была по крайней мере несколько эклектичнее.

Самостоятельность наша в деле нигилизма оказалась только в одном, — в том, в чем всякая подражательность самостоятельна, именно мы утрировали, а, следовательно, и окарикатурили самый нигилизм, точно также как и новейшие методы утрируются и принимают карикатурный вид, переходя на головы, плечи, талии провинциальных модниц и франтов.

Все различие между нашим нигилизмом и нигилизмом заграничным, западным, заключается единственно в том, что там он самобытен, а у нас подражателен, и потому, тот имеет неко-

торое оправдание, будучи одним из неизбежных результатов исторической жизни Европы, а наш висит на воздухе, ничем не поддерживается и ничем не оправдывается, и, несмотря на всю его печальность, есть явление смешное, карикатурное, составляет сюжет комедии, разыгранной нами на сцене истории, как впрочем и многие другие комедии и фарсы.

Вот если бы говорилось о самобытном европейском нигилизме, то было бы вполне уместно обращаться к загрязнению, опошлению и искажению идеалов, для объяснения бегства от них, жажды и алчбы новых идеалов.

В самом деле, посмотрим на идеалы религиозные, христианские! Мы увидим не Иудушек и Тартюфов, а родственные нам прибалтийские Славянские племена и рядом с ними Литовцев, Латышей, Эстов, затопленных в своей крови, обращенных в рабство, во имя христианского идеала, насильственно им навязываемого, что конечно есть его загрязнение и искажение; увидим то же самое и в новооткрытой Америке; увидим Крестовые походы против еретиков: Альбигойцев, Вальденцев, Гугенотов⁸, увидим Варфоломеевскую ночь; увидим святую инквизицию и святой иезуитский орден, употребляющий для своих целей отраву, убийство, развращение нравственности казуистикою; увидим торговлю благодатью, продажу индульгенций искупающих прошедшие, настоящие и будущие грехи, по столько-то за штуку или за дни, недели, месяцы и годы. Все это мы совершаемым не каким-либо Тартюфом или каким-нибудь отдельным лицом, и не как сознательно-лицемерное или бессознательно-грубое отступление от христианского идеала, — а как нечто якобы логически вытекающее из этого идеала, и притом, и это главное, совершаемое и проповедываемое теми, кто считал себя поставленным хранить Святую Святых и непогрешимо истолковывать ее истины и тайны, то есть самую римско-католическую церковь. Не мудрено, что наконец умы и сердца отвернулись от этого идеала, как от действительно загрязненного,

опошленного и искаженного. Протест и реформа понятны именно как бегство от загрязненного и как жажда нового, лучшего, высшего идеала. Казалось, он и воссиял в своей первобытной чистоте. Но лекарство вышло едва ли не хуже болезни. Идеал очищался, но очистка огнем рационалистической критики улетучила его, скобление выскоблило до разрежения в полное ничто, то есть в идеал чисто-личный, субъективный и, следовательно, произвольный, а по произвольности и необязательный; ибо всякий может его составлять по образу и подобию своему, своих чувств, страстей и мыслей. Ковчег его, церковь была разбита. Одни ложным пониманием и ложными выводами загрязнили идеал до неузнаваемости и оттолкнули от него души людей, другие улетучили его до полного исчезновения ложною методою очистки.

Подобно тому, как римский католицизм был нравственным и религиозным идеалом европейских народов, феодализм был их идеалом политическим, проистекавшим от завоевания. Цепь властей вершилась в императоре и нисходила от него через королей, герцогов, графов и баронов до последних звеньев власти, распределяясь между ними и над покоренными народами, и над завоеванными землями. Правильные отношения между этими звеньями, правомерное определение и ограничение власти сюзеренов над вассалами и главных вассалов — в свою очередь сюзеренов, — над второстепенными, и таковое же определение и ограничение подчиненности вассалов к сюзеренам, которая называлась лояльностью, и взаимные из рыцарские отношения к равным, — вот в чем состоял политический идеал как чисто Германских, так и Романо-Германских народов. Положение низших подвластных людей уже ни в какой расчет не принималось, до такой степени, что даже уже в очень позднее время, уже в начале так называемых Новых веков, когда возникло протестантство и повлекло за собою ряд религиозных войн, при установлении мирных договоров во Франции и Германии обра-

щалось внимание лишь на религию сюзеренов разных степеней; масса же народа должна была следовать религии своих господ, и это не на практике только, а в самой теории, и потому вовсе и не считалось сколько-нибудь несправедливым, каким-либо угнетением или насилием, ни со стороны господ, ни со стороны народа. Этими договорами определялось таким образом, кому быть католиком и кому протестантом. Так ведь, например, и в нашем Остзейском крае рыцари сложили с себя обет монашества и приняли реформу, а за ними последовали и подвластные им Латыши и Эсты, без всякой проповеди, без всякого убеждения. Это сделалось как нечто само собою разумеющееся, без всякого насилия и принуждения со стороны господ, также как и без всякого сопротивления или протеста со стороны народа. Русский, читая это, ошалеваает, становится в тупик. До такой степени кажется ему это диким, непонятным, немыслимым, невмещающимся в его сердце и ум, точно как если бы дело шло о происходящем на другой планете, а не у нас на земле. Вот где были истинные, а не метафорические крепостные души, в полном, реальном значении этого слова!

Для отрицания такого идеала не было уже конечно никакой надобности в его загрязнении или искажении; он уже сам по себе носил в себе достаточное для этого количество и лжи, и грязи. В чистом виде он и существовал поэтому недолго, а постепенно разрушался уже со второй половины так называемых Средних веков; но совершенно был разрушен на практике и отвергнут в теории лишь Французскою революциею и последовавшими за нею, как во Франции, так и в других странах Европы, мелкими революциями. Но так же точно, как при протестантском идеале, следовавшем за католическим, и тут, вместе с отвержением ложного идеала (а не загрязненного и искаженного только) была разрушена и самая идея власти, ибо высшие народные идеалы не сочиняются, не составляются искусственно, а коренятся в этнографической сущности народа. Они за-

рождаются и вырабатываются в бессознательно творческий период их жизни, вместе с языком, народною поэзиею и прочими племенными особенностями. Впоследствии, в исторический сознательный период их жизни, эти идеалы только развиваются и укрепляются, или же разрушаются, но не восстанавливаются и не изменяются иными органическими идеями. Как невозможно при помощи таланта и искусства сочинить вторую Илиаду, также точно не возможна выработать народу, при помощи науки, новый политический идеал, ибо это значило бы заменить живое и органическое, всегда и во всем бессознательно родящееся, мертвым и механическим, сознательно составленным. За потерю первого и является необходимо это механическое и мертвое замещающее органического и живого. Таковое и было найдено в договоре, то есть в воплощении взаимного недоверия. В первый раз сознательно и научно принцип этот был формулирован Руссо, и хотя учение его об общественном договоре в сущности, в теоретическом учении о государстве, и не верно, но в применении к данному фазису исторической жизни европейских народов — договор составляет действительно единственно возможный источник власти, ибо естественного, природного, бытового начала власти, по разрушении феодального начала, у них уже не стало, а где есть еще остатки, и там они постепенно ослабевают и исчезают. Отсюда вытекает, например, часто встречающаяся у европейских публицистов мысль, что монархия невозможна без аристократии, служащей ей вместе проводником к народу и столпом, на который она опирается. Соответственно этому пониманию монархии, в Германии, например, где также настоящий феодальный аристократизм очень расшатался, ослабел и представляет уже очень некрепкий столп и слабую опору, стараются поддержать и даже создать мужицкую аристократию, разными мерами, придумываемыми для воспрепятствования разделов, через наследство ли, через долги ли, крестьянских майоратов или миноратов, чтобы таким образом выставить про-

тив разных разлагающих элементов новую консервативную силу. С европейской точки зрения оно и понятно, что так оно и должно бы быть. Для Европейца — феодализм, или договор: другой альтернативы для основания политической власти и не существует. Но договор требует всякого рода взаимных гарантий, и единственною санкциею их исполнения для подвластных служит и может служить лишь право возмущения, право революции, право возводимое даже в обязанность. Это начало гарантий, вытекающее из договора, и составляет новый, так сказать, протестантский политический идеал, известный под именем конституционализма.

Само собою разумеется, что и в политическом отношении те, коих томят жажда и алкание идеала, должны бежать от этого механизма и мертвечины; а как живого и органического найти не могут, то полное отрицание, то есть нигилизм, и остается их единственным прибежищем, — нигилизм же в политике называется анархией. Они как бы говорят: в нашей долгой исторической жизни мы ничего не нашли кроме лжи, а вне ее, если бы что и было, оно для нас бесполезно, ибо если нельзя самим себе составить идеала искусственного, то тем еще менее можно взять его напрокат, заимствовав снаружи, и в таком случае, единственное, чего мы можем желать, будет возможно полнейшее и возможно скорейшее разрушение существующего, дабы настала возможность на просторе, без всяких помех и препятствий, народиться и органически выработаться новому политическому идеалу.

Но с разрушением феодального политического идеала, вместе с тем и принципа власти вообще, уничтожены не были и все его экономические и социальные последствия. Частью они остались со своим феодальным характером, в других же частях построились сообразно новому революционному или протестантскому характеру. Феодальным осталось отношение народа к земле, оставшейся за ее феодальными завоевателями, или за

теми, коим она была передана продажею или иными способами приобретения. Сохранившиеся же от прежнего времени и вновь образовавшиеся, вследствие громадного развития промышленности, капиталы и отношение к ним труда устроились по новому принципу свободного договора, — приведшему здесь к желанному в политике анархическому результату, к формуле: *laisser faire, laisser passer*⁹, которая и была возведена в экономический идеал, освященный и новою наукою политической экономии.

Эта свободная игра экономических сил, никаким авторитетом не стесняемая, никакою предвзятою целью не направляемая, должна была произвести экономическую гармонию, насколько эта последняя вообще достижима. В недавнее время и еще наука, из разряда особенно уважаемых положительных наук, явилась как бы на помощь политической экономии, объявив, что удивительные результаты гармонии и целесообразности, коим уже издавна привыкли изумляться в области органической природы, были также достигнуты ничем иным, как тою же формулою: *laisser faire, laisser passer*, т.е. свободною борьбою органических форм за право существования, производящею естественный подбор, коему мы обязаны как всею гармониею органической природы, так и самим разнообразием органических существ. Следовательно, научная санкция была полная. Но тем не менее, многие из взиравших на эту гармонию, как она установилась в области экономических отношений, усмотрели, что отношения эти, исходя, по-видимому, из начал совершенно противоположных феодализму, привели однако к совершенно тем же результатам, т.е. к феодализму индустриальному, вместо прежнего феодализма земельно-аристократического. Но здесь логика их покинула, и от анархии они стали апеллировать к анархии же; от анархии частной, в одной области человеческих отношений (экономической), к анархии полной, распространяющейся на все отношения.

Не все однако же поступили столь нелогично. Иные, видя, что жалкое, вполне зависимое положение рабочих классов прямо происходит от применения принципов анархии к экономическим отношениям, обратились к началу противоположному, именно к началу организации труда, т.е. к распространению власти государства и на экономическую область. Но логичнее были они только по-видимому, потому что в политическом отношении придерживались договорного начала. Но очевидно, что, при всяком договоре, каждая из договаривающихся сторон выторговывает у противной стороны как можно больше, а уступает ей в замене как можно меньше. Такова уже природа всякого договора. Следовательно, сбыточное ли дело, чтобы управляемые уступили управляющим при договоре такую власть, которой они не имели даже при феодальном устройстве власти? Не наше дело, однако же, показывать теперь, насколько логичны, или нелогичны умы дошедшие до отрицательного отношения как к экономической, так и к другим сторонам жизни европейских народов: мы имеем в виду ведь только показать, как могли у них самобытно развиваться различные виды отрицания или нигилизма. С этой точки зрения, мы можем сказать, в параллель вышесказанному о религиозном и политическом нигилизме, что экономический идеал организации труда властью составляет такую же переходную ступень, как протестантизм в области религии и конституционализм в области политики, и что неудовлетворительность его привела и тут к полному отрицанию или нигилизму, т.е. к анархизму. Но особую характеристическую черту, по отношению к экономическому идеалу, составляет тот ложный круг в котором приверженцы его должны вращаться, как я уже об этом упоминал, апеллируя от анархии к анархии же, как что их единственное логическое прибежище заключается в том, что они апеллируют от анархии частной к анархии общей, как бы говоря: хотя экономическая система обществ и была построена на анархическом принципе *laisser faire, laisser passer*, тем не

менее, однако же, она оказалась неудовлетворительною, потому что была недостаточно анархична, будучи стесняема религиозными и политическими принципами, которые также должны сделаться анархичными, чтобы первый мог принести все ожидаемые от него плоды.

Взглянем теперь на развитие философии, к области которой ведь собственно принадлежит и нигилизм, насколько он теория и мирозерцание. Европейские народы получили свое философское наследие от народов классической древности, и преимущественно от Греков, — наследие, к которому в течение долгого времени и они относились подражательно, сначала, в средневековой схоластике, к философии Аристотеля, переданной им Арабами, а потом и к прочим философским системам, со времен Возрождения. Хотя эта подражательность и была совершенно иного свойства, чем наша, ибо соединялась по крайней мере с тщательным изучением воспринимаемого, она все-таки оставалась бесплодною и только связывала умы, лишая их смелости самостоятельного мышления и исследования. Но на подражании в Европе не остановились, а дерзнули мыслить самостоятельно и самобытно, начав с знаменитого Декартова сомнения, с целью отыскать твердую точку опоры для достоверности познания сущего, буде таковая имеется. Известно, в чем ее нашел, или думал найти, Декарт. С этого, по общему понятию, начинается развитие новой философии. Положенное французским мыслителем начало развивалось, видоизменялось, дополнялось и, казалось, завершилось стройною системой действительного познания сущего в монадологии и предустановленной гармонии Лейбница, составившею таким образом в философии явление аналогическое, или скорее параллельное, тому, чем были католицизм в религии и феодализм в политике. В довершение этого параллелизма, и тут начинается в критической философии Канта критика достигнутого, по-видимому, метафизического идеала. Она отвергает возможность познания вещей самих

в себе, в их действительной сущности, т.е. метафизически отрицает метафизику, так же точно, как критическое протестантское богословие богословски отрицает всякое положительное богословие. Но после того, как метафизическое умозрение обошло это затруднение ловким приемом, — тем что самая критика познания, утверждающая его недостаточность для познания сущности вещей, сама подвержена тому же сомнению, — и снова стало себя утверждать, как тождественное в ходе своего развития с самым объективным процессом развития мира, оно снова получило временное господство над умами. Это изумительное притязание возбудило общую против себя реакцию, приведшую к совершенному отрицанию философии вообще, т.е. к нигилизму и в этом отношении.

Как бы навстречу этому движению, и положительная наука — эта слава и величайшее приобретение нового, или точнее Кельто-Романо-Германского мира, — также пришла к отрицательному к самой себе отношению. Под этим отрицанием положительною наукой самой себя, или нигилизмом в науке, разумею я позитивизм, или так называемую положительною философию Конта. Утверждая, что наука ограничивается исследованием явлений и их законов, т.е. собственно говоря того, что замечается общего в различных более или менее обширных группах или разрядах явлений, и отвергая для науки возможность познания причин, и в то же время отрицая возможность всякого другого способа — методы — познания, кроме положительно научного, — позитивизм очевидно низводит значение науки к ее практической применимости и к удовлетворению любопытства, т.е. к приятному занятию разгадками разных задач, предлагаемых миром нашему любопытству.

Показывая в кратком очерке, как во всех проявлениях жизни европейская мысль доходила до отвержения своих начал, или до нигилизма, я вовсе не имел намерения доказывать этим путем ложность начал, лежащих в основании всех сторон жиз-

ни европейских народов. Моя цель заключалась единственно в констатировании того, что эти отрицательные результаты, между весьма многими другими положительными, были достигнуты там вполне самобытным и самостоятельным путем, точками отправления для коего послужили действительные явления тамошней жизни, и это после долгого хода развития, правильность или неправильность, законность или незаконность коего остается теперь для нас совершенно в стороне.

Можем ли мы указать на такую же самобытность в истории нашего нигилизма? Можем ли указать на точки его отправления из реальных же явлений нашей жизни, в том смысле, чтобы идеалы лежащие в их основе были подвергнуты критике, которая заставила бы от них отвернуться и пуститься в погоню за новыми высшими идеалами, заставила бы отыскивать их в потаищах, и уже за сознательным отвержением первых и необретением вторых, остановиться на всеобщем отрицании, на нигилизме? Можно ли указать на самостоятельный путь этого критического процесса развития?

Прежде всего спросим: в чем заключаются пункты обвинения против учения православной церкви, по коим она могла бы подлежать укору в загромождении или искажении христианского идеала? Ведь Иудушки для этого очевидно не годятся! Тут, без сомнения, необходимо бы указать на явные противоречия с идеею христианства в учении или в практической деятельности, подобные тем, на которые нам указывает история римского католицизма, и которые фактически породили против себя протест, или на то зерно, на тот зародыш саморазрушения, который заключает в себе протестантизм, и разлагающее, улетучивающее действие которого на само понятие церкви также фактически проявилось в истории. Если видим что-либо подобное в нашей церкви, то никак не у нигилистов, а пожалуй у различных наших сектантов, как у старообрядцев, так и у мистиков и рационалистов. У них мы действительно найдем критику нашей

церкви и идеала ее, — справедливую или нет, до того мы ведь не касаемся; мы констатируем только исторический процесс, и можем сказать: да, у наших сектантов мы находим самобытно-отрицательное отношение к нашей церкви. Но в каком же родстве находятся с ними наши нигилисты? Что между ними общего? Столь мало, что даже, когда они хотели поддаться к ним, были совершенно отвергнуты, как нечто совершенно чуждое.

Если вникнем в отношение нигилизма, да и прочих, менее радикальных течений нашей интеллигенции, как к нашему религиозному, так и ко всем прочим нашим идеалам, то, пожалуй, и действительно найдем, что составляло в их глазах загрязнение и искажение этих идеалов. Это было то, что эти идеалы носили на себе печать всяческого отвержения, именно, что они были свои, русские. Такой печати было вполне достаточно, чтобы, не вникая в сущность и глубь их, уже просто и прямо считать их вполне негодными. — Если всякая мелочная бытовая черта считалась уже чем-то достойным презрения, потому что была русскою, — как это, например, отразилось в самом языке тем презрительным оттенком, который присвоился у нас слову «доморощенный», — то во сколько же сильнейшей степени должно было это относиться к тому, что выставлялось, — *horribile dictum*¹⁰ — русским идеалом религиозным, политическим, экономическим! Этого одного, конечно, было достаточно для их отвержения. Может ли что хорошее происходить от Назарета!¹¹

Отношение наших отрицателей к политическому идеалу Русского народа было, если возможно, еще проще, еще элементарнее. Вникать в его сущность, в его особенности, сравнительно с политическими идеалами других народов, без чего ведь никакое критическое отношение не возможно, — об этом никто и помышления не имел. Не обращалось внимания и на то, что это идеал чуть не ста миллионов людей, не со вчерашнего дня появившийся, а переживший столько исторических превратностей, мало того, не раз восстанавливавшийся самим Русским наро-

дом, когда ход событий делал его более или менее полным хозяином своих судеб. Правда, была черта в общественном и политическом строе России, которая не могла не считаться настоящим загрязнением и искажением политического идеала ее народа. Я говорю о крепостном праве.

Но кому же было неизвестно, что оно никогда не было основной характерною чертою его быта, необходимым продуктом его истории, существенною составною частью его общественно-го и политического идеала, подобно западному феодализму, а только случайною, временною политическою или скорее административною мерою? Именно на этом примере крепостного права не оправдалась ли вера Русского народа в его политический идеал, не пало ли рабство по манию Русского царя? И вот тут-то явилась во всей своей силе ирония судьбы. Как раз в то самое время, когда осуществлялись надежды народа, когда политический идеал его столь блистательно и беспримерно оправдывался, в это самое время нарождался нигилизм, т.е. нарождалось отрицание, между прочим и даже главным образом, этого самого идеала. Какое доказательство подражательности, несамобытности, беспочвенности нашего нигилизма может сравняться с этим совпадением? Не очевидно ли после этого, что он не исходил из явлений русской жизни, как из точек своего отправления? Более посчастливилось, правда, самобытным экономическим явлением русской жизни: общине и артели. Но почему? Как, по Канту, на неведомую нам сущность вещей самих в себе мы надеваем субъективные формы нашего созерцания: пространство и время, и только в них их постигаем, также точно и наши демократы, социалисты и нигилисты надевают на совершенно неведомую им сущность экономических явлений русской жизни, общину и артель, формы западного социализма, и вне их не могут их постигнуть ни поклонники, ни хулители. Какое же после этого может быть и тут самостоятельное отношение, будет ли оно критическое или утвердительное!

Про философию и говорить нечего: самостоятельного философского движения в России не было, не было даже и того, хотя бы подражательного, усвоение древней и новой философии, какое мы видим в средневековой Европе, не говоря уже о свободном и самостоятельном к ней отношении; следовательно, не могло быть и самостоятельной критики, которая бы привела к ее отрицанию, и отрицание это могло быть также только заимствованным, подражательным.

И так, если все отрицательные положения нашего нигилизма суть повторения таких же положений западной мысли, если, сверх сего, нельзя признать, что точками отправления этих отрицаний служили явления русской жизни, что эти отрицания были плодом самостоятельной критической русской мысли, в каковом случае можно было считать наш нигилизм самостоятельной проверкою западного нигилизма, пришедшего от новых точек отправления, самобытным трудом и развитием мысли, к одинаковым результатам с западным нигилизмом; то ничего не остается, как признать его за явление вполне подражательное.

Прямой ход доказательств привел нас, следовательно, к признанию подражательного характера нашего нигилизма. Но в явлениях такой сложности, как все явления общественные, и в особенности как направления мысли и общественного мнения, один прямой ход доказательств редко бывает достаточен и вполне убедителен. Тут необходимо озираться по сторонам и тщательно осматривать — не изменяется ли наш вывод разными побочными обстоятельствами, не вошедшими в круг тех оснований, на коих мы его построили, и однако же существенно на него влиявшими, и не пришли ли мы через эту односторонность к ошибочным заключениям, по-видимому строго и безукоризненно логическим. Эта прямолинейность мысли, как назвал ее, кажется, Достоевский, и есть именно то, что называется радикализмом, который ничто иное, как крайний рационализм. Но

этот крайний рационализм или радикализм даже и в области мысли, не говоря уже о практике, пригоден только в одном отделе знания — в математике.

Здесь, действительно, начав с верного, само по себе очевидного первоначального положения и правильно умозаклячая (на что строгая метода всегда дает возможность), мы неизбежно приходим и к верному выводу, без возможности ошибиться по пути. Но почему это так? Потому что всякое первоначальное математическое положение есть наше собственное же определение, про которое мы можем утверждать, что в него ничего не вкралось от нас независимого, само по себе данного; можем утверждать, что все, что мы в него вложили, в нем действительно и есть, и что напротив того, в нем кроме этого ничего нет другого, независимого, особенного, т.е. такого, которое не вытекало бы уже из принятого, как необходимое его следствие. Например, мы говорим: окружность есть замкнутая кривая линия, внутри которой есть точка — центр, от коей все точки кривой находятся в равном расстоянии. Это не более, как наше собственное определение, на которое мы были только наведены действительно существующими фигурами, похожими на окружность; и поэтому, именно то свойство, которое мы вложили в нашу идеальную кривую, в ней не только вполне и в совершенстве есть, но и никакого другого, независимого от этого, свойства в ней нет. Очевидно, что ни в каком действительно эмпирически данном случае это условие не соблюдено, или, по крайней мере, нам неизвестно, что оно соблюдено, ибо, во всех этих случаях, данное, в них заключающееся, не нами в них вложено, а существует от нас независимо, само по себе, нами же лишь замечено или открыто, и поэтому, строго говоря, мы никогда не можем быть уверены, что чего-либо из этого независимо от нас данного мы не пропустили, или по ошибке туда чего-нибудь не привложили лишнего, там не находящегося. Во избежание возможных от сего ошибок, ничего не остается, как не доволь-

ствуясь прямым логическим выводом, осматриваться кругом, по сторонам, не оказывается ли где чего-либо противоречивого в наших выводах с иными, вне нашего прямого вывода лежащими следствиями нашего положения.

Применяя это рассуждение к занимающему нас вопросу о русском нигилизме, мы действительно легко увидим, что есть такие обстоятельства, которые кажутся несогласующимися с нашим выводом, а именно: Во 1-х, если наш нигилизм явление подражательное, западный же явление — самобытное, происшедшее от самостоятельного критического мышления, постепенно развивавшегося и исходившего из точек отправления данных тамошнюю жизнью; то как могло случиться, что наша интеллигенция (употребляю это слово в общепринятом у нас смысле) в сильнейшей мере одержима нигилистическим мировоззрением, чем интеллигенция западная? Хотя мы и не имеем статистики умственных направлений, ни у нас, ни на Западе, но можем, кажется, с достоверностью утверждать, что если даже абсолютное число лиц придерживающихся нигилистических учений в Европе (на континенте по крайней мере) и больше, чем у нас, то относительное число их к общему числу лиц могущих причисляться к интеллигенции будет, напротив того, к несчастью, у нас гораздо значительнее. Во 2-х, если наш нигилизм — подражание, то почему предметом этого подражания в такой преобладающей степени стал именно нигилизм, а не другое какое явление, другой какой-либо плод европейской жизни и мысли, которых он ведь в продолжение своего долгого пути произвели много, и притом прекраснейших, прежде чем в некоторых из течений своих дошли до нигилизма? В 3-х, нигилизм родился, развился, разросся и распространился у нас внезапно, в тот самый момент, как только представилась ему возможность высказаться в слове и деле. Как же объяснить эту быстроту и внезапность? Когда и как успела подражательность именно в этом одном направлении обхватить собою такую значительную

часть нашей интеллигенции, чтобы оно могло стать господствующим? Не указывает ли это, напротив, на долговременное подготовление, а следовательно и как бы на некоторую продолжительную подготовительную работу мысли, что уже предполагает и некоторую самостоятельность ее?

На все эти три вопроса, думается мне, можно дать вполне удовлетворительные ответы только с точки зрения на наш нигилизм как на явление подражательное, а не с какой другой.

Относительно меньшее распространение нигилизма в Европе зависит от других причин. Западная жизнь в своем долговременном и славном течении не могла не породить сильной приверженности и любви к различным фазисам или этапам своей эволюции. Возьмем для примера французский легитимизм. Много ли в этой почтенной партии лиц действительно верящих в возможность возвращения старинной французской монархии, с ее знаменем белым, украшенным лилиями, и со всем, что им символизируется? Должно думать, что очень мало, — так мало, что едва ли и остались такие после смерти графа Шамбора¹²; да весьма сомнительно, чтобы и тот верил в осуществимость своей мечты. Но древняя слава, древний блеск французского королевства — этого *le plus beau royaume, après celui des cieux*¹³, — действуют так обаятельно не столько на умы, сколько на сердца многих французов, не потерявших исторического чувства, что, вопреки невозможности, в глазах их рассудка, восстановления этой золотой для них поры, они предпочитают отвращать глаза от действительности и жить в этом прошедшем своею любовью и своими сердечными привязанностями. Радикалы, стоящие теперь во главе школьного дела во Франции, стремятся вытравить из молодого поколения эту любовь и уважение к прошедшему, стараются вселить в него убеждение, что французская история, то, что достойно носить название истории, началась только с 1789-го года. Но пока это им плохо удается, и XVII век продолжает для Французов сиять в ореоле всякого рода вели-

чия, тогда как у нас изречение, что Петр I создал Россию, было так легко и охотно принято за великий исторический афоризм.

Но не одни легитимисты питают такую бескорыстную любовь к прошедшему. Все режимы, испытанные Францией в столь богатое переворотами последнее столетие, оставили искренних и жарких поклонников. Суровый, грозный и преступный 1793 год идеализуется своими поклонниками, читателями единой, нераздельной, демократической, беспримесной (даже для идей социализма) республики. Имеет их не мало и славная Первая империя, и конституционная буржуазная Июльская монархия, и даже так осрамившаяся под конец Вторая империя. Про Англию и говорить нечего. Любовь ее к прежним формам жизни слишком известна и многими ставится ей даже в укор. Но что такое немецкий романтизм, некогда господствовавший в литературе, а ныне перешедший на музыку, как не любовь и поклонение древнему величию и древней славе империи Гогенштауфенов? И мы не ошибемся сказать, что этот романтизм, как излюбленная немецкая идея, осуществился в соответствующей времени форме в Бисмарковом единстве Германии. — Возьмем, как пример из другой области жизни, знаменитого Ренана¹⁴. По своим взглядам на религию, он конечно полный радикал, но назовем ли его нигилистом в этом отношении? Нет, потому что он сохранил любовь к старому идеалу — не христианства только, но и католицизма. У него сердце в разладе с умом. Многие называют это сентиментальничаньем, — пусть так; я, повторю еще раз, не хвалю и не осуждаю, а только констатирую факт. Другая причина, ослабляющая относительное значение нигилизма в Европе; еще важнее. Так как развитие жизни и мысли было там органическое, самобытное, то все стороны его не шли в ногу. Одни остановились на одном пункте, другие на другом; разумно или не разумно, последовательно или непоследовательно, логично или нелогично, но в пункте, на котором кто остановился, и видит он если и не абсолютную, то относительную истину,

которая, хотя может и должна развиваться и идти далее, но не тем путем, которым пошли ушедшие дальше его, а иным, хотя бы еще вовсе неизвестным. Все эти промежуточные станции или этапы представляются им если и не полною целью пути, то законною и необходимою остановкою, и потому они далеки от нигилизма или полного отрицания. А если что и отрицают, то не весь пройденный путь, но только часть его после известного поворота, — не все достигнутые результаты и полученные плоды, а только те, которые выросли после того, как была покинута настоящая дорога. Другие находят и весь путь правильным, и думают продолжать плавание не изменяя румба компаса. Так это и в религии, и в политике, и в экономическом и общественном быте, и в искусстве, и в философии, и в положительной науке. Очевидно, что при таком положении дела, остается много мест незанятых нигилизмом в общественном мнении, много людей упорно стоящих на различных этапах развития.

У нас, этой любви к прошедшей жизни не было и не могло быть там, где мысль была настроена подражательно, ибо подражательность необходимо предполагает отсутствие любви к своему. Если бы она сохранилась, то как бы бросили свое и обратились к чужому? Подражательность и любовь к своему — понятия взаимно исключающие друг друга.

Далее, если наш нигилизм подражание, а не самобытное явление, то само собою разумеется, что он не мог иметь своих фазисов развития, а следовательно никому из подражателей и не на чем было остановиться: не было станций, этапов, точек отдохновения и опоры, на которых можно бы было остановиться и стоять с любовью сердца и с упорным убеждением ума. — Но если не было точек опоры и остановки, за отсутствием хода самобытного развития, то почему же было не найтись таковым в самом ходе подражательности? Почему должна была эта подражательность обратиться, как к предмету достойному подражания, только к крайним точкам пути пройденного европей-

ским развитием, точкам, оказавшимся отрицательными, нигилистическими? Это и составляет наш второй вопрос.

Отвечать на него также не трудно: таков уже неизбежный, необходимый результат всякой подражательности, в чем бы она ни заключалась, к какой бы области жизни и мысли не относилась. Подражательность, по самому существу своему, характеризуется самою крайнею радикальностью некоторого особого рода и свойства, — радикальностью не по существу, а по временной последовательности явлений. Сакраментальные слова ее суть: «современная жизнь», «современная наука», «современное мышление», «современный покрой шляпки или платья», или «последнее слово», все равно, — науки, философии, жизни или меблировки салонов. Иначе ведь и быть не может. Подражательность, сказали мы, да и без наших слов это само собою понятно, предполагает отсутствие любви к своему; а кто отрешился от этой любви — любви прирожденной, самобытной, роковой, то какую же собственно любовь может он иметь к чему-либо чужому? Ни к чему особенному, ибо это особенное не разобрано и не взвешено подражателем. Любезно ему в чужом то, что оно чужое, что оно принадлежит тому, кого оно считает достойным подражания, и в этом чужом привлекательным, достойным подражания очевидно может ему казаться лишь самое новое, самое последнее. В самом деле, с чего, с какой стати будет он подражать тому, что отвержено уже самим оригиналом, что им самим найдено несостоятельным и что он уже отбросил или ниспроверг, если еще не на деле, то по крайней мере уже в мысли? Очевидно, что только то, на чем остановилась передовая мысль, может, по мнению подражателя, заслуживать подражания. Скажут, что и подражатель мог бы отнестись критически к явлениям чужой жизни; но тогда, и поэтому самому, он не был бы уже подражателем, а самобытным деятелем или мыслителем, а если бы был самобытным, то начал бы с своих исходных точек, подверг бы их сначала изучению, а затем кри-

тике, и вел бы дело самостоятельною работою. Но именно этого-то наши подражатели, как всякому известно, и не делали, не делали потому, что свое без исследования признали негодным и недостойным исследования, а себя неспособными к исследованию, доверившись чужим силам, как бы говоря: «вам и книги в руки». Доверившись же чужому уму и ходу чужой жизни, они должны были признать последние результаты деятельности этого ума за самое верное решение задачи из всех доселе предложенных как жизнью, так и мыслью. Подражатель и становится подражателем потому, что счел себя некомпетентным судьей в существе дела и потому принужден довольствоваться единственным оставшимся для него критерием или признаком истины — формальною последовательностью явлений по времени. Кто клянется словами учителя, тот может клясться ведь только его последними словами, а не теми, конечно, которые он уже сам отверг. Для подражателя жизнь и мысль предмета его подражания, — в нашем случае Запада или Европы, — развивалась закономерно и правильно; мы же только зрители этого процесса, очастливлены возможностью пересаживать к себе готовые плоды его. Но какие же именно, если они различные? Конечно те, которые составляют последние слова, последние результаты развития образца. Тут и рассуждать нечего, да и не должно сметь рассуждать, — остается лишь благоговеть и воспринимать то, что он предлагает последнего, а следовательно и наилучшего. Другого признака для лучшего, по самой сущности подражания, у подражателя нет, и быть не может.

В конце пятидесятих годов случилось мне быть в Уральске и на тамошних вечерах видеть всех казачек, какого бы чина их мужья или отцы ни были, одетыми в русский костюм, в бархатных, глазетовых, атласных сарафанах, очень красивых и нарядных. Любовь к своему родному, значит, предохраняла их еще лет около тридцати тому назад, — не знаю как теперь, — от подражания иноземным модам. Потому, что мы видим вок-

руг себя, это было явлением очень необыкновенным, странным, но однако же совершенно понятным и объяснимым. Любили они свое, старое, родное, казавшееся им красивым и удобным, и потому чужого не принимали. Но мыслимо ли, спрашиваю я, встретить в каком бы то ни было захолустье, перенявшем уже чужую одежду — старомодные платья, шляпку, прическу и т.п., знай что они старомодны, иначе как в маскарade? Столичный житель конечно найдет, что провинциальные щеголи и щеголихи во многом отстали от последних парижских мод; но ведь это только потому, что последние моды до них не дошли, а те, которым они следуют, они все-таки считают за последние. Критиковать же моду, находить, что новое хуже такого-то или такого-то старого, конечно не им, ни их столичным собратьям в голову не войдет, потому что они подражатели, и в качестве таковых ни в какую критику не считают себя в праве пускаться, а всегда признают последнее превосходным и восхитительным. Последнее, новейшее — для них единственно мыслимый критерий для распознавания лучшего, удобнейшего, красивейшего в одежде, мебелировке, сервировке стола, одним словом — во всем, к чему они относятся подражательно. Так же точно, если кто не имеет самостоятельного суждения о музыке, живописи и вообще о художественных произведениях, и однако же желает или считает себя обязанным высказывать о них свое мнение, то и ему ничего не остается, как руководствоваться новейшими, последними из известных ему книжных или журнальных оценок. В глазах подражателя, и в высших сферах жизни и мысли, какой-либо интерес, значение и важность может иметь не жизнь или наука, а только последнее их слово: иначе он ведь рискует, по совершенно правильному с его точки зрения понятию, принять какой-нибудь старый, негодный, уже пережитой хлам за настоящий образец жизни и мысли, которым он и сам желает подражать и других подражать заставить. В таком образе мыслей находит подражательность не малую еще поддержку и подкрепление в

учении о прогрессе. Если все движется поступательно и улучшительно, то не вполне ли естественно и разумно принять последнее за тождественное с наилучшим, с наиболее приближающимся к истинному? Конечно, говоря вообще, и при прогрессе считаются возможными и отклонения в сторону, и сбивания с пути, но ведь это принимается только вообще, так сказать для очистки совести; а в частности, где же тут разбирать и дело ли это подражателя! Это пусть уже разбирают те, которые почище, тем, которые сами поставляют прогресс. Если и ошибутся, то заметят ошибку и повернут в другую сторону; не велик будет труд повернуть вслед за ними.

Но во время появления нашего нигилизма случилась на небе европейской жизни и мысли такая конъюнкция или расположение руководящих светил, что радикализм присущий подражательности, т.е. радикализм современности и последнего слова, совпал с радикализмом по существу, который и есть нигилизм, — конъюнкция, которая и доселе продолжается. Посему нигилизм и должен был получить господство в умственном направлении нашей подражательной интеллигенции.

Теперь, последнее затруднение! Хотя новейшие моды, благодаря подражательности, принимаются очень скоро при нынешних средствах сообщения и распространяются весьма быстро; хотя, с другой стороны, и наш нигилизм явление также вполне подражательное: но все же его почти внезапное явление и быстрое распространение, подобное разливу воды прорвавшей плотину, или пламени охватившему солому, может казаться непонятным, недостаточно объясненным нашим истолкованием его подражательностью. Ведь образ мыслей, по самому существу своему, не может столь быстро меняться, как покроей одежды, меблировка комнат или сервировка стола. Даже эти две последние менее быстро меняются, чем первый, потому что на них затрачивается некоторый капитал, и не всегда есть средства для их скорой замены, при всем желании ее сделать. А

мысли, идеи — ведь их надо хоть сколько-нибудь себе усвоить; между новыми и старыми должна же предварительно произойти какая-нибудь борьба. А тут, в конце пятидесятых и в самом начале шестидесятых годов, произошла точно перемена декораций. Конечно, в глазах тогдашней интеллигенции авторитет гг. Чернышевского, Добролюбова, Писарева и прочих был очень высок, но ведь и сам этот авторитет надо было сначала им приобрести, так как это были все люди новые, а как известно, сам авторитет свой приобрели они ни чем иным, как проповедью тех же крайних идей, совокупность которых, вслед за Тургеневым, была прозвана нигилизмом. Мы вертимся следовательно в ложном кругу: авторитет упомянутых лиц должен нам объяснить быстроту распространения идей; а только проповедь самих этих идей и доставила им авторитет, ибо других предшествовавших заслуг или прав на него за ними не водилось, да никто их им и не приписывал. Следовательно, должна была существовать в публике особая восприимчивость именно к этим идеям, особая внутренняя к ним симпатия. Как же, кем или чем были они произведены? В чем состояло приготовление к столь быстрому восприятию и распространению нигилизма в разных слоях нашей интеллигенции, заставивших некоторых думать и утверждать, будто есть какое-то естественное сродство с нигилизмом в самом духе русском?

Подражательность началась у нас с реформ Петра I, в своей страстности далеко перешедших за должную меру заимствований, необходимых тогда собственно лишь для некоторых чисто государственных потребностей. Эта подражательность распространялась постепенно на все области жизни и мысли, все возрастающая и возрастая, и по разрядам явлений, к которым относилась, и по кругу сословий и лиц, которых охватывала из Петербурга, как из центра. Весьма было бы интересно проследить за ходом этого распространения в обоих смыслах. Для пояснения моей мысли, я приведу здесь лишь факт, что начавшись в области

чисто государственной, с войска, флота (где действительно была необходима) и администрации, подражательность долго, почти все прошлое столетие не налагала печати своей на нашу внешнюю политику, которая, за небольшими лишь исключениями, оставалась самобытною и чисто-национальною до самой смерти Екатерины Великой, и во благо нам было это. — Только с этого времени потеряла наша внешняя политика национальность направления, и тем обратила всю нашу мощь в служебную силу для чуждых нам европейских, преимущественно же немецких интересов; а когда, в течение нынешнего столетия, и призывалась на короткое время народно-русская политика, под давлением ли общественного мнения, как в 1877 году, или по собственному почину руководящих лиц, как в 1828-1853 годах, это направление не имело выдержки, и даже при благоприятных результатах войн, достигнутых большими жертвами крови и денег, мы поступались ими.

Но подражательность эта, все возрастающая и расширяющаяся, была все-таки бессознательною. Мы даже обольщались мыслью, что идем путем самостоятельного развития. Только с конца тридцатых и начала сороковых годов, наша подражательность была приведена к осознанию, и притом с двух противоположных точек зрения. Одни, славянофилы, обличали ее и усматривали в ней корень и причину всех наших внутренних зол и неустройств, всей нашей культурной слабости. Другие, западники, напротив того, видели все зло нашей жизни в недостаточности нашей подражательности, в ее односторонности и несмелости. По их мнению, все зло заключалось в путах, налагаемых на нас национальностью, в путах, препятствующих нам свободно двигаться вперед по пути прогресса, начертанному Западом. Они обличали, отрицали и опровергали тогда, как и до сих пор это продолжают делать, мечту самобытности, и в заимствовании сущности и форм западной жизни и мысли видели единственный путь спасения, единственный путь истинного прогресса.

Это западническое направление, проповедывавшееся в наиболее распространенных журналах и с кафедр талантливейшими и влиятельнейшими профессорами, завоевывало себе все больший и больший круг читателей и слушателей уже по одному тому, что гармонировало со всем подражательным характером, складом и строем нашей культуры. Скоро стало оно господствующим и в сознании нашей интеллигенции, как уже и прежде было на деле, и, несмотря на разные правительственные течения, на подтягивания и ослабления цензурных поводьев, продолжало преобладать в течение всех сороковых и пятидесятих годов.

Этою проповедью сознательной подражательности были вытравлены из умов всякие начала самобытности, жившие в них хотя бы в качестве предрассудков или иллюзий. Даже всякое стремление к самобытности было заклеено названиями обскурантизма, косности и т.п. нелестными эпитетами, и этим самым была возбуждена алчба и жажда напиться и напитаться приготовленным уже и для нас на Западе брашном и питием. Умы, таким образом настроенные, были как губка готовая всосать в себя жидкость, или как пустой сосуд, ожидающий своего содержания и готовый всюю силою пустоты втянуть его в себя, лишь только ему будет дано прикоснуться к нему своим горлышком.

Это западническое учение само по себе никакого содержания еще не предлагало, а только приготавлило к его восприятию. Но мы уже видели — каково непременно должно быть то содержание, которое соответствует подражательности, к которому она влечется, как бы по некоторому избирательному сродству, которого она настоятельно требует по свойству ее особого рода радикальности.

Часто можно слышать упрек, что подцензурная литература сороковых, а частью даже и пятидесятих годов, подготовила умы к нигилизму, который внезапно обнаружился в первые годы прошедшего царствования, тою затаенною проповедью отрицательных начал, которую тогдашние журналы умели искус-

но проводить в том, что печаталось в них между строк. От этого упрека, думаю я, должно их совершенно освободить. Этим я не хочу сказать, чтобы в них не было такого междустрочного содержания. Оно было. Отыскать и указать его было бы нетрудно. Но, не говоря уже о том, что оно не столь обыкновенно и часто встречалось, как полагают, и то, что встречалось, не имело и не могло иметь почти никакого действия на массы умов, по той весьма простой причине, что было понятно только для тех, которым и без того содержание этого междустрочного писания уже было известно, и которым следовательно оно ничего нового не сообщало, которых ничему не научало. Так называемое писание между строк есть своего рода письмо символическое, потому что оно под видимым смыслом скрывает другой, потаенный. Но символическое письмо, за редкими исключениями, может быть разгадано или только теми, кто имеет ключ к нему, или теми, кому уже известно его содержание. Так ведь, например, и иероглифы были прочитаны Шамполионом лишь благодаря тому, что ему посчастливилось найти греческий перевод иероглифической надписи. Но какой труд, какое внимание требуются для прочтения всякой криптографии! — и можно ли предположить, чтобы обыкновенный читатель, не любящий и не привыкший слишком углубляться в смысл им читаемого, и только слегка по нем скользящий, задал себе труд отгадывать смысл этого таинственного международного письма, хотя конечно он и гораздо легче отгадывался чем египетские иероглифы? Так, недавно обратила на себя внимание и наделала много шума одна олеография, разосланная «Нивою», как премия ее подписчикам. Удивительные вещи указывались в ней, также, будто бы, междускладочно (если позволено так выразиться) в ней нарисованные. Признаюсь, и после указаний я немного тут разобрал. Но если бы указаний не было, если бы шум не был поднят, то не зависимо от того, есть ли что между складками или нет, олеография успела бы преспокойно отвисеть свое время на стенах и быть

заброшенною на чердаки и в чуланы, не обратив на себя ничего внимания в тайнописном отношении. Точно тоже было и с противоцензурною, отрицательною, нигилистическою, что ли, междустрочною проповедью журналов сороковых годов. В большинстве случаев, обыкновенный читатель даже и не догадывался, что между строками что-нибудь написано, — и если оно и было в самом деле написано, то совершенно для него незаметными симпатическими чернилами, подносить которые к жару или посыпать проявительным порошком ему и в голову не приходило, да и порошка такого у него вовсе не было.

Нет, но эта тайная междустрочная проповедь отрицательных начал, или точнее только намеки на них, во всяком случае отрывочные, бессвязные и мало кому вполне понятные, послужили подготовкою нигилизму. Подготовкою этою была явная, открытая проповедь подражательности, хорошо известная и самой цензуре и той высшей полицейской власти, которая имела своим специальным назначением следить за направлением умов. И не только была она им известна, но сверх сего была и одобряема ими и им сочувственна, ибо вполне гармонировала со строем нашей жизни и только приводила к осознанию весь ход последнего периода нашей истории.

Кроме утверждения в умах этого стремления, этой сознательной уже жажды и алчбы к подражанию, ничего более и не требовалось для наполнения их нигилизмом при данных условиях, при данном положении европейской жизни и мысли; ибо, как я уже показал выше, не сама жизнь, не сама наука, не сама мысль важны для подражателей, а только последнее их слово.

При других условиях подражаемого образца, и явления были бы другие. Умы подражательные, из коих и жизнью, т.е. ходом исторического процесса, и литературною, и изувною проповедью вытравлено самобытное содержание и любовь к своему, могли бы одинаково наполниться всякими отвлеченными идеалами: и средневековым романтизмом, и аристократизмом,

и любую философскою системою, так же точно, как и нигилизмом, смотря по тому, какое направление было бы в данный момент последним словом жизни или мысли той культурной среды, которая служит им образцом для подражания. Но, во всяком случае, результат этот, каким бы он ни был, был бы в сущности одинаково вредным, хотя бы и не проявлялся в форме столь острой болезни, как наш нигилизм.

Я собственно кончил, но однако для полноты должен представить еще одно разъяснение. Неужели не нашлось своевременно в России умов достаточно прозорливых, чтоб понять всю ложь, весь вред, все бессмыслие подражательности и противостоять ей? Я уже заметил, да и всем это известно, что почти одновременно с западничеством возникло у нас и противоположное направление умов, вполне это понимавшее и видевшее единственный путь спасения и преуспевания в самобытности развития. К этому направлению принадлежали люди высокоталантливые, высокообразованные, и притом не только проникнутые идеями русской жизни, но и гораздо лучше своих противников знакомые с ходом развития западной жизни и западных идей, — с европейскою жизнью, наукою и мыслью. Но бессознательная подражательность была уже так вкоренена в умы самих власть имевших, что, инстинктивно симпатизируя с западничеством, приняли и они возжигаемый славянофилами спасительный маяк за обманный огонь, ведущий корабль на подводные скалы и мели. Известно, что не только когда западничество процветало под строгою цензурою, но и когда значительная степень свободы, сначала под легкою цензурою, а потом и вовсе без нее, была дана нашей литературе, когда не только неопределенно-западнические, но уже и прямо-нигилистические идеи могли открыто печатно излагаться и страстно проповедываться: издания славянофилов, как наивреднейшие, запрещались одно за другим: «Молва», «Парус», «День», «Москвич» — как костями покрыли скорбь

ный путь, которым должно было пробиваться русское само-бытное направление. Даже издание, не относившееся собственно к славянофильскому направлению, но родственное ему тем, что также стояло за самобытность, именно «Время» Достоевского, было запрещено при самом свободном взгляде на литературу из-за пустой обмолвки или недоразумения по польскому делу, между тем как другие журналы и газеты, явно сочувствовавшие польщизне, продолжали благоденствовать. Так претила всякая мысль о самобытности! А противодействие часто талантливой и страстной проповеди подражательности противниками по меньшей мере столь же талантливыми, конечно, имело бы весьма сильное влияние в то именно время, когда учение о сознательной подражательности только что начиналось, не успело еще окрепнуть, утвердиться в умах и находилось, как говорится в химии, *in statu nascenti*¹⁵. Впоследствии, когда, на свободе распространившись и утвердившись, оно получило, подобно всякому учению, в значительной мере, характер догматичности, неоспоримости и предрассудка, искоренить его уже было трудно. Я не хочу этим сказать, что если бы славянофильскому направлению дана была та же свобода развиваться и распространяться своевременно путем печати, как направлению противоположному, — то мы совершенно бы избавились от нигилизма: но полагаю, что смело можно утверждать, что он никогда бы не занял тогда господствующего положения в среде нашей интеллигенции, всегда встречал бы в значительной ее доле сильный отпор, и потому не получил бы того повального характера, тех пагубных последствий, какие имел и до сих пор еще имеет.

Таким образом, но независимым, как у нас говорится, от редакции причинам, западническое направление, сознательно стоявшее за подражательность, не имело достойных себе противников. Таковыми были лишь издания с так называемым казенным направлением, которые своею бездарностью, тошноту

возбуждающим подобоострастием, льстивостью и лживостью тона, в сущности, служат отрицательным образом тому же делу, как и западнические, выгодно оттеняя их собою.

При этом невольно воскликнешь: какою неразумною и страшною силою может сделаться цензура, какие медвежьи услуги может она оказывать, как велик может быть приносимый ею вред, при всем желании принести пользу, и потому как должна она быть осторожна не столько в том, что она допускает, сколько в том, что она запрещает! Так в настоящем случае, не в том должно ее обвинять, что она пропускала междустрочные намеки, — мы видим, что они были почти безвредны, и не в том, что под сенью ее процветало западническое подражательное направление, — какой мало-мальски законный предлог могла бы она иметь, чтобы стеснять его? — а в том, что она яростно преследовала то единственное направление, которое могло бы служить противовесом учению о подражательности, из коего истекает все наше зло: как нигилизм, — указанным мною косвенным путем, — так и всякое другое, в какой бы то ни было стороне жизни и мысли.

Итак, кажется мне, на все три вопроса ответил я удовлетворительно, показав: как и почему относительное распространение нигилизма значительнее в нашей интеллигенции, чем на Западе; почему подражательность наполнилась именно нигилистическим, а не другим каким содержанием; и наконец — почему нигилизм мог так быстро, почти внезапно возникнуть и так широко распространиться, и что послужило подготовлением к этому*.

* Остается просить глубокоуважаемого автора, чтоб он также тщательно, в среде самих жизненных на Руси явлений, раскрыл причины благоприятствовавшие успеху заносного нигилизма, побуждавшие свое, родимое зло лечить лекарством от чужой болезни или одевать в чужую болезнь. Человек болен, например, простым расстройством желудка от неудобоваримой пищи и воображает, что он болен — ну хоть холерой, которая эпидемически свирепствует у соседей! А мнимо-больные подчас хуже настоящих больных. Ложь подражания была не в одной области отвлеченной мысли, а во всей общественной и

Из этого же разбора причин и условий происхождения и распространения нашего нигилизма выясняются и те средства, которыми это печальное явление нашей умственной жизни могло бы быть уврачевано и устранено. Один из этих путей был бы тот, от нас независящий, если бы сама подражательность наша получила другое направление, что могло бы случиться лишь, если бы отрицательное нигилистическое направление потеряло свою силу и значение в своем первоисточнике — на Западе, если бы оно там перестало считаться передовым. Вслед за этим поворотом в любую сторону, по истечении некоторого времени, конечно и наша подражательность повернула бы туда же. Но на это рассчитывать не возможно, ибо логический процесс должен совершить свое полное роковое течение. А если бы и можно было рассчитывать, то такое излечение вовсе и нежелательно, ибо было бы только переменою одной болезни на другую, хотя и менее острую: мы все продолжали бы носиться по ветру учений, без балласта, руля и компаса, завися единственно от состояния погоды, от ведра или ненастья за нашим западным горизонтом. Другой путь был бы обращением к самобытности во всех сферах мысли и жизни. Кроме этого — все будет лишь временно и слабо действующим паллиативом, хотя и полезным в том или другом отношении.

государственной русской жизни, — хотя и бессознательная, как говорит автор, однако тем не менее вносящая фальшь и кривду в общественную атмосферу, в сердца и умы, сбивавшая с толку самые усилия сознания... *Ред. И. С. Аксаков.*

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ¹ О ПРАВОСЛАВИИ И КАТОЛИЦИЗМЕ

(Извест. Славянск. Общества, 1885, март).

«Сближение между нами возможно ли? Кроме решительного отрицания, иного ответа нельзя дать на этот вопрос. Истина не допускает сделок».

*«Несколько слов православного христианина»
Хомяков*

В одном из своих писем к Пальмеру² Хомяков сказал: «Я уверен в справедливости того мнения, что важнейшее препятствие к единению заключается не в тех различиях, которые бросаются в глаза, т.е. не в формальной стороне учений, но в духе, господствующем в западных церквях, в их страстях, привычках и предвзятостях, а, главным образом, в том чувстве самолюбия, которое не допускает сознания прежних заблуждений, в том горделивом пренебрежении, вследствие которого Запад никогда не решится признать, что Божественная истина столько лет охранялась отсталым и презренным Востоком». Слова эти с удивительной точностью оправдались при отделении так называемых старокатоликов, которые, отшатнувшись от папской непогрешимости, утвержденной как догмат, по-видимому не имели бы уже никаких причин не присоединиться к православию, ибо все, догматически отличающее их от нас, осталось висящим на воздухе, по расторжении цепи папской непогрешимости. Чтобы сказать эти слова и повторить их за ним, нужно было и у Хомякова, и у всех православных непоколебимое убеждение, что христианская истина на стороне этого востока; и вдруг, от человека, и глубоко религиозного, и много занимавшегося религиозными вопросами, и много размышлявшего о богословских предметах, слышим мы как раз слова, диаметрально противоположные только что приведенным. Проповедь самоотвержения обращается к нам, к смиренно-

му востоку. Оказывается, что мы должны победить страсти, привычки и предрассудки, победить то чувство самолюбия, которое не допускает сознания прежних заблуждений, унаследованных от Византии. Не должно ли было это всех удивить? Меня, по крайней мере, это удивило до крайности.

Г. Соловьев в нескольких статьях своих в «Руси» и в «Известиях С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества» посмотрел на это дело не с точки зрения полного беспристрастия, а принял в нем явно и открыто сторону римского католичества. Это видно из его изложения исторического хода события, неправильно называемого разделением церквей, события, в котором, по его мнению, главная вина падает на Византию и византизм. Тоже видим и в других местах этих статей, например, в объяснении смысла и значения магометанства. Автор наш говорит: «Между православною верою и жизнью православного общества не было сообразности». Это совершенно верно, но ведь и на западе точно так же, как и на востоке; почему же он говорит, относя свои слова исключительно к востоку: «Православно исповедуя единого Христа в согласном сочетании божественной и человеческой природы, византийские христиане в своей полужыческой действительности разрывали этот союз... Победившие ересь в мысли, побеждались ею в собственном действии; православно рассуждавшие жили еретически». Опять справедливо, но будто только византийские христиане? Все это рассуждение, продолжаясь в том же духе, оканчивается словами: «Восточные христиане потеряли то, в чем грешили, в чем не были христианами — независимость политической и общественной жизни». Будто западные христиане были в этом отношении более христианами, чем восточные?

Также точно все недостатки, все пороки Византии выставляются на справедливый позор, а о подвиге той же Византии, величайшем, самом геройском подвиге самоотвержения, когда-либо совершенном народом, упоминается как о действии, заслу-

живающем укора, а не похвал, и о постыднейшем акте торга и духовного соблазна, совершенном Римом, не упоминается вовсе. Взирая на эти два исторические поступка, я счел себя вправе сказать: «Как сатана соблазнитель, говорил Рим одряхлевшей Византии: видишь ли царство сие? пади и поклонися мне, и все будет твое». — В виду грозы Магомета собирает он Флорентийский собор и соглашается протянуть руку помощи погибавшему не иначе, как под условием отречения от православия. Дряхлая Византия показала миру невиданный пример духовного героизма. Она предпочла политическую смерть и все ужасы варварского ига измене вере, ценою которой предлагалось спасение. — Откуда это меряние двумя мерами?

Это явное пристрастие настолько изумило меня, так противоречило всему, чего я ожидал от г. Соловьева, а с другой стороны, все доводы его показались мне столь мало убедительными, и цели его столь неясными и туманными, что становилось странным, как мог он сам убедиться первыми, или увлечься последними. Из этого родилось у меня невольное некоторое подозрение, что г. Соловьев не относился свободно к своему предмету, что он был прельщен, соблазнен, подкуплен. Но да не приходит ни он, ни читатели в ужас от моей дерзости. Да, думаю я, подкуплен, но ведь, само собою разумеется, не деньгами, не лестью и ничем сему подобным, а чем-то совершенно иным, чем мог бы быть подкуплен даже человек честности Аристид³, бескорыстия Сократа⁴, смирения христианского подвижника.

Г. Соловьев человек, без сомнения, с философским направлением ума. Качество довольно редкое и очень ценное, но, однако же, как и всякое умственное и даже как и всякое нравственное качество, имеющее и свои слабые стороны, заставляющие впадать в пороки своих добродетелей. Опыт нам показывает, что главный недостаток или порок философствующих умов, т.е. метафизически философствующих, есть склонность к симметрическим выводам. При построении мира по логическим за-

конам ума, является схематизм, и в этих логических схемах все так прекрасно укладывается по симметрическим рубрикам, которые, в свою очередь, столь же симметрически подразделяются. Затем находят оправдание этому схематизму в том, что будто бы он ясно проявляется в объективных явлениях мира. Взглянем на столь эмпирическое, по-видимому, дело, как зоологическая и ботаническая систематика; и к ней Окены, Фицингеры, Рейхенбахи⁵, все люди высокого ума и с большими положительными званиями, находили возможность прилагать свои симметрические, схематические формулы.

В таких симметрических делениях принимали за таинственного направителя гармонии развития или эволюции некоторые числа: кто четыре, как пифагорейцы, кто пять, как английский зоолог Мак-Ли (M'Leay)⁶, но излюбленнейшим числом было три. Трихотомия была любимейшею формулой схематически-симметрического деления. Когда грубые, неуклюжие факты не поддавались этой симметрии, их подталкивали, подпихивали, давали, по меткому французскому выражению, *un coup de plume*⁷.

Вот эту-то любовь к симметрически-схематической троичности заметил я и у нашего многоуважаемого автора, и подозреваю, что именно она прельстила, соблазнила, подкупила его, — сейчас увидим, каким образом. Сначала укажем на примеры таких симметрических делений, с их почти неизбежными *coups de plume*.

Начинается дело с знаменитого противоположения востока и запада, будто бы имевшего место с самого начала человеческой истории, вероятно, как проявление не менее, чем симметрическая схема, излюбленной метафизикою полярности. Но на беду, в начале истории — должно ведь, конечно, разуместь культурной истории, оставив в стороне каменные века — мы знаем только восток, т.е. страны западной, южной и восточной Азии и Египет, без малейшей примеси запада. Этот запад, т.е. Европа, был тогда покрыт сплошным покровом варварства, или скорее дикости, и в этом качестве никакой культурной противополож-

ности востоку представлять не мог. Следовательно, история началась без полярного противоположения. Это первый *soup de plume*, первое подталкивание и подпихивание фактов, с тем, чтобы заставить их гармонировать с логической схемой.

Далее, за характеристику востока принимается подчинение человека во всем сверхчеловеческой силе, а за характеристику запада — самодеятельность человека. Но ни один народ в мире не заботился и не заботится менее о сверхъестественной силе как та треть человечества, которая живет в Китае, как раз на самом настоящем востоке. Следовательно, эту неудобную и неподатливую на схемы треть человечества приходится выкинуть из истории. Второй *soup de plume*. Вообще, этот несносный Китай стоит поперек всем априористическим построениям истории! Выключение его мотивируется тем, что Китай уже чересчур восточен по своей замкнутости и неподвижности. Но замкнутость его происходила от чисто внешних географических причин, по духу же и направлению не менее его были замкнуты Индия и Египет. Что же касается до неподвижности, то очевидно, что народ, сделавший большую часть основных культурородных изобретений, не мог быть неподвижным, что теперешняя и давняя уже неподвижность — не отличительное свойство духа его, а возрастной признак его долговременной национальной и государственной жизни.

В доказательство того, что теософическая идея связывала все мышление восточных народов и обращала в теургию все творческое воздействие человека на природу, между прочим приводится и то, что земледелие было у них богослужебным обрядом. Но таковым было оно и есть именно у китайцев, наименее теософического, а, следовательно, и наименее теургического народа из всех живущих и когда-либо живших на земле.

Но и народы востока проявляют свою общую характеристическую черту в различных формах: «Индия пришла к признанию истинного божества, как чистой, от всего отрешенной бес-

конечности. Это есть истина, хотя и не вся истина. Религиозная мысль востока не остановилась на индийском миросозерцании». «Тут, — продолжает наш автор, — скрывается раздвоение и противоречие». Это доказывается, и далее выводится: «таким образом умозрительная противоположность сверхсущей истины и ложного бытия заменяется нравственной противоположностью добра и зла. Вместо Браммы и Майи являются Ормузд и Ариман⁸» т.е. мировоззрение иранское. Но и на этом деле не останавливается. Все дело в борьбе, цель ее — торжество доброго начала. Торжество злого начала — смерть. Торжество доброго — жизнь всему, и если торжество полное — то жизнь вечная. «Идея жизни и жизни вечной лежит в основе египетской религии и культуры». Вот и прекрасно; показаны три формы религиозной жизни востока. Это развитие выставлено, как эволюционный процесс, следовательно, как процесс преемственный, что подтверждается еще следующим местом: «Религиозный человек востока, на последней ступени своего развития — в Египте, обоготворил идею жизни». Да иначе какой бы и смысл имели эта великолепная трихотомия и эти дивные три момента развития, если бы не выражались последовательно? Только какое понадобилось для них подталкивание и подпихивание фактов, какой жестокий его *coup de plume*, точно землетрясение перепутавший всю хронологию, всю последовательность явлений во времени! Египет не последняя, а первая ступень развития религиозного человека востока, несколькими тысячелетиями предшествовавшая развитию религиозного человека в Индии и Иране. Да и индийская ступень не предшествовала иранской, а по меньшей мере была ей одновременна — я разумею браманизм, буддизм же несомненно явился гораздо позже магизма, совершенно обратно тому, что требовалось бы по схеме.

Но толчки, подпихивания и удары перьев не прекращаются. «Когда римские легионы», говорится далее, «явились за Евфратом и близ границ Индии, а евреи Петр и Павел стали

проповедывать новую религию на улицах вечного города, — восточного и западного мира уже не было, — произошло двойное объединение исторического человечества (т.е. по-прежнему должно бы быть всего цивилизованного человечества, кроме Китая), внешнее во всемирной империи, и внутреннее во вселенской церкви». — Вот до чего доводят симметрические схемы! Ведь г. Соловьеву, так же как и всем нам, хорошо известно, что римские легионы никогда и близко не подходили к границам Индии; что за Евфратом их большею частью били и истребляли; что между Римскою империею и Индиєю лежал целый культурный тип Ирана, как раз вскоре после этого времени расцветший в новом блеске и славе; что наконец всемирная Римская империя — не более как метафорическое выражение, гипербола, и притом очень смелая. Употреблять ее, как точное выражение действительности, всего менее позволительно там, где идет дело о противоположении востока и запада, как двух полюсов, определяющих собою характер развития всемирной истории, когда из всего того, что г. Соловьев называет востоком, только Египет и вошел в состав этой империи, и, следовательно, только по отношению к нему одному и можно говорить о внешнем упразднении востока. Но это искажение фактов требовалось для схематического построения истории, дабы вместо якобы «двух культур (когда их было не две, а несколько), стоявших доселе рядом, можно было поставить две концентрические сферы жизни: одну высшую — церковь, а другую низшую — гражданское общество».

В другой статье своей г. Соловьев, исходя из верного, принятого церковью, начала троиственности достоинств, заключавшихся в лице Иисуса Христа, как пути к истине и жизни: достоинства Царя, Первосвященника и Пророка, выводит тоже, кажется мне, совершенно верно, что и в церкви, «когда первосвященник, царь и свободный деятель согласны между собою, тогда они могут собирательно совершать такое же служение,

какое Христос совершал единолично, что тогда они действительно представляют собою всю церковь». Но, когда он переходит к изложению проявившегося в истории разделения этих служений и вражды между ними, то прибегает и тут к натяжкам, к подталкиванию и к подпихиванию фактов, дабы уложить их в свою схему: «Христианский восток, говорит он, избрал царя носителем единовластия, представителем единства, верховным вождем и управителем своей жизни; христианский запад сосредоточился вокруг первосвященника». Я и тут спрашиваю, когда же это было? Ведь тут говорится о религиозной жизни церкви, а не о политической. Первым христианским царем был Константин, но власть его была совершенно одинаковою во всех отношениях, как на востоке, так и на западе, и ни на том, ни на другом он одинаково не считался верховным вождем и управителем жизни церковной; во всяком же случае, если даже и признать, что считался, то в одинаковой мере в обеих половинах империи. Ближайшие преемники его, хотя и жили в Константинополе, т.е. на востоке, имели принципиально ту же власть и те же границы власти во всей империи. Когда Феодосий⁹ разделил империю, то и Аркадию, и Гонорию достались, опять-таки и на востоке и на западе, одинаковые доли власти, совершенно одинаковое царское достоинство. Когда Юстиниан на время и отчасти воссоединил запад с востоком, значение его было одинаково, и в гражданском, и в религиозном смысле, на всем пространстве его владений. До сих пор никакого различия в этом отношении между востоком и западом не было. Затем, на западе общего всему христианству единого царя даже и в принципе не стало. От этого положение западного первосвященника стало различаться от положения первосвященников восточных. Но когда единая царская власть снова восстановилась на западе в лице Карла Великого, то значение царя опять стало одинаковым и на западе, и на востоке, и следовательно, нельзя сказать, чтобы во все это время с самого появления христианских царей,

«явилось разделение между царским востоком и первосвященническим западом» — первосвященническим стал он значительно позже, в это же время в обоих были цари равного достоинства: в одном реальный, а в другом фиктивный наследник двух половин Римской империи. По дальнейшему развитию мысли г. Соловьева выходит, что это разделение между царским востоком и первосвященническим западом и составляет настоящую причину разделения церквей. Это видно, во-первых, из того, что сейчас вслед за сим внутренняя западная вражда между царскою и первосвященническою властью выставляется, как причина незаконного проявления третьего начала — начала свободной проповеди; а во-вторых, из того, что, по мнению автора, антагонизм восточного и западного христианства коренится в почве церковно-политической, в том, что католики укоряют нас в цезаро-папизме, а мы их в папо-цезаризме. Но не трудно усмотреть, что при этом объяснении происхождения протестантизма, факты насилуются; как и в прежде приведенных примерах, они переставляются во времени для удобной укладки в схему. Во-первых, почему же вина сваливается на царскую власть, не захотевшую подчиниться первосвященническому единовластию; не эта ли последняя скорее хотела себе присвоить то, что ей вовсе не принадлежало? Но, как бы это там ни было, очевидно, что не борьба между царскою и первосвященническою властью возбудила незаконное проявление третьего начала — свободной проповеди или протестантизм. Эта борьба происходила во времена Гогенштауфенов, Гвельфов и Гиббелинов¹⁰, и тогда ничего подобного протестантизму не произвела; когда же это последнее возникло, то кесарь и папа не были во вражде: и немецкие, и испанские Габсбурги, и французские Валуа были в союзе с папою против ереси.

Здесь не лишним будет еще заметить, что мысль г. Соловьева: «когда первосвященник, царь и свободный деятель согласны между собою, тогда они могут собирательно совершать та-

кое же служение, как Христос совершал единолично, тогда они действительно представляют собою всю церковь», — была нарушена никем иным, как папами, хотевшими соединить в лице своем все эти три достоинства, присваивая себе и исключительное первосвященничество, то есть включая в себя всю иерархию, и исключительную царскую власть, которая только от него должна была получать все свое значение и всю свою санкцию, и все пророчество — присваивая единственно себе непогрешимость церкви и тем совершенно уничтожая в ней всякую свободную деятельность, осуждая ее на полное рабство.

Указывая на все эти подпихивания, подталкивания и перемещения фактов, ради уместения их в схему, я не имел собственно в виду представить критики тех пролегоменов автора, которые он почел за нужное положить в основу своих тезисов; не имел в виду, во-первых, потому, что это заняло бы много времени и места, а главное потому, что такая критика была бы бесполезна, так как и за устранением всей этой подготовительной части, г. Соловьев мог бы оставаться при своей точке зрения на разделение церквей, и при желаемом им соединении их. Я хотел лишь извлечь несколько примеров того, как схематическая симметрия может прельщать, соблазнять и подкупать умы, известным образом настроенные, и направленные. Но где же именно то симметрическое построение, которое, по мнению моему, собственно и подкупило г. Соловьева, то, которому я приписываю неверность его взгляда на разбираемый им важный вопрос?

В одном из прежних своих сочинений, да и в разбираемых теперь статьях, г. Соловьев проводит ту мысль, что осуществление христианского идеала должно выразиться по отношению к мысли в теософии, т.е. в христианской религиозной философии и науке; по отношению искусства и вообще воздействия человека на природу — в теургии; а по отношению к взаимным отношениям людей и к человеческому обществу, т.е. в политике в обширном значении этого слова, — в теократии.

Теософию, хотя конечно еще неполную и несовершенную, мы уже имеем в религиозной философии; что такое и как должна проявиться теургия, это вероятно еще покажет нам автор. До сих пор едва ли кто имеет о ней ясное понятие, — я по крайней мере его не имею; во всяком же случае теургическая деятельность может наступить лишь по осуществлении христианской политики. Следовательно, главная потребность настоящего времени, главная цель, к достижению которой надо стремиться, заключается в теократии. Но ее и искать нечего — она давно уже осуществлена на западе в папстве. Ограничиваясь однако только частью христианства, эта теократия не имеет полного характера вселенскости, настоящей католичности, и потому несовершенна.

Прельстительное, соблазнительное, подкупательное действие такой идеи на ум, философски, или, вернее, метафизически настроенный, и потому склонный к схематической симметрии, понятно. Симметрическая схема этой троичности должна непременно осуществиться. Мы видели, как сама фактическая последовательность исторических явлений не могла устоять против подобных стремлений. Они все затуманивают, все собою заволакивают: и чувство религиозной истины, и подавно уже чувство национальности. И вот, г. Соловьев видит далее в русском народе — народ по преимуществу теократический; ему, следовательно, и предстоит совершить великий подвиг соединения разрозненного, осуществление вселенской теократии, дабы на ее основании и при ее помощи осуществилась во всем блеске и славе теософия в теории и теургия на практике. Призвание это, как оказывается, должно состоять не в провозглашении миру новой великой идеи, а в великом нравственном подвиге, подвиге, состоящем в великом акте самоотречения, духовного самопожертвования, который русский народ уже два раза совершал в более низких сферах деятельности: раз при призвании Варягов, а другой раз при Петре. Следовательно, и тут, как бы в

подтверждение верности и логичности вывода, основательности надежд, опять является та же соблазнительная тройственность и симметричность. Оценивать значение совершенных уже подвигов мы не станем, но приступить к оценке того, который нам еще предстоит, необходимо. В одном конечно согласится со мною и г. Соловьев: что самым величием подвига еще не должно соблазняться, потому что даже и самоотречению и самопожертвованию — этим величайшим нравственным подвигам, как и всему на свете, есть предел и мера, и эти предел и мера — истина. Истине конечно можно и должно все принести в жертву! А лжи? Нужно, следовательно, прежде чем приступить к жертве, взвесить и оценить с величайшею осмотрительностью то, чему нас призывают принести величайшую из возможных жертв.

Зло, устранить которое мы приглашаемся актом самоотречения, есть разделение церкви. Разделение церкви! — да разве это вещь возможная? Если под церковью разуместь вообще религиозное, или даже и христиански-религиозное общество, то почему же нет! — и разделение и подразделение, и всякое дробление вполне возможны, да и на деле множество раз повторялись. Но, если разуместь под церковью таинственное тело Христова, тело, коего Он глава, и одушевляемое Духом Святым, — а ведь так понимает церковь г. Соловьев, — то ведь тело это есть святой таинственный организм в реальном, а не в метафорическом только смысле; а ежели организм, то и индивидуальность — особь особенного высшего порядка. Как же может тело это разделиться, оставаясь живым, сохраняя свою живую индивидуальность? Недопустимость, невозможность этого очевидны. И так, возможно только или отделение, т.е. отпадение от церкви, или же так называемое разделение должно быть чем-то кажущимся, несущественным, т.е. не более как прискорбным недоразумением. Другой альтернативы тут нет и быть не может. Следовательно, предстоит рассмотреть, если было отделение, отпадение, — то кто, чем и когда отпал? Если же так назы-

ваемое разделение церквей было лишь прискорбным недоразумением, то чем можно его рассеять и устранить?

Чтобы приступить к решению первого вопроса, кажется мне, всего проще держаться тех рубрик, которые сам г. Соловьев выставил в № 19 «Руси» 1883 года, в виде 9 вопросов.

1). «Постановления вселенских соборов о неприкосновенности Никейской веры относятся ли к *содержанию* этой веры, или же к букве символа Никео-Константинопольского?»

Не обинуясь ответу: к содержанию, и притом, в том самом смысле, как понимает эти слова сам г. Соловьев в статье «О расколе в русском народе и в обществе»*, где говорит: «точно также и разность в чтении символа между господствующею церковью и старообрядцами могла бы иметь значение для веры и благочестия только в том случае, если бы ею затрагивался догматический смысл символа, т.е. если бы ею *изменялось выражаемое в сказанном члене символа понятие и определение о Духе Святом*. Догматичны и общеобязательны определения символа лишь в силу их смысла, ибо тут смысл может быть одинаков для *всех народов и времен*, может иметь вселенское католическое значение, которое никак не принадлежит отдельным речениям и буквам».

Затем г. Соловьев предлагает прямо 2-й вопрос: «содержит ли в себе прибавление *Filioque*¹¹ непременно *ересь*?» Но мне кажется, что по логической последовательности тут один вопрос пропущен, так что вопрос о еретичности вставки должен был оказаться уже третьим, который сам собою разрешается ответом на второй — пропущенный. Мы позволим себе поэтому его вставить:

2). Изменение Никео-Константинопольского символа, введенное Римскою церковью, относится к содержанию ли веры или только к букве символа?

* «Религиозные основы жизни», с. 159.

К букве символа относится, по справедливому объяснению самого г. Соловьева, то различие, которое замечается в чтении его православною церковью и старообрядцами, т.е. вставка или выпуск слова «*истинного*», неизменяющее смысла, потому что во всяком случае все, приписываемое в этом члене символа Духу Святому, приложимо только к Богу истинному, а само слово было бы только плеоназмом. Ну, а Filioque, исповедание исхождения Духа Святого не от Отца только, но и от Сына, — разве также только плеоназм и необходимо подразумевается при исповедании исхождения Его от Отца, также точно, как подразумевается *истинная* Божественность Духа Святого, при исповедании прочих частей этого члена символа? Ведь вопрос именно в этом заключается, в том, как г. Соловьев поставил его в своей статье о расколе. Следовательно и отвечать на этот вопрос, который (хотя и не самим г. Соловьевым сделанный), нельзя иначе, как тем, что изменение символа, введенное Римскою церковью, относится к самому содержанию веры, а не только к букве символа.

Случается слышать, что это Filioque не изменение символа, а только лишь дополнение его. Но что же это значит? Дополнение есть один из видов изменения. Изменение может быть сделано сколько мне известно, только тремя способами, или тремя видами этого родового понятия, но и не менее, как этими тремя: опущением, замещением и дополнением. Все эти три вида изменений могут, смотря по своему содержанию, одинаково изменять или только букву, или самый смысл изменяемого. И опущения и замещения могут быть также точно невинны и несущественны, как дополнения могут быть важны и существенны. Например, дополнение в том же члене символа слова «*истинного*» будет столь же несущественно как и опущение его (если бы оно находилось в первоначальном тексте). Можно пойти еще далее. В символе есть слова: «*света от света*», поставленные для пояснения рождения Сына от Отца. Если бы это уподо-

бительное пояснение и было какою-нибудь местною церковью опущено, то, полагаю, существенного изменения смысла символ не потерпел бы. Ересью такой пропуск во всяком случае нельзя бы было назвать, а только формальным нарушением заповеданной неприкосновенности его. Также точно можно бы, без сомнения, и заменить некоторые слова символа другими, хотя может быть и менее обозначительными, но без существенного изменения его смысла. Но если бы кто вздумал сделать во 2-м члене дополнение совершенно аналогическое со сделанным в 8-м латынянами, сказав при Второе Лицо Св. Троицы: «иже от Отца и Духа Святого рожденного», как это и спрашивает Фотий в окружном послании к восточным патриархам, — какого рода было бы это дополнение: изменяющее лишь букву, или и самый смысл символа? Из этого очевидно, что изменение в форме дополнения может быть столь же существенно, как и в прочих формах: опущения и замещения.

Из логической последовательности частей символа очевидно, что о каждом Лице Св. Троицы сначала устанавливается внутреннее отношение его к другим Лицам, а затем доля его участия в спасении рода человеческого. Так и о Третьем Лице говорится о вдохновении Им пророков и о подобающем Ему поклонении, а прежде этого, конечно, об Его отношении к другим Лицам; а если это так, то одинаковыми ли будут понятия православия и римской церкви об отношении Лиц Св. Троицы между собою? Слишком явно, что не одинаковы. Следовательно, смысл символа изменен в самом его содержании, а не в букве только. Если бы в символе вовсе ничего не говорилось о внутреннем отношении Третьего Лица к другим Лицам, если бы там было лишь сказано: «и в Духа Святого, Господа животворящего..., с Отцом и Сыном спокланяема и славима»... то латинская формула могла бы считаться только дополнением (правильным или неправильным — это другой вопрос), а не изменением его по смыслу и содержанию. Теперь же, изменение по

содержанию неоспоримо, ибо нельзя ведь требовать, чтобы ко всякому утверждению прибавлялось, во избежание недоразумений, и отрицание всего, могущего противоречить этому утверждению, т.е. нельзя требовать, чтобы было сказано: только, единственно от Отца исходящего, ибо, если что утверждается, то тем самым уже и отвергается все несогласное с этим утверждением. Иначе ведь и конца бы не было формулировке веры, которая должна быть возможна краткою и сжатою.

После этого, ответ на 2-й (а по нашему счету на 3-й) вопрос является сам собою, как результат ответа на два первые. 3-й (2): «Слово *Filioque*, прибавленное к первоначальному тексту Никео-Константинопольского символа, содержит ли в себе непременно *ересь*?».

Да, содержит непременно, потому что относится не к букве символа, а к смыслу и содержанию его.

Но как же согласить с этим выставляемые г. Соловьевым в свою пользу столь высокоавторитетные слова Филарета Московского, не хотевшего произнести суда над римскою церковью?¹² Г. Киреев¹³, в ответе своем, приписывает это тому, что сочинение покойного митрополита, на которое указывает г. Соловьев, было издано еще задолго до Ватиканского собора¹⁴. Мне кажется, что и в этом нет надобности. Осуждения не хотел он произнести по христианскому смирению, тем более, что высокочтимый голос его мог бы считаться отголоском самой церкви, — по смирению, правило которого в этом отношении выражено так незабвенным Хомяковым в его катехизическом учении о церкви: «Так как церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведаёт только в своих пределах, не судя остальному человечеству, и только признавая отлученными, т.е. не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются». Позволительно думать, что сказанное митрополитом Филаретом имело ближайшее вли-

яние на приведенные слова Хомякова, так как и там проведена та же мысль.

И при суде над обыкновенным преступником, если он даже не отрицает дела им совершенного, не считая его противозаконным, а напротив того, с горделивою смелостью выставляет его деянием похвальным, он все-таки не считается виновным, а только обвиненным, и по фикции невинным, пока не произнесен приговор тем, кто к тому призван. Но, однако же, хотя и удерживаются от произнесения над ним осуждения, тем не менее, все считают деяние его преступлением и не позволят себе совершить его. Так и тут, воздерживаясь от обвинений Римской церкви в ереси, не судя ее, мы можем и должны судить самих себя, т.е. думать, что не можем последовать учению ее именно из опасения стать повинными в ереси. Мы не осудим римскую церковь, заклеив ее названием ереси, как не призванные к суду, но можем и должны опасаться, именно как ереси, тех отклонений от православного учения, которые допустила Римская церковь.

Впрочем, как бы сильно кто ни выражался об этом предмете, сильнее выразиться он не может, чем сам папа Иоанн VIII в письме к Фотию¹⁵, которое приведем здесь: «Нам известны неблагоприятные слухи, которые были вам переданы на наш счет и на счет нашей церкви; вот для чего я хотел объяснитьсь с вами, прежде даже, чем вы бы мне об этом написали. Вам не безизвестно, что ваш посланный, объясняясь с нами о символе, нашел, что мы соблюдаем его, как первоначально получили, не прибавляя к нему и не опуская ничего, потому что знаем то наказание, которого заслуживает тот, кто дерзнул бы коснуться до него. Итак, чтобы успокоить вас на счет этого предмета, который сделался для церкви поводом к соблазну, мы объясняем вам еще раз, что не только мы произносим его так, но что мы осуждаем даже тех, которые в своем безумии имели дерзость поступать иначе, в принципе, как нарушителей Божест-

венного слова и подделывателей учения Иисуса Христа, апостолов и отцов, которые передали нам символ через соборы. *Мы объясняем, что доля их — доля Иуды*, за то, что действовали как он, так как, хотя они и не сами тело Господа предают смерти, но раздирают верных Божиих, которые суть члены его, расколом, предавая их, как и самих себя, вечной смерти, как было поступлено недостойным апостолом. Я предполагаю, однако же, что Ваша Святость, которая исполнена мудрости, не может не знать, что нелегко заставить разделять это мнение наших епископов и изменить в короткое время столь важный обычай, укоренившийся уже в течении стольких лет. Посему-то мы думаем, что не должно никого принуждать к оставлению этой прибавки, сделанной к символу, но что должно действовать с умеренностью и благоразумием, увещевая мало-помалу к отказу от этого *богохульства*. Итак, те, которые нас обвиняют в разделении этого мнения, говорят неправду. Но те, которые утверждают, что еще есть между нами лица, которые осмеливаются так произносить символ, не слишком удалены от истины. Итак, прилично, чтобы Ваше Братство не слишком приходило в соблазн на наш счет и не удалялось от *здоровой части тела нашей церкви*, но чтобы оно содействовало своим усердием, своею кротостью и благоразумием *обращению тех, которые удалились от истины*, дабы заслужить с нами обещанную награду. Здравие о Господе, католический и достоуважаемый брат^{*}. Если не какие-нибудь поношения и бранные слова называются богохульством, а учение, то чем иным может оно быть в мнении самого папы, как не ересью? И однако, менее чем через полтора года (в 1015 году) это самое богохульство было принято самими папами, как нераздельная часть символа. Какова непогрешимость!

^{*} Guettée¹⁶, «La pap. schism», p. 347-348.

На вторую часть вопроса: на каком же вселенском соборе эта ересь подвергалась осуждению? — кажется мне, также не трудно отвечать. На всех тех, на которых был установлен Никео-Цареградский символ, и на всех тех, на которых постановления двух первых соборов были подтверждены, и неприкосновенность символа провозглашена. В самом деле, если какой-либо догмат установлен, как торжественное свидетельство, что такова именно была постоянная вера вселенской церкви, к чему же еще повторять тоже свидетельство при всяком случае, когда какое-либо общество верующих (хотя бы это была самая многочисленная и уважаемая местная областная церковь), отступает от этого догмата, и не одинаково ли это относится как к тому случаю, когда догмат был формулирован по поводу бывшего уже отклонения от содержимой в ней истины, или в предупреждение еще будущих и неслучившихся еще отклонений? Если поэтому не предстоит надобности в новом повторительном провозглашении догмата, например, о единосущности Отца и Сына (формулированного по поводу явившейся до собора ереси), то также точно не предстоит ее и для всех тех частей символа, против коих никто еще не восставал до их вселенского утверждения. Позволю себе для пояснения снова обратиться к примеру законодательства гражданского. Совершен проступок, не предусмотренный законом, как положительное нарушение права. Очевидно, суд будет в затруднении и даже в невозможности поставить решение, ибо для сего требуется еще предварительный законодательный акт. Но если точный и определенный закон уже постановлен, какая надобность в повторительном законодательном акте, для подтверждения закона, при его нарушении? И тут, достаточность законодательного акта совершенно независима от того, — был ли закон установлен в виду случавшегося уже правонарушения, или в виду только предупреждения правонарушений, возможных в будущем.

4 (3): «Если сказанное прибавление, появившееся в западных церквях с VI века и около половины VII ставшее известным на востоке, заключает в себе ересь, то каким образом бывшие после сего два Вселенские собора: шестой в 680 и седьмой в 787 годах не осудили эту ересь и не осудили принявших ее, но пребывали с ними в церковном общении?»

Ответ на этот вопрос отчасти тоже уже дан. Не осудили снова потому, что оно было уже осуждено ясною формулировкой догмата об исхождении Св. Духа. Но почему же пребывали в общении? Потому, что прибавление *Filioque* было ересью, появившеюся в области Римского патриархата, но не было еще тогда ересью Римского патриархата, как свидетельствует отказ Льва III¹⁷ допустить изменение символа двадцать с лишком лет после седьмого Вселенского собора. Почему же было и не оставаться в общении с этим патриархатом в целом и с представителями его на соборах? В Римском патриархате было тогда, или, пожалуй, даже имело тогда большое распространение ложное богословское мнение, противоречащее ясно сформулированному догмату символа, одинаково принятого как на западе, так и на востоке. Вероятно и на востоке также были тогда распространены некоторые ложные богословские мнения, как это во все времена бывает. Вот и все; из-за чего же повторять на соборе догмат и из-за чего прекращать общение? Да и этого мало: в сущности он был повторен, т.е. подтвержден, так как соборы обыкновенно подтверждали решение прежних соборов, и папские легаты наравне с прочими участвовали в этом подтверждении*, следовательно ни они, ни римский патриарх, ко-

* Седьмой вселенский собор говорит в правиле 1-м: «Начертанные прежними вселенскими соборами правила и постановления пребывают несокрушимыми и непоколебимыми... Всецелое и непоколебимое содержит постановление сих правил, изложенное от всехвальных Апостолов, святых труб Духа, и от шести святых вселенских соборов». — Макария, Введение в православное богословие, стр. 308. — А на VI соборе читалось послание папы Агафона к

торый они собою представляли, не могли быть почитаемы состоящими в ереси, как, еще гораздо после этого, это прямо выражает папа Иоанн VIII в только что приведенной выписке. Как частное (сколько бы оно ни было распространено) неправильное мнение, оно и могло и должно было быть предоставлено внутреннему распоряжению областной Римской церкви, тогда в целом не только еще вполне православной, но особенно уважаемой по твердости и непоколебимости ее в борьбе против иконоборства.

На 5 (4) вопрос: «не позволительно ли всякому православному следовать о прибавлении *Filioque* мнению св. Максима Исповедника, толкуя это прибавление в православном смысле?» — кажется мне, должно отвечать, что толковать это прибавление, как и вообще всякое мнение, можно и должно только в том смысле, в каком толкуют сами принимающие его, т.е. в настоящем случае римские католики; а они, без сомнения, толкуют его в смысле предвечного исхождения Св. Духа, как ипостаси Св. Троицы. Если же придавать какому бы то ни было мнению — религиозному, философскому, научному, политическому, литературному не тот смысл, который придают ему те, кто его установили и приняли, а свой особый смысл; то можно согласиться почти со всем, с чем угодно. Так, например, понимая по своему народное верховенство (*souveraineté du peuple*), можно утверждать, что мы, русские, придерживаемся тех же политических воззрений, как французские республиканцы, последователи Жан-Жака-Руссо, потому что ведь весь Русский народ желает самодержавия, видит в нем свой политический идеал.

императору Константину от 679 года, где сказано: «С простотою сердца и с твердостью преподанной от отцов веры, мы соблюдаем все, что только правильно определено святыми достопочтенными предшественниками нашими и пятью великими соборами». (Ibid. стр., 324). Как же после этого VI собору было не продолжать состоять в общении с западным патриархатом?

6-й (5) вопрос: «Помимо Filioque, какие другие учения римской церкви и на каких вселенских соборах осуждены как ересь?»

Догматических учений, в строгом смысле этого слова, принимаемых Римскою церковью и отвергаемых Православною, кроме различия в символе, только два: провозглашенные на последнем ватиканском соборе, как догматы, учения: о беспорочном зачатии Пресвятой Девы Марии, и о непогрешимости папы, говорящего *ex cathedra*¹⁸. О первом я говорить не буду, как потому, что оно действительно не было осуждено ни на одном вселенском соборе, так и потому, что вместе с учением о папской непогрешимости падает и все то, что только на ее авторитете и зиждется. Учение же о папской непогрешимости также точно ересь против догмата символа о церкви, как Filioque ересь против догмата о Третьем Лице св. Троицы.

Надо только заметить, что неправильное понятие о церкви, в котором заключается вся сущность различия между православием и латинством, в начале было выражено не еретическим словом, а еретическим поступком, который, по неизбежному логическому развитию, довершился в наши дни и еретическим словом. В чем состоял и какие последствия имел этот еретический поступок, изложено со всею желательною полнотою, ясностью и убедительностью в богословских статьях Хомякова.

Если каждый протестант признает за собою полное право решения того, в чем заключается религиозная истина; то же право присвоила себе и областная римская церковь, с тою однако разницею, что если протестант и присваивает себе право на определение религиозной истины, то зато и обязанность признания этого определения ограничивает своим лицом; тогда как римская областная церковь считает признание своей узурпации обязательным для всех. Но протестант и основывает свое понятие о церкви на началах разума, а не на предании; предания не находилось также и в пользу западного патриархата, как обладателя религиозной истины, и потому область надо

было заменить лицом, патриархат патриархом, на что можно было частью отыскать, частью подделать некоторое подобие предания. Истинное предание, также как и писание, усваивают непогрешимость только церкви, как единому целому, — и римский католицизм этого не отвергает, но только сосредоточивает церковь, по крайней мере в отношении знания истины, в одно лицо. Подобно Людовику XIV, сказавшему *l'état c'est moi*¹⁹, и папа говорит: церковь — это я. Но где же это основание? Церковь есть существо единое и вечное; поэтому, раз данная ей сила и власть с нею, как с единым и вечным, во век и пребывает. Но папа существо смертное, и посему, если кому-либо из пап и была бы присвоена полнота церковной власти, то он не только от кого-нибудь должен был ее получить, но и кому-либо передать, и на эту преемственную передачу должно бы быть установлено какое-нибудь, вполне достаточное для достижения своей цели, средство, точно так, как, например, все эти условия исполнены при передаче той доли власти или значения церковного, которые присвоены епископу, священнику — рукоположением, и даже всякому мирянину — крещением. Чем же выполняются эти условия для каждого отдельного папы? Если даже признать, что эта полнота власти, или это сосредоточение в одном лице атрибута всецерковности и было присвоено первому папе, т.е. апостолу Петру; то, так как ни он, и ни один из последующих пап не передавал того, чем во всем мире только один и обладал, своему преемнику — этим путем передача происходить не могла.

Или же при поставлении всякого нового папы совершается некое особое 8-е таинство? Как говорит Хомяков: «Кто приурочивает учительство к какой-либо должности, предполагая, что с нею неразлучно связан божественный дар учения, тот впадает в ересь таинства рационализма, или логического знания»^{*}; и в

^{*} Полн. собр. сочин. Хомякова, т. II, стр. 59.

другом месте: «что касается до совершенства веры, то признавая его обязательным для каждого христианина (ибо христианин лишается чистоты веры не иначе, как действием греха), церковь не может допустить притязания какого-либо епископа на такое совершенство, иначе на непогрешимость в вере; по ее понятию, такое притязание есть верх нелепости. Что бы подумали, если бы епископ заявил притязание на совершенство христианской любви, как на принадлежность своего сана? А притязание на непогрешимость веры не то же ли самое?» и в выноске дополняет это: «предположить, что мнимо-непогрешительный епископ обладает совершенством не веры, в точном смысле слова, а только логического познания в вещах мира невидимого, значило бы допустить небывалое таинство рационализма, иначе сказать, допустить предположение, что существует таинство, сообщающее человеку силу, не чуждую даже и бесам»^{*}. Но такого таинства не признают и сами католики, а если бы и признавали, то опять-таки, кто же передает папе специальную благодать этого таинства, так как ведь обладающие низшею степенью благодати, потребной для совершения таинства, не могут передать высшей ее степени?

Или при каждом избрании папы совершается непосредственное, прямое повторение раз совершившегося сошествия Духа Святого в день пятидесятницы? Но никто не имеет дерзости утверждать этого.

Или вся церковь, несомненно обладающая даром непогрешимости в установлении и охранении божественной истины — каким-либо актом сполна передает этот дар папе? В чем же состоит этот акт? В избрании папы конклавом кардиналов? Но мы знаем историческое значение этого звания. Первоначально назывались кардиналами семь епископов городов в ближайших окрестностях Рима: Остии, Порто, Ст. Руфины, Альбы, Сабии-

^{*} Полн. собр. соч. Хомякова, т. II, стр. 122.

ны, Тускули, и Пренесты. Почему же сосредоточивалась в них полнота церковных даров? Да сверх того мы знаем еще, что этой коллегии кардиналов, каковы бы ни были ее значение и преимущества, — право на избрание пап было присвоено только на поместном Латеранском соборе 1059 года, а что до этого папы избирались весьма различным образом, часто римскими патрициями, духовенством и народом; на каком же основании можно бы было присвоить этим избирателям всецерковное полномочие?

Или не принять ли, наконец, за основание главенства, верховенства и конечно непогрешимости пап то изумительное, невероятное основание, которое приводит г. Соловьев? Я охотно сознаюсь, что, не будучи начитан в богословских ухищрениях католической полемики, не берусь решить — римским ли богословам, или самому г. Соловьеву принадлежит открытие этого, для меня по крайней мере, нового краеугольного камня, лежащего в основе папского здания. Своими словами передать мысль эту я не могу, из опасения так или иначе невольно исказить ее, и потому буквально переписываю, и только позволю себе подчеркнуть некоторые выражения и сделать в скобках некоторые примечания. «Эта кафедра (т.е. римская) должна быть в реальном смысле кафедрою св. Петра, т.е. за настоящего руководителя земной церкви во всем течении ее исторического бытия должен быть принят один и тот же могучий и бессмертный дух первоверховного апостола, таинственно связанный с его могилою в вечном городе и действующий через весь преемственный ряд пап, получающий таким образом единство и солидарность между собою. Таким образом, видимый папа является орудием, часто весьма несовершенным, а иногда и совсем негодным, посредством которого незримый руководитель церкви (т.е. ведь дух апостола Петра) проводит свое действие и направляет исторические дела земной церкви в каждую данную эпоху; так что каждый папа есть не столько глава церкви, сколько вождь дан-

ной исторической эпохи. Но, если в это свое время он умеет вести временные дела церкви в согласии с ее вечными целями», (да как же бы ему не уметь, если он, независимо от своих личных качеств — все таки остается орудием духа апостола Петра?) «если он является чистым и достойным орудием Вечного Первосвященника и Его верховного апостола (значит он орудие не только духа ап. Петра, а и самого Иисуса Христа), тогда христианское человечество прямо видит через него то, что больше его, и признает в нем своего истинного вождя и главу» (значит иногда только вождь, а иногда и глава вместе; кто же судит непогрешимого и решает о его достоинстве?). В этих немногих строках столько удивительного, что и не перечислишь всех недоумений, которые рождаются при их чтении. У церкви значит, две главы невидимые: Иисус Христос — глава всей церкви небесной и земной, и дух апостола Петра — только земной, и еще третья глава видимая — папа, впрочем не постоянная, а только перемежающаяся, иногда бывающая, иногда нет, и в последнем случае заменяемая вождем, но все-таки остающаяся орудием духа Петрова. Далее, если, несмотря на недостойность и даже совершенную негодность, папа все-таки остается орудием духа апостола, то и тут является, без сомнения, некоторое таинство, которое, однако же, мы уже не в праве назвать восьмым, потому что это будет таинство некоего особого низшего разряда, таинство, коим недостойному сообщается благодать не Божия, а апостольская только, и через это таинство ряд пап оказывается рядом оракулов, через которых говорит дух апостола, по крайней мере, когда папы говорят *ex cathedra*. Могучий и бессмертный дух апостола таинственно связан с его могилой в Риме! Почему же только его духу дана такая привилегия, или только на его дух наложена такая повинность? — оснований для этого не видно. Такая связь духа с могилой и оракульское действие на пап не будет ли тем, что Хомяков называет фетишизмом места? И если эта связь существует, переставали ли

папы быть орудием духа, когда жили в Авиньоне, и перестанут ли, когда переселятся в Фульду, или на остров Мальту, как имели намерение? Если столькое зависит от освящения места могилою, то не гораздо ли большую таинственную силу должен бы иметь Иерусалим? И значение главы, или, по крайней мере, вождя церкви, не вернее ли бы было присвоить Иерусалимскому, чем Римскому патриарху?

Из всего сказанного об этом предмете видно, что, хотя догмат символа о церкви и читается одинаково и в тех же самых словах, как православными, так и римскими католиками, но смысл, соединяемый ими с этими словами, совершенно различный, так что тот и другой смыслы не могут считаться правильными, и если один православен, то другой еретичен; а ведь в смысле, в содержании веры и вся сущность дела, говорит сам г. Соловьев. Если отнести этот смысл, это значение догмата о церкви к тому времени, когда был изменен Никео-Цареградский символ, то окажется, что латиняне относили тогда понятие о ее святости и католичности единственно к своему римскому патриарху, так как присвоили ему право провозглашения обязательного для всей церкви исповедания веры, ибо когда присвоили себе это право относительно одного члена символа, — уже нет никаких оснований, почему бы они могли не счесть себя в праве поступить точно также и относительно всего символа, любая часть которого ведь не более же священна и неприкосновенна, чем всякая другая. Если же отнести понимание догмата о церкви к последующим временам, и в особенности ко времени после последнего Ватиканского собора, то очевидно, что понятие это включает в себе по крайней мере следующее догматическое учение: верую во единую святую, католическую и апостольскую церковь, всецело передавшую свой существеннейший атрибут быть органом познания божественной истины единому лицу папы. Г. Соловьев утверждает, что такая передача столь же законна и сообразна с духом церкви, как и передача

этого атрибута ее собору. «Это не значит, говорит он, чтобы православная церковь принимала самую форму соборности за неперемutable ручательство истины... Верить в собор вообще или в соборное начало никто не обязан... Соборное начало само по себе есть начало человеческое, и как все человеческое, может быть обращено и в хорошую и в худую сторону... Ясно, таким образом, что соборность не ручается за истинность, а следовательно не может быть предметом веры». Это все совершенно справедливо. Поэтому православная церковь и не верит в собор, как в собор, подобно тому как римская церковь верит в папу как в папу. Православная церковь верит только в самое себя, а потому и в такой собор, который ею утвержден, который есть ее проявленный голос, выражающий истинное, изначально ей присущее, исповедание, и потому нарекает его Вселенским. А это-то, по самому существу дела, несообразно, несовместимо с догматическим признанием непогрешимости папы в деле учения, признанием без рассуждения, без оценки им провозглашаемого или имеющего еще быть им провозглашенным, признанием, так сказать, предварительным, как было бы несообразно и несовместно с таковым же признанием непогрешимости и собора. Церковь никогда не признавала непогрешимости собора вообще или собора с такими-то и такими-то определенными признаками, а признает только непогрешимость тех семи соборов, которые сама, а не кто другой, нарекла Вселенскими, также как и тех, которые и впредь наречет Вселенскими.

В самом деле, где же ручательство за тождество исповедания церкви с исповеданием папским? А римская церковь, при самом выгодном для нее толковании догмата папской непогрешимости, должна признавать его совпадение, это тождество не только за все прошедшее время, вопреки истории (признание полуарианского символа папой Либерием и осуждение Вселенским собором папы Гонория²⁰, недопущение одним папою вставки в символ и допущение ее другим), но и, так сказать, предвари-

тельно и за все будущее время бытия земной церкви. — Г. Соловьев приводит примеры ложных, еретических соборов, имевших притязание быть Вселенскими. Но эти примеры свидетельствуют не за него, а против него, ибо доказывают, что критерий истины полагает православная церковь не в каком-либо формальном, наружном качестве того или другого исторического собора, а в признании или непризнании голоса собора за свой собственный голос. Как же поступить с папским решением, за которым наперед уже признана непогрешимость? Соборное начало, как таковое, автор признает за человеческое, и с этим мы не спорим; а единоличное папское начало признает ли он, или не признает за таковое же? Он признает по крайней мере, что папство превращалось в папизм; отрешилось ли оно и теперь от него, для нас безразлично, ибо если превращалось в прошедшем, то может состоять в нем и теперь и превратиться в будущем. Что же делать тогда признающей папство (в католическом смысле) церкви? Ей нет другого выхода, как так или иначе отречься от самой себя, т.е. или не последовать за папой и отказаться от ею же признанного догмата непогрешимости, или же отказаться от собственной своей непогрешимости и святости, последовать за ложью, так как ведь папизм есть ложь и по признанию самого г. Соловьева. При соборном начале, как церковь его понимает, в такую дилемму она и впасть не может. Или же папизм может проявляться только в частных ошибках по церковному управлению, по различным временным мерам, им принимаемым, а не по пониманию и провозглашению религиозной истины? Опять спрашиваю, где же за это ручательство? — И мы опять впадаем в 8-е таинство — таинство рационализма.

Соборное начало есть начало человеческое. Правда, и это не ведет нас ни к какому противоречию, ни к какому абсурду. Но можно ли признать единоличное папское начало за божественное? Мы видели, что также нет, хотя по католическому началу и должно

бы было, ибо, как же иначе приписывать ему непогрешимость? Утверждать этого не решается по-видимому и г. Соловьев, почему и придумал свою странную гипотезу о духе апостола Петра, таинственно связанном с его могилою. Божественность остается бесспорно и единственно за началом всецерковным и началу соборному может принадлежать лишь постольку, поскольку оно совпадает с ним, а потому и не вводит нас в неизбежное противоречие. Поэтому и признается оно церковью, как средство обнаружения или проявления хранимой ею истины, — только, и не более этого. Начала же единичного, папского Церковь признать не может, ибо была бы при этом принуждена или признать его за божественное, как таковое, или же, подобно соборному, также за человеческое, и тем подвергнуть себя противоречию, подчиняясь ему, как непогрешимому. Неизбежность этого противоречия Церкви самой с собою ясно признавали и сами папы, пока были православными. Не писал ли Григорий Великий²¹ Антиохийскому патриарху по случаю придания титула вселенского Константинопольскому патриарху: «Ты не можешь не согласиться, что если один епископ назовется вселенским, то вся церковь рушится, если падет этот вселенский». Очевидно, что тут разумелся не один почетный титул, каковым был, например, почтен папа на халдиконском соборе, а названию вселенский приписывалось то именно значение, которое придается папам, как непогрешимым главам церкви.

* Что Григорий I имел в виду, наравне с другими патриархами, и пап самих, видно из его ответа Александрийскому патриарху Евлогию, который согласившись не давать титула вселенского Константинопольскому патриарху титуловал им самого Григория: «*Как вы приказали?* Я прошу вас, не давайте мне никогда слышать это слово — приказание, потому что я знаю, кто я и кто вы. По вашему месту — вы мои братья, по вашим добродетелям — мои отцы... Я вижу однако, что Ваше Блаженство не совсем удержали то что я желал доверить вашей памяти, потому что я сказал, что вы не должны придавать и мне этого титула столько же, как и другим; а вот в надписи письма вашего, вы даете мне, который их отверг, горделивые титулы вселенского и папы ... Если Ваша Святость называет меня Вселенским папою, вы отнимаете у себя то, чем

И действительно, рушилась бы церковь, если бы какому-либо патриарху этот титул мог принадлежать в этом смысле, ибо нет ни одного древнего патриаршего престола, на котором по временам не восседали бы еретики... Так и на римском был полуарианин Либерий, патрипассияне Зефирин и Каллист и монофелит Гонорий, осужденный посмертно VI вселенским собором и преданный им анафеме, и анафема эта была подтверждена и папою Львом II^{*}.²²

Г. Киреев в своем возражении против г. Соловьева, между прочим, выразился так: «Отцы соборов не самостоятельные законодатели, а, так сказать, свидетели вероучения своих духовных чад, своих церквей. Соборные постановления отцов санкционируются отдельными церквами и составляют часть непогрешимого учения вселенской церкви». Я не знаю, почему слова эти показались г. Соловьеву прямым отрицанием церкви^{**}. В них собственно ничего другого не сказано сверх того,

я был бы всецело». В письме к Императору Маврикию Григорий Великий выражается еще сильнее: «Я говорю без малейшего колебания, что кто называет себя вселенским епископом, или желает этого титула, есть по своей гордости предтеча Антихриста». (Guettée, La papauté schismatique, pag. 219, 221, 223.).

^{*} В письме Льва II к императору Константину Погонату от 7 мая 683 г. сказано: «Мы анафематствуем изобретателей нового заблуждения: Феодора Фаранского, Кира Александрийского, Сергия Пирра, Павла и Петра Константинопольских и *также Гонория*, который, вместо того, чтобы очистить эту апостольскую церковь учением апостольским, едва не ниспроверг веры нечестивою изменою». (Guettée, La papauté schismat. стр. 249). И так, непогрешимый предаёт непогрешимой анафеме непогрешимого за ересь, видно также непогрешимую. — Сверх сего и папа Адриан II признал это осуждение как факт (ibid., pag. 315).

^{**} Гетте в своей истории церкви говорит также: «Он (епископ), в силу своего епископского достоинства, есть законный (autorisé) представитель своей церкви; но эта церковь имела право протестовать, если ее епископ приписывал ей другую веру, чем ту, которую она исповедывала, преследовать своего епископа и заставить его низложить по канонам» (Vol. III, pag. VIII). Так поступила, например, и русская церковь со своим митрополитом, вернувшимся с флорентинского собора.

что говорит и сам г. Соловьев: «По католическому учению папа (равно как и Вселенский собор) имеет обязанность формулировать церковные догматы, но не имеет никакого права выдумывать свои собственные». Или в другом месте: «верховный первосвященник не имеет права провозглашать какие-нибудь новые откровения, или новые истины, не содержащиеся в данном всей церкви Божественном откровении. Папа не может быть источником или действующей причиной догматической истины». Но что значит формулировать догматы, как не тоже самое, что и свидетельствовать о вероучении церкви? Но существенная разница православного и католического понятия заключается в том, что, ежели собор, никогда не считаемый непогрешимым предварительно, неверно формулирует учение церкви, т.е. даст неверное свидетельство об учении церкви, то она его не признает истинным собором, как это и было и с разбойничьим собором, и с собором флорентинским. Но как поступить церкви при неправильной формулировке догмата папой, как поступить в том случае, если даже вместо формулирования догмата он выдумает свой собственный, т.е., по словам г. Соловьева, превысит свою власть, которой границ не положено, поступить вопреки своего права, которого он есть однако же единственный судья и блюститель? Ведь он уже предварительно признан непогрешимым. Падет единый вселенский, и рушится церковь! Очевидно, дело в том, что г. Соловьев совершенно неправильно выразил католическое вероучение, сказав, что папа *не имеет права* чего-либо сделать. Чтобы примирить значение папы с значением церкви, по католическому понятию, должно бы сказать что папа, по каким-то таинственным причинам *не имеет не права, а возможности* выдумывать свои собственные догматы и что все, что бы он ни признал за догмат, будет уже *ipso facto* непременно формулировкой догмата, т.е. свидетельством всецерковным, по тем же таинственным причинам. Ведь и о церкви нельзя сказать,

что она не имеет права выдумывать новые догматы, а должно сказать, что она по божественному обетованию, по руководительству истинного главы ее, по вдохновению Духа Святого, не имеет этой возможности, хотя про собор можно и должно сказать, что он не имеет этого права.

Кажется, различие между православным понятием о непогрешимости собора и между католическим понятием о непогрешимости папы — достаточно резко и велико. Одно есть совпадение с непогрешимостью самой церкви, достигаемое посредством санкции или, так сказать, ратификации решений собора фактическим признанием церкви; другое же требует для такого совпадения или особого таинства, или таинственного воплощения, концентрации церкви в папе, или, по крайней мере, признания его невольным органом проявления духа апостола Петра, т.е. его оракулом — все таких предположений, на которые, по меньшей мере, не имеется никаких оснований, или, вернее, которые противоречат истинным началам христианства.

«Церковь управляется не снизу а свыше; образ ее устройства не демократический, а теократический» говорит далее г. Соловьев. Первое положение справедливо, но против него никто и не возражает; но вторым совершенно ничего не сказано, или сказано тоже, как если б кто думал опровергнуть, что такой-то предмет круглый, утверждая, что он зеленый. Демократический противопоставляется монархическому или аристократическому, но ни коим образом не противопоставляется теократическому. Теократия, т.е. непосредственное Божие руководство церкви, может проявляться также точно через одно лицо, через собрание лиц, как и через совокупность всех сынов церкви, т.е. теократия церковная представляется, по-видимому, одинаково возможною и в форме монархии, и, в форме аристократии, и в форме демократии. Я говорю *по-видимому*, т.е., что так это нам вообще представляется; а в сущнос-

ти тут возможность должна вполне совпадать с действительностью, т.е. всецерковность и есть единственная возможная форма истинной теократии.

В доказательство теократического управления Церковью, с чем конечно все верующие в Церковь согласны, г. Соловьев приводит формулу решения церковных постановлений: «изволися Духу Святому и нам». — Вот этим-то именно изволением Духа Святого и выражается *всецерковное признание* соборного решения. «В этих словах», говорит Хомяков, «выражается не горделивое притязание, но смиренная надежда, которая впоследствии оправдывалась или отвергалась согласием или несогласием всего народа церковного, или всего тела Христова». Что это не чье-либо частное мнение, доказывается, с одной стороны, свидетельством истории, а с другой прямым свидетельством православной Церкви в лице восточных патриархов и собора восточных епископов, выразившихся в своем окружном послании от 6 мая 1848 г., признанном и нашим Синодом: «У нас ни патриарх, ни соборы никогда не могли ввести чего-либо нового потому, что *хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, т.е. самый народ*»... Тоже самое выражено и в словах Василия Великого: «где духовные мужи начальствуют при совещаниях, *народ же Господень последует им по единодушному приговору*, там усомнится ли кто, что совет составляется в общении с Господом нашим Иисусом Христом»^{*}. В этом, значит, и заключается единственное ручательство за изволение Святого Духа; где же оно при папской непогрешимости, при которой одно из двух: или соизволение Духа Святого наперед уже прикреплено к папскому решению, или же принимается совпадение церкви с лицом папы, поглощение ее в нем, через посредство одной из вышеприведенных, ни на чем не основанных и по существу своему несообразных фикций?

^{*} Макарий, Введ. в прав. бог., стр. 306.

Одним словом, соборное начало, и только оно одно, хотя само по себе и человеческое, совместимо с понятием о церкви: единоличное же папское начало с ним не совместимо.

Итак, догмат о Церкви в символе, хотя и читается и нами и католиками в тех же словах, не совершенно ли различен по смыслу, ему придаваемому в православии и в латинстве? И сообразно ли будет с христианскою совестью, хотя бы и под возвышенными предлогами смирения и самоотречения, считать по существу различное за тождественное, потому что оно прикрывается в символе единством буквы? А при различном понимании, возможно ли церковное единение?

Что касается до неосуждения римского понятия о церкви на Вселенском соборе, то мы скажем, что осуждение на соборе, в котором участвовала бы одна православная церковь, было бы излишне, потому что учение о папской непогрешимости несовместно с следствиями, выходящими из понятия о церкви, как оно выражено в символе; а если несовместно следствие, то несовместны и самые принципы; да кого бы решения такого собора убедили, кроме тех, которые уже убеждены? Такой же собор, в котором участвовали бы и православная и римская церковь, невозможен, ибо одно уже искреннее согласие на такой собор со стороны последней было бы уже отречением от ее неправильного понятия о церкви, было бы уже полным самоосуждением, ибо и самая ересь ее, по отношению к догмату о церкви, в том и заключается, что под полноправною церковью разумела она в разные эпохи: или свою областную церковь — римский патриархат, или своего верховного иерарха — папу.

7 (6): «Если раскол, по точному определению св. отец, есть отделение части церкви от своего законного церковного начальства из-за вопроса обряда или дисциплины, то от какого своего церковного начальства отделилась римская церковь?» спрашивает г. Соловьев и этим вопросом утверждает, что для римской

церкви, какие бы новшества она ни вводила в обряд или в дисциплины, раскол невозможен по самому существу дела, по самому определению понятия: «раскол». Но, утверждая это, он доказывает слишком много. Он доказывает, что вообще раскол невозможен для всякой автокефальной церкви, ни для русской, например, ни для греческой (королевства), ни для румынской, ни для сербской, ни для каждого из восточных патриархатов. На это, кажется мне, можно отвечать, что и для каждой автокефальной церкви раскол все-таки остается возможным, ибо все они только части вселенской церкви и, следовательно, не совершенно самостоятельны, не отдельные индивидуальности, а только органы одного тела, обладающие известною долею самостоятельности, а следовательно имеют и свое начальство в совокупности и целостности церковной. Позволю себе прибегнуть и тут к сравнению, взятому из другой области. Штаты, составляющие северо-американский союз, ведь также могут быть названы автокефальными, ни один не может считать другого, да и не считает, своим политическим начальством, но таковым, без сомнения должен считать всю совокупность штатов, весь союз; а потому, есть и такие стороны политической жизни, произвольно допустив которые, они были бы повинны в политическом расколе. Продолжая наше сравнение, мы можем сказать, что все те общие начала, которые были установлены в первоначальном союзном акте — суть как бы политические догматы союза, обязательные для всех штатов, — и, следовательно, отклонение от них было бы политической ересью. Но относительно рабовладельчества в союзном акте ничего сказано не было, и, следовательно, оно догматом считаться не могло, а подходило под разряд обрядов; но, как известно, это дело не было предоставлено их полному произволу, и из-за него началась война. Вопрос в том: строго ли легально с формальной точки зрения, с точки зрения границ автокефальности, был положен предел их произволу в этом случае? И в церковном

отношении весь вопрос приводится к тому же, — к тому: до каких границ простирается автокефальность, включает ли она в себя все, что не относится к догмату в строгом смысле этого слова, отпадение от коего было бы уже ересью? Анализа этого вопроса я на себя не беру, но правильным ответом на него был бы, кажется, тот, что есть обряды, которые, по несущественности их, предоставляется каждой автокефальной церкви устанавливать совершенно независимо от других; есть еще менее существенные, которые могут быть различны даже и в пределах одной и той же независимой областной церкви; но что есть обряды другие, служащие символическим выражением самого церковного учения или догмата, которые не могут быть предоставлены полной свободе отдельных церквей, какую бы долю самостоятельности за ними ни признавать. Иные своеобразные обычаи римской церкви, как, например, причащение мирян под одним видом, и принадлежать именно к этому последнему разряду. Самопроизвольное изменение в таких обрядах есть, во всяком случае, соблазн, как это и доказали гуситские войны, а вводить в соблазн всего менее прилично церкви. Чтобы сказали, например, если бы какая-либо из восточных церквей ввела у себя это различие в причащении клира и мирян, не снесясь с прочими церквями, под предлогом своей автокефальности! Поэтому, и на этот вопрос г. Соловьева должно отвечать, что и автокефальная церковь в иных случаях может стать повинною в расколе, ибо, хотя такие церкви по отношению их друг к другу и состоят в свободном союзе, но в союзе любви, избегающем паче всего соблазна, и что совокупность всех церквей, т.е. церковь вселенская, и для них начальство, употребляя этот не совсем тут приличный термин. Если это и не совсем согласуется с определением раскола, приведенным г. Соловьевым, то отвечу его же словами, что во всем надо смотреть на смысл, а не на букву. Специально же в этом случае надо бы знать, к какому времени относится представленное им определение, что—

бы решить, какое значение придавалось в нем понятию обряда: ибо всякое определение дается ведь сообразно с фактами, имеющимися в виду, с фактами констатированными, и следовательно надо удостовериться в объеме понятия, заключавшегося в словах: обряд и дисциплина, чтобы определить дело свободы, которая приведенным определением предоставлялась автокефальным церквам, т.е. делала для них возможным или невозможным вообще впадение в раскол.

Если на эти 6, а по моему счету 7 вопросов, ответы сделаны правильно, то ответы на остальные вытекают из них уже сами собою.

8 (7): Римская церковь не может уже теперь почитаться нераздельною частью вселенской церкви; разделения церквей, как невозможного, никогда не было, а было отпадение римской церкви от вселенской, начавшееся с IX-го века и завершившееся Ватиканским собором 1870 и 1871 годов, и, хотя оно в корне своем, пожалуй, не было делом человеческой политики, но в дальнейшем развитии и результате своем далеко перешло за границы ее.

9 (8): Стараться о восстановлении церковного единства между востоком и западом, конечно, должно, но не жертвуя ради его истиною веры и церкви, ибо, перейдя за эти границы в своем старании, мы именно впали бы в вину подчинения дел веры расчетам человеческой политики, хотя бы то было и ради святого дела славянского объединения. — Наконец,

10 (9): «Если восстановление церковного общества между восточными и западными православными есть наша обязанность, то должны ли мы отлагать исполнение этой обязанности под предлогом чужих грехов и недостатков?»

Не должны, если можем по совести считать и западных православными, если чужие грехи и недостатки не представляют непреодолимого препятствия для церковного общения; в противном же случае, должны пока стараться устранять эти пре-

пятствия к общению, а не закрывать на них глаза и не представлять их себе в ложном свете, ибо в таком же ложном свете будем смотреть тогда и на ту истину, участниками которой сделались по милости Божией.

Так представляется дело, если то прискорбное событие, которое неправильно именуется разделением церквей, совершилось действительно, а не мнимо и признано только, т.е. если совершилось отпадение одной части вселенской церкви от ее единства.

Посмотрим теперь на него с другой стороны, соглашаясь с г. Соловьевым, что, в сущности, такого факта не было, что римский патриархат не отпадал, в сущности, от церковного единства, что церковь продолжала сохранять свое существенное единство, несмотря на видимые раздор и разделение, и что, следовательно, произошло лишь прискорбное тысячелетнее недоразумение между двумя половинами христианского мира. В этом случае, восстановление церковного общения между ними и возможно и обязательно, и всякие, препятствующие этому святому делу, сторонние соображения, и прежде всего гордость, должны быть отложены в сторону. Тогда оставалось бы лишь ознакомиться со способами, как осуществить это великое дело, и это должен бы нам показать г. Соловьев, так как он всего ближе с ним освоился. Но, к сожалению, такого указания мы у него не находим, встречая лишь одно предложение, которое, во всяком случае, может считаться только предварительным, весьма отдаленным к нему шагом. Эта предварительная мера заключается, по мнению г. Соловьева, в допущении *полной свободы духовного взаимодействия между западным католичеством и нашим православием.*

Эта формула: *полная свобода духовного взаимодействия* — очень обща. Что собственно под нею разуметь? Сейчас вслед за нею г. Соловьев разбирает положение нашей печати относительно церковного вопроса. Свобода духовного взаимодей-

ствия, во сколько она выражается в печати, была бы свободой церковной полемики. Это, кажется, понимает и автор, заключая свою речь желанием допущения полной богословской свободы, ради доставления возможности войти в беспрепятственное общение с церковными силами запада. Но под полною свободою духовного взаимодействия можно ведь также понимать и свободу католической вообще, и иезуитской в частности, пропаганды в народе. Между этими двумя свободами лежит однако же самое резкое, самое существенное различие. Первая есть добросовестная борьба равным окружением, которой, и по моему мнению, не должно быть полагается никаких преград, и это даже совершенно независимо от взгляда на римский католицизм, на то, будет ли он считаться нами ересью, расколом, или нераздельною частью вселенской церкви, отделенной от нас лишь прискорбным недоразумением. Но также точно и при всех этих трех взглядах не может и не должна быть допускаема пропаганда католичества в народе. В самом деле, если и на нашей и на их стороне истина, то единственно желательным будет лишь то, чтобы мы взаимно это поняли и признали, и, в таком случае, к чему с нашей стороны допущение, а с их домогательство проповеди обращения от одной формы истины к другой в среде невежественной, где ведь эта проповедь возможна не иначе, как под условием выставления нашей формы истины ложью? Без этого ведь перемена формы истины невозможна, как ничем не мотивируемая. С этой точки зрения, это не оправдывалось бы даже и в том случае, если бы, при равных силах пропаганды, мы могли рассчитывать на равный успех в католических странах, ибо это было бы напрасным смущением совестей, и даже прямым противоречием тому, чего собственно желает и г. Соловьев. О практических последствиях, об усилении полонизма, я уже и не говорю, ибо не может же и он отрицать, что католичество смешало свое дело с полонизмом и наоборот, и что объединение сла-

вянства, в каком бы смысле его ни понимать, есть дело предназначенное русскому, а не польскому народу. Итак, нам остается только говорить о допущении полной свободы церковной полемики, и в этом я становлюсь совершенно на одну сторону с г. Соловьевым, считая это дело полезнейшим и необходимейшим, хотя польза, которой он от сего ожидает и желает, совершенно отлична от той, которой желаю и ожидаю я. Я ожидаю и желаю от полемики не сглаживания недоразумений — ибо это было бы только заштукатуриванием и замазыванием наших различий, а, напротив того, выяснения и распространения в нашем сознании в большей определенности, силе и живости истины православия и лжи католичества. Но все равно, какие бы ни были наши желания и надежды; в ближайшем средстве, ведущем к их осуществлению, мы согласны, и вот мои доводы:

Мой отрицательный довод того, что, каких бы мнений кто ни держался о значении цензуры вообще, остается, как несомненный факт, что цензура в предметах религиозных и церковных лишена всякой силы и значения, потому что и сама печать, которую она ограничивает и которая бесспорно составляет одну из величайших общественных сил в вопросах философии, науки, политики и литературы, никогда не выказывала ее, или только в слабой сравнительно степени в предметах религиозных. Религиозная мысль в своем течении и развитии не избирала себе, и до сих пор не избирает, русла печати, и, хотя распространение других идей чрезвычайно ускорилося и расширилося с тех пор, как было проложено для них это новое русло, идеи религиозные все продолжали и продолжают по-прежнему держаться древнейшего русла — изустного сообщения. Это, для других проявлений мысли столь узкое, мелкое, усеянное столькими препятствиями, русло всего имело и продолжает иметь такую ширину, глубину, скорость падения для идей религиозных, что их распространение вдоль него оставляет далеко за

собою все, чем может похвалиться печать. Следовательно, заграждение русла печати для распространения религиозных идей уподобляется запиранию узкой калитки, при настежь открытых воротах. Какое распространение идей печатью может сравниться с распространением живым словом трех прозелитивных религий: буддизма, христианства и ислама? Даже распространение ересей Ария, Нестория далеко превосходит его. Реформы Гуса, Лютера, Кальвина²³ много ли были обязаны печати, когда она уже появилась во времена двух последних? И в новейшее время, разные секты за границей и у нас: квакерство, методизм, мормонство, хлыстовщина, молоканство, штундизм и даже, распространившиеся в высших слоях общества, редстокизм, пашковское²⁴ согласие — посредством ли печати распространялись и распространяются? Многим ли задержалось распространение всех видов нашего старообрядчества и раскола тем, что печать была не к их услугам?

Мой положительный довод тот, что религиозные учения только тогда выказывали свое величайшее жизненное воздействие на умы и сердца людей, когда им было против чего бороться, что побеждать. Так было в первые века христианства, когда они боролись против гонений; так было в последовавшие за тем четыре века, когда они боролись против ересей. Напротив того, когда водворялось мертвящее единство, все равно — устанавливаемое ли властью, или обычаем и жизнью, сила религиозного влияния иссякала. Так и римское католичество иссыхало в самом корне своем, покрывалось плесенью индифферентизма и внутреннего неверия, перед тем как разбудило его реформатское движение. После него, на самом папском престоле, вместо развратного, покрытого преступлениями Александра VI, политика и вонителя Юлия II, мецената Льва X, мы видим мужей строго благочестивых. Католичество ожило и теперь живет еще тем импульсом, который тогда ему был дан. Когда мысль обращается к религиозным вопросам, неизбежны и отклонения — но

это есть признак жизни, и неужели полезно задувать разгорающуюся искру?

Позволю себе по этому случаю одно отступление. Наш знаменитый писатель-художник, граф Л. Н. Толстой оставил свою художническую деятельность и обратился к религиозной и богословской. Сочинения его считаются еретическими, и на сколько я знаю, не будучи с ними близко знаком, они и действительно таковы, потому что, признавая в самом строгом смысле нравственную сторону христианства (которую также, может быть, в том или другом неправильно толкуют), они отвергают его догматическую сторону и на этом, конечно, основании не допускаются до печати. Что же этим предупреждается и какая достигается польза? Не предупреждается ровно ничего, потому что всякий, желающий с ними ознакомиться, имеет полную на то возможность; а главное, кому же неизвестны те возражения, которые делаются против христианских догматов со стороны полного неверия? Верующий христианин, не поколебленный столькими нападками на христианство, которые, так сказать, носят-ся в воздухе, бьют в уши и в глаза, конечно не поколеблется и доводами графа Толстого, в которых ведь нет же ничего нового, особенного, и который ведь и не имел собственно специально в виду этого колебания. Но, с другой стороны, не будет ли уже выигрышем то, если кто от полного неверия будет приведен, и высоким авторитетом писателя, и его изложением, к восприятию хотя бы одной высокой нравственной стороны учения, что часто может послужить путем к полному обращению неверующего? На полдороге, так сказать на скользком склоне, редко кто может остановиться, и, как сказал Хомяков: «нравственные требования, неоправданные доктриною, скоро теряют свою обязательную силу и превращаются в глазах людей в выражение непоследовательного произвола». — Те, на кого подействовали бы с указанной стороны сочинения графа Толстого, не могли бы долго оставаться на этой точке, и, или бы снова впали в свое

прежнее умственное состояние, или, если бы были сильно поражены нравственным величием учения, жалея с ним расстаться, стали бы искать его догматического оправдания и основания. Не с нравственной ли стороны и всегда начинало христианство свое привлечение и свое просветительное воздействие на умы и сердца людей? На скольких и между русскими, и между людьми других вероисповеданий, имели самое благодетельное влияние богословские сочинения Хомякова, некогда также ведь запрещенные! Какая же польза от мнимого сокрытия сочинений графа Толстого от слуха и взоров? Не иная какая, как только охранение их же от тех возражений и опровержений, которые, без сомнения, были бы на них сделаны, потому что ведь ни один уважающий себя человек не будет писать против того, кто лишен возможности защищаться, да и сами эти возражения и опровержения становятся в сущности невозможными. В чистом проигрыше остается само движение религиозной мысли, лишаемой необходимого ей жизненного возбуждения под мертвящим покровом наружного единства и тем приводимой к покою индифферентизма, самого близкого соседа полному неверию.

Возвращаюсь к г. Соловьеву. Свободная полемика, допущения которой он справедливо желает, может, во всяком случае послужить только к расчищению пути для предполагаемого общения и единства. В чем же будет состоять сама цель, для которой полемика ведь только средство? Какую форму могут принять эти единство и общение? Надо же иметь это в виду, чтобы знать, к чему же наконец стремиться; об этом должно же ведь составить себе какое-нибудь понятие, ведь должен же светить нам впереди какой-нибудь маяк, по которому мы могли бы направлять наш путь. Г. Соловьев об этом ничего не говорит, предполагая вероятно, что говорить об этом еще слишком рано. Но мы видим перед собою несколько форм таких возможных общений и единений, т.е. несколько для них оснований. Попробуем разобрать их, и если г. Соловьев видит еще иные, пусть их укажет.

Во-первых, это могла бы быть уния в том смысле, в каком она была осуществлена в православных областях бывшего польского государства на основаниях постановлений Флорентинского собора, т.е. признания всех догматов католичества, не только уже установленных, но и впредь имеющих быть установленными, с сохранением православных обрядов и славянского богослужения. Но об этом виде единства и общения говорить нечего, ибо г. Соловьев сам положительно от него отказывается. «Желанное соединение церквей никак не может состоять в облатынении православного востока, или исключительном преобладании западной церкви», говорит он. И еще в другом месте: «с нашей стороны для соединения с ними не нужно отказываться ни от чего своего истинного и существенного». — Значит, это не то.

Во-вторых, мы могли бы признать догматы католицизма, сохранив вполне и свое церковное управление, и свою церковную независимость, т.е. не признавать ни главенства, ни непогрешимости папы. Но это было бы еще менее тем, чего желает г. Соловьев: ибо, с одной стороны, он говорит, что стоит за непреложность догматических решений семи вселенских соборов, а с другой — не произошло бы никакого единства, в особенности не установилось бы теократии в том смысле, как он ее понимает и желает. Да и как приняли бы мы догматы, не признавая главного основания, на котором они утверждаются?

В-третьих, мы могли бы сохранить все свои догматы и все свои обрядовые различия, но признать главенство папы, в том же смысле, в котором признают его католики, т.е. непременно и непогрешимость его в деле учения. Этим путем единство пожалуй бы и установилось, но ведь только или на счет того, что мы считаем религиозной истиной, или на счет самых очевидных требований логики, против которых устоять невозможно, ибо ведь это значило бы принять основание и не принимать последствий из него вытекающих, признать непогрешимость папы и не признавать того, что он в своей непогрешимости постановил и

догматически утвердил. Мы бы остановились на крайне скользкой и узкой ступеньке, на которой не могли бы удержаться и должны бы были неизбежно скатиться в полный римский католицизм, или, по крайней мере, в унию.

Остается еще четвертый возможный вид единства и общения, собственно тот, при котором различия православия и римского католичества являются чистым недоразумением, и потому именно тот, который и должен быть желателен г. Соловьеву: «Все нами признаваемое признается и католиками, ничего нами признаваемого они не отрицают», говорит г. Соловьев. Значит, это, и только это и есть существенное, все же остальное — одно недоразумение и следовательно несущественно. Чего же лучше! Но в деле религии все догматическое непременно и существенно, хотя может быть и не наоборот, т.е. не все существенное вместе с тем непременно и догматично. Об этом можно спорить и рассуждать, и во всяком случае, как в геометрических теоремах, обратное положение потребовало бы особого доказательства. Но, если все догматическое непременно существенно, то, во всяком случае, все несущественное уже никак не догматично. Несущественным, а следовательно и недогматичным, будет таким образом все, в чем мы различествуем; следовательно и в символе веры несущественно, а потому и не догматично все то, чем мы различаемся; не догматична поэтому и вставка *Filioque*. Вне символа тоже не существенна и не догматична папская непогрешимость, а догматична только непогрешимость церкви.

Если с обеих сторон это будет признано, то, думается мне, все препятствия к общению и единению будут устранены; признать же это с нашей стороны также, кажется, нет препятствий; а со стороны католиков? Но г. Соловьев говорит: «что должны сделать католики для соединения с нами — это их дело». Их дело, конечно; но тем не менее я не понимаю, что такое значит соглашение, если оно делается не с обеих соглашающихся сторон? И какое же это будет единение и общение, если к нему

приступают не обоюдно? Для меня это что-то немыслимое. Мы можем согласиться на том основании, что все нам общее существенно и догматично, а все нас различающее существенного и догматичного значения не имеет; но признание это необходимо должно быть обоюдным, т.е. если наша церковь допустит римских католиков к полному церковному общению с собою, то и римская церковь должна точно также допустить и нас к полному с собою общению. Иначе мы впадем в нелепость, которую Хомяков, обсуждавший этот же вопрос, при разборе брошюры князя Гагарина²⁵, выставил с поразительной ясностью. Словами его я и окончу свое слишком длинное возражение: «Итак, церковь сложилась из двух провинциальных церквей, состоящих во внутреннем общении: церкви римской и церкви восточной» (но не на началах полной обоюдности). «Одна смотрит на спорные пункты, как на сомнительные мнения» (как на несущественное, чего и требует от русского православия г. Соловьев), «другая, как на члены веры» (что опять-таки ей, по видимому, предоставляет г. Соловьев). «Отлично! Восточный принимает римскую веру; он остается в общении со всею церковью; но половина принимает его с радостью, а другая не смеет судить его, потому что об этом предмете у нее нет определенной веры» (или можем даже выразиться, потому, что признает несущественным то, что признал существенным перешедший в римскую веру). «Возьмем теперь обратный случай. Кто-нибудь из области римской принимает восточное мнение; он необходимо исключается из общения с своею провинциальною церковью, ибо он отверг член ее символа, то есть догмат веры» (теперь мы должны уже сказать не один, а три догмата ее веры), «а через это самое исключается из общения и с восточными (так как они признают себя в полном общении с западными). Западные исключают человека из общения за то, что он верует тому, чему веруют их братья, с которыми они состоят в общении, а восточные исключают этого несчастного за то, что он исповедует их

собственную веру. Трудно вообразить себе что-либо более нелепое. Из этого смешного положения только один выход, а именно: допустить, что латинянин не лишится общения за принятие восточного верования, то есть за оставление догмата. Тем самым латинский догмат низводится на степень простого мнения». То есть, мы возвращаемся к первому единственно возможному предположению обоюдности, которое и заключает в себе подразумеваемое отступление римской церкви от всех ее отличительных догматов, в особенности же от папской непогрешимости, в которой все прочие имеют свое единственное основание — не как мнения, а как догматы. Но на такой точке и ей оставаться невозможно. Естественное и неизбежное логическое развитие должно привести от подразумеваемого к ясному и отчетливому отказу от всего несущественного, т.е. от всего догматически различающего римскую церковь от православия, которое тем самым и признается за тождественное с вселенским верованием.

Вот неизбежный результат единения и общения обеих церквей, при том предположении, что в настоящее время их разделяет только недоразумение, что лишь то существенно и догматично, что обще им обоим. От такого решения вопроса ни русскому народу, ни православию вообще нет причин отказываться; дай Бог, чтобы этих причин не было и у римского католицизма; но неужели же можно обольщать себя надеждою, что их и в самом деле у него не найдется?

В заключении я должен сказать, что та искренность и смелость, с которыми г. Соловьев решился высказать свое мнение, по истине, заслуживает уважения и благодарности.

ПРИМЕЧАНИЯ

Почти каждая работа Н. Я. Данилевского, в том числе и многие труды, входившие в сферу его деятельности как ученого-биолога, отличаются публицистичностью. В статьях Данилевского нет так называемой «объективности», качества, позволяющего смотреть на судьбы Родины и славянства из-за черты находившейся «по ту сторону добра и зла». Мнения его пристрастны, но не слепо субъективны, а ориентированны на абсолютную Истину — Христа.

Публицистичность, предполагающая не только изучение события, но и вмешательство в это событие, влияние на него вообще характерны для русской культуры. А Данилевский как часть этой культуры был выразителем русского духовного склада, мешающего наслаждаться материальным благополучием и комфортом, когда где-то творится несправедливость, когда одни избивают, другие ханжески оправдывают убийства, а третьи не имеют достаточно воли чтобы этому помешать.

В этом смысле публицистика Данилевского интересна не только как интеллектуально-политическая проза, но и как плод переживания русского народа, свидетельствующего о том, что народ этот жив, в настоящем, онтологическом смысле этого слова.

Данная публикация делается по выпущенному Н. Н. Страховым в 1890 году «Сборнику политических и экономических статей Н. Я. Данилевского». Политические статьи, включенные в это издание, представляют не только чисто научный интерес. Последние события на Балканах, когда мусульмане и католики получили военную, финансовую, политическую и психологическую поддержку Запада, а правители России не сумели оказать помощи православным сербским братьям, сделали эти работы великого русского мыслителя жгуче-актуальными. В приложении печатаются также исторические справки о Берлинском конгрессе и статья, посвященная полемике Н. Н. Страхова с В. С. Соловьевым об идейном наследии Данилевского.

РОССИЯ И ФРАНКО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Дополнение к книге «Россия и Европа»

(«Заря», 1871 янв.)

1). «Россия и Европа» главные историософские сочинения Н. Я. Данилевского, впервые опубликованные в журнале «Заря» 1869 год № 1-6; 8-10;

2). Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума».

3). Имеется в виду т.н. «Раздел Польши» между Австрией, Пруссией и Россией, в результате которых Россия вернула себе украинские и белорусские земли, захваченные поляками и литовцами в XIV-XV вв.

4). Хорошая мина при плохой игре

5). Гогенштауфены (штауфены) знаменитая династия императоров «Священной Римской империи Германской нации» (1138-1254). В 1197-1268 гг. были также королями Сицилии. Вели борьбу с папством. Представителем династии Гегенштауфенов был Фридрих I Барбаросса.

6). Имеется в виду поражение, нанесенное войсками Наполеона пруссакам в битве под Иеной 14 октября 1806 года.

7). Прекращение династии испанских Габсбургов (1700 г.) и избрание испанским королем внука Людовика XIV Бурбона-Филлипа привело к войне «за испанское наследство» 1701-1714 года, где против Франции воевала коалиция в составе Австрии, Англии, Голландии и Сардинского королевства.

8). В 1688 году произошла т.н. «Славная революция», приведшая к свержению английского короля Иакова II Стюарта и воцарению Вильгельма III Оранского, бывшего до этого штатгальтером (правителем) Нидерландов.

9). Ганноверский курфюрст Георг в 1714 году стал английским королем Георгом I и основателем Ганноверской династии.

10). Греческим королем был избран не английский, а датский принц Вильгельм, брат будущей русской императрицы Марии Федоровны, правивший в Греции под именем Георга I (1863-1913).

11). Восточной войной называли Крымскую войну 1853-1856 гг.

12). «Священный союз» образован подписанием в 1815 году Александром I, австрийским императором Францем I, прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III особого трактата. Монархи обязались руководствоваться в своих действиях «правдой Евангелия» и поддерживать установленный Богом порядок в Европе. О поддержке «Священного союза» заявили почти все монархи Европы. Союз был заключен по инициативе русского императора Александра I.

13). Статья «Парижского мира» (1856), запрещающая России иметь военный флот на Черном море. Отменена в 1870 г.

14). Екатерина II.

15). Сердечное согласие.

16). Северогерманский Союз в 1867-1870 федеративное государство к северу от р. Майн созданное под эгидой Пруссии после ее победы в австро-прусской войне и распада Германского союза.

17). В 1867 году Австрийская империя стала дуалистической (двойной) Австро-Венгерской империей. Граница между немецкими и венгерскими землями проходила по р. Лейте, поэтому Австрию называли Цислейтанией, а Венгрию Транслейтанией.

18). Имеется в виду приход к власти во Франции Наполеона III и Крымская война.

19). Благодаря колониальной политике Бисмарка и Вильгельма II, а также морскому строительству, осуществляемому Германией под руководством

Альфреда фон Тирпица, Англия в конце XIX — начале XX вв. постепенно перешла в лагерь противников Германии.

20). В крайнем случае.

21). Бах Александр (1813-1884) барон. Австрийский государственный деятель и дипломат, представлял абсолютистско-клерикальное направление в австрийской политике. Шмерлинг Отто (1805-1893) австрийский политический и государственный деятель, противник Меттерниха. Белькреди Рихард (1823-1906) австрийский государственный деятель, сторонник равноправия народов, населяющих империю.

22). В битве при Садовой 3 июля 1866 года прусская армия нанесла поражение австрийцам. Это решило исход австро-прусской войны, и объединение Германии было совершено под главенством Пруссии.

23). Базен Франсуа Ашиль (1811-1888) маршал Франции. Участвовал во всех войнах Наполеона III. Во время франко-прусской войны сдался пруссакам в Меце вместе с 170000 армией, вызвав этим взрыв общественного возмущения. Умер в Мадриде.

24). По решению Венского конгресса Пруссия как одна из держав победительниц Наполеона получила значительные территории Саксонии и Вестфалии.

25). Во время польского восстания 1863 года западные державы во главе с Наполеоном III обратились к России с требованием уступок полякам. Вмешательство Запада было отвергнуто Александром II и Горчаковым, что вылилось в крупную дипломатическую неудачу Франции.

26). Штейн Генрих Карл (1757-1891) барон. Прусский государственный деятель, провел ряд реформ. Шарнгорст Герхард Иоганн Давид (1755-1813) прусский военный деятель, генерал (1807). В 1807-1811 гг. начальник прусского генштаба. Реформировал прусскую армию. В 1813 г. начальник штаба в армии фельдмаршала Блюхера.

27). Союзнические отношения с Наполеоном I после Тильзитского мира, с 1807 года до 1812 года позволили России нанести поражение Швеции и завоевать Финляндию, а так же выиграть войну с Турцией и присоединить к России Бессарабию (Молдову) в 1812 г.

ВОЙНА ЗА БОЛГАРИЮ

Чего мы в праве благоразумно желать от исхода настоящей войны

(«Русский мир» 1877, 2 авг. № 207)

1). Черняев Михаил Григорьевич (1828-1898) русский военный и общественный деятель, генерал-лейтенант (1882). В 1876 г. главнокомандующий сербской армией. Противник военной реформы Д. А. Милютина.

2). Имеется в виду страшная резня христиан, устроенная переселенным турецким правительством в Болгарию кавказскими горцами, прозванными башибузуки (головорезы).

3). Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

4). Махмет-Али (Мухамед-Али) (1769-1849) правитель Египта. Перестал повиноваться турецкому султану Махмуду II и начал против него войну. Султан был вынужден обратиться за помощью к императору России Николаю I, после чего русские войска высадились на азиатском берегу Босфора и преградили путь египетской армии. Тогда же между Россией и Турцией был заключен договор в местечке Хункиар-Скелесси (Ункер-Искилесси), по которому Россия обязывалась оказывать Турции военную поддержку, а Турция, по требованию России, закрывать проход иностранных кораблей через проливы.

Как отнеслась Европа к русско-турецкой распре

(«Русский Мир» 1877 13 окт.)

1). Берлинский меморандум был направлен в 1876 г. Россией, Австро-Венгрией и Германией, а также присоединившимися к ним Италией и Францией Турции в связи с восстанием в Боснии и Герцеговине. Державы требовали от Турции прекращения террора в славянских землях. Несогласие с меморандумом высказала Англия. Меморандум должен был быть вручен Абдул-Азизу 30 апреля, но в эту ночь султан был свергнут и вскоре убит. Через месяц началась война Сербии и Черногории против Турции, а в 1877 году Россия и Румыния начали войну с Турцией.

2). Абдул-Азиз турецкий султан (1861-1876). В 1876 году посетил Европу, начал проводить политику модернизации страны. В 1876 году отрекся от престола и был убит.

3). Во время антитурецкого восстания славян в Боснии и Герцеговине (1875-1876) симпатии венгерского населения Австро-Венгрии были на стороне Турции.

4). Фердинанд II Бурбон, король обеих Сицилий (1830-1853), получивший от либералов прозвище «король Бомба». В годы Крымской войны один из немногих европейских правителей, открыто выражавших симпатии России.

5). Место избиения башибузуками славян-христиан.

6). Франциск II Бурбон последний король обеих Сицилий (1859-1861).

7). Крупнейшие парижские газеты.

8). Кошут Лайош (1802-1894) венгерский политический деятель. Вождь антигабсбургского венгерского восстания (1848-1849). Клапка Георг (1820-1892) активный участник венгерского восстания. В 1866 году перешел на Прусскую службу. Позже вернулся в Венгрию.

9). Вильгельм I Гогенцоллерн (1797-1888) король Пруссии (с 1861), Германский император (1871). Его сестра — жена императора России Николая I и мать императора Александра II.

10). Гладстон Уильям Юарт (1809-1898) английский политический деятель, лидер либеральной партии, автор брошюры об избиении турками болгарского населения. Карлейль Томас (1795-1881) знаменитый английский публицист, философ, историк. Фриман Эдуард (1823-1892) английский историк, профессор в Оксфорде. Брайт Джон (1811-1889) английский политический деятель, либерал. Фарлей Джеймс Льюис (1823-1885) английский публицист, в 60 годах жил в Турции, симпатизировал освободительным движениям турецких славян.

11). Тильзитский мир заключен между Россией и Францией в городе Тильзит (совр. Советск. Калининградской области). по условиям мира Россия присоединила Белостокский округ (раннее принадлежавший Пруссии), заключила союз с Францией и присоединилась к континентальной блокаде. Прекращение торговли с Англией, однако, нанесло существенный урон экономике России. Тильзитский договор был с недовольством встречен в России, отчасти из-за того, что русское общество считало Наполеона продолжателем дела Французской Революции.

12). Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года между Россией и Турцией завершил русско-турецкую войну 1768-1774 гг. По этому договору Россия становилась покровительницей христианского населения Турции и получила значительные земли в северном причерноморье.

13). Восстание против английского господства, охватившее Северную Индию. Движущей силой восстания были сипаи — местные уроженцы, служащие в колониальных войсках. Восстание, длившееся почти два года 1857-1859, было с трудом подавлено англичанами. В результате восстания управление Индией перешло от Ост-Индийской компании к английской Короне, а в 1876 году Королева Виктория была провозглашена императрицей Индии.

14). Движение в Европе в поддержку греческой независимости.

15). Австро-Венгрия не выступила против Пруссии во франко-прусской войне из-за боязни вмешательства в конфликт России.

16). Герцогство Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург, потерянные Данией в войне 1864 года против Австрии и Пруссии.

17). Строчки из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».

18). Президент США Д. Монро (Монро) провозгласил в послании к конгрессу 1823 г. знаменитый принцип «Америка для американцев», направленный против вмешательства великих европейских держав в дела Нового Света.

Проливы

(«Русский мир» 1877 г. 23; 24 окт. №№ 289 и 290)

1). Оклобжио Иван Дмитриевич (1821-1890), Алхазов Яков Кайхосроевич (1826-1896), Шелковников Борис Мартынович (1837-1878), Бабичев (1806-1883) (в действительности Бабыч Павел Денисович) — генералы русской армии, командовавшие войсками, находившимися на Кавказе.

2). Сулейман-паша (1838-18830) турецкий генерал, участвовавший в низложении султана Абдул-Азиза, воевал против России в 1877-1878 гг., потерпел поражение от русских войск, был снят со всех постов и отдан под суд.

3). Выражение из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

4). Лессепс Фердинанд (1805-1894) французский инженер, предприниматель, дипломат. Строитель Суэцкого канала (1859-1869). В 1879 г. основал акционерное общество по строительству Панамского канала, но в 1889 г. скандально обанкротился («Панама»).

Константинополь

(«Русский мир» 1877 11-12 ноября №№ 308 и 309)

1). Раскол между Вселенской Патриархией и Болгарской церковью, вызванный желанием болгар иметь самостоятельную церковную организацию. Это желание было обосновано, но Болгарские епископы пошли на провозглашение Автокефалии с нарушением канонических норм, что привело к временному выпадению Болгарской церкви из Православного единства (1872-1945). Большинство русских славянофилов были в вопросе о независимости национальной Болгарской церкви на стороне болгар. Однако К. Н. Леонтьев, Т. И. Филиппов и некоторые другие почвенники придерживались в этом вопросе строго канонической точки зрения.

2). Чистый стол.

3). Григорий Богослов Св. (ок. 330-390) Епископ г. Назианзина, Архиепископ Константинопольский (379-381). Вселенский Отец и Учитель Церкви Иоанн Златоуст св. (между 344 или 354-407) Архиепископ Константинопольский (384-404) Вселенский Отец и Учитель Церкви.

4). Птоломеи (305-30 до Р.Х.) династия Египетских царей македонского происхождения. Основанная полководцем Александра Македонского Птолемеем Лагом. Последней представительницей династии Птолемеев на египетском престоле была царица Клеопатра VII.

5). Комнены династии византийских императоров (1081-1185). В 1204-1451 гг. правители Трапезундской империи.

6). Палеологи династия византийских императоров (1204-1453). Племянница последнего византийского императора Константина XI Софья (Зоя) Палеолог стала женой великого князя Московского Ивана III.

7). Влияние Бога через Франков.

8). Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784-1865) Виконт Английский государственный деятель. Поддерживая либеральные тенденции в Европе, покровительствовал итальянским и венгерским революционерам. Один из инициаторов войны с Россией (Крымской).

9). Король Франции (1830-1848) из династии Орлеанов.

Конференция или даже конгресс

(«Русский мир» 1878 '18 и 19 марта)

1). Вестфальский мир (1648) заключен в Мюнстере после окончания Тридцатилетней войны. Закрепил раздробленность Германии.

2). Во время Крымской войны против России воевали войска Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства.

3). Гобарт-Паша (Август Чарльз Гобарт) (1822-1886) турецкий адмирал, по происхождению англичанин. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. командовал турецким флотом.

4). Адмирал Чарльз Непир командовал Балтийской эскадрой английского флота во время Крымской войны. Никаких серьезных военных последствий экспедиция англичан не имела.

5). Андраши Дьюла Старший (1823-1890) граф премьер-министр Венгрии (1867-1871), министр иностранных дел Австро-Венгрии (1871-1879).

6). Образ жизни или условие делающие возможным нормальные отношения между двумя сторонами при существующих обстоятельствах.

7). В английской политической публицистике название мест, оставленных населением, но по историческому праву посылающих представителей в парламент. Уничтожены в ходе парламентских реформ XIX в.

8). В абстракции.

9). Закарпатские земли Руси.

10). В состав Австро-Венгерской империи входили населенные славянами Чехия, Словакия, часть Польши, Галиция и часть закарпатской Руси, Каринтия, Хорватия, Словения, а с 1908 года Босния и Герцеговина (фактически с 70-ых годов XIX в.).

11). Меттерних (Меттерних-Винненбург) Клеменс Венцель (1773-1859) князь. Австрийский государственный деятель, дипломат. Один из создателей посленаполеоновской европейской политической системы.

12). Иосиф II Габсбург (1741-1790) император Священной Римской империи (с 1780). Проводил политику «просвещенного абсолютизма», составной частью которой была попытка примирить немецкое население империи с гегемонией австрийцев.

13). Союз трех императоров. Так называли совокупность секретных соглашений между Германией, Россией и Австро-Венгрией, заключенных в 1873-1881 годах. Пытаясь предотвратить сближение России и Франции, Бисмарк пытался поддержать этот союз, постоянно находившийся под угрозой распада, прежде всего, из-за Балканской политики Австро-Венгрии, а также поведения Бисмарка на Берлинском конгрессе. После убийства в 1881 году Российского императора Александра II союз трех императоров распался.

14). Имеется в виду политика Австрии в период Крымской войны. Не

оказав поддержку России, Австрия оказалась после окончания этой войны в международной изоляции и потерпела поражение в войнах с Францией и Пруссией.

15). Делать хорошую мину при плохой игре.

16). Беннигсен Рудольф (1824-1891) либеральный ганноверский, а затем общегерманский политик, депутат рейхстага.

17). Международное расследование.

18). В целом.

19). Уничтожение датского флота адмиралом Нельсоном в 1801 году без объявления войны. В сентябре 1807 года англичане под командованием лорда Кеткарта захватили Копенгаген и опять уничтожили датский флот. Уничтожение флота другого государства без объявления войны после этого долго называлось «копенгагированием».

20). Англичане, покровительствовали европейским революционерам, в том числе и итальянским карбонариям, один из которых, Феличе Орсини, 14 января 1858 года совершил покушение на французского императора Наполеона III.

Горе победителям!

(Русская речь 1879 янв. и февр.)

1). Бренн-вождь галльского племени сенонов в 387 году до Р.Х. захвативший Рим. Полгода занимал город, осаждая остатки его защитников, укрывшихся на Капитолии. Покинул Рим, получив огромный выкуп.

2). Сан-Стефанский мирный договор был подписан 3 марта 1878 года в местечке Сан-Стефано вблизи Стамбула. Завершил русско-турецкую войну. По этому договору славянские и греческие подданные султана получали большие права самоуправления, а Болгария превращалась в номинально зависящее от султана княжество с территорией от Черного до Эгейского моря. На Берлинском конгрессе по настоянию западных держав, прежде всего Австрии и Англии, был заключен куда более стеснительный для славян договор. В частности, территория южной Болгарии возвращалась под власть Турции.

3). Более русские, чем сами русские.

4). Дерби Эдуард Генри Смит Стенли (1826-1873) граф, английский политический и государственный деятель. Противодействовал антирусской политике Дизраэли.

5). Дизраэли Бенджамен (1804-1881) граф Биконсфилд, виконт Гугенден. Английский государственный и политический деятель, лидер консерваторов, противник России. В свое время был известным беллетристом, опубликовал несколько романов.

6). «Санкт-Петербургский журнал» издавался в С.-Петербурге на французском языке и считался официальным правительственным изданием.

- 7). Законность нас убивает.
- 8). Вход английской эскадры в Мраморное море во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
- 9). Блаженны имеющие.
- 10). Единая Родина.
- 11). Абердин Джорж Гамильтон Гордон (1784-1860) граф. Английский государственный и политический деятель. Будучи премьер министром в 1852-1855 годах, занимал умеренную позицию в отношениях с Россией.
- 12). Кобден Ричард (1804-1865) английский экономист и политический деятель. Сторонник свободной торговли.
- 13). Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова и экспедиция Ф. Ф. Ушакова на Средиземное море.
- 14). «Декларация о вооруженном нейтралитете». Провозглашена Екатериной II в 1780 году. Была направлена против британской гегемонии на море. В ней провозглашалось право судов нейтральных стран на вооруженное сопротивление в нейтральных водах при попытках их досмотра. К декларации присоединилось большинство европейских государств.
- 15). Кипр был занят англичанами в результате заключения англо-турецкого соглашения, направленного против России. Формальное подчинение Кипра английской короне произошло после начала I-й мировой войны.
- 16). Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) граф. Российский государственный деятель, либерал, сторонник русско-французского сближения. В 1812-1816 годах в ссылке. Румянцев Николай Петрович (1754-1826) граф. Старший сын знаменитого полководца. В 1807 году министр иностранных дел, в 1809 канцлер. Сторонник русско-французского сближения. Известен как создатель Румянцевского музея (ныне РГБ).
- 17). Милош Обренович (Милош Теодорович) (1780-1860) сербский князь (1815-1839 и с 1858), основатель династии Обреновичей.
- 18). Поход русской армии в Венгрию 1849 года. Русские войска разгромили венгерских повстанцев и восстановили в стране власть Габсбургов.
- 19). Игнатьев Николай Павлович (1832-1908) граф. Генерал от инфантерии, дипломат и государственный деятель, посол в Константинополе (1864-1877). Был близок к славянофилам.
- 20). Снейс Эммануэль Жозеф (1748-1836) французский политический деятель. Как депутат конвента в 1793 году голосовал за казнь короля. Во время якобинского террора не принимал активного участия в политике и смог избежать гильотины. В дальнейшем близкий сотрудник Наполеона, от которого получил графский титул.
- 21). Выжил.
- 22). Семилетняя война 1756-1763 г. велась коалицией Австрии, Франции, России, Испании, Швеции и Саксонии против Пруссии, Англии и Португалии.

Смерть Елизаветы Петровны и вступление на российский престол Петра III привели к выходу России из войны в 1761 году.

23). Куза Александр Иоанн (1820-1873) господарь объединенных княжеств Молдавии и Валахии. Франкофил.

24). Соллусбери (Солсбери) Роберт Артур Телбот Гаскойн-Сесиль (1830-1903) маркиз. Английский государственный деятель, дипломат. Активный участник Берлинского конгресса. После смерти Дизраэли лидер консерваторов. В 1902 году заключил союз с Японией, направленный против России.

25). Речь идет о Японии, в которой после революции Мейдзи (60-е годы XIX в.) начался процесс европеизации.

26). Крайнее средство.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ КОНСТИТУЦИОННЫХ ВОЖДЕЛЕНИЙ НАШЕЙ «ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ»

(«Московские ведомости» 1881, 20 мая)

1). Племянник Наполеона I Бонапарта Луи-Наполеон, был избран президентом Французской республики в декабре 1848 г, а в 1852 году провозгласил себя императором под именем Наполеона III.

2). За и против.

3). Английский король Генрих VIII Тюдор (1509-1547) осуществил реформацию английской церкви. До сих пор английский монарх считается главой Английской церкви.

4). Мидхат-Паша. Турецкий генерал, младотурок. Ревностный сторонник Англии и враг России. Пытался ввести в Турции конституцию. Руководил свержением султана Абдул-Азиза. В 1881 году отправлен в ссылку султаном Абдул-Гамидом. Умер в 1883 г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШЕГО НИГИЛИЗМА

(«Русь» 1884, 15 ноябр. -- 1 дек.)

1). Толстой Константин Константинович (1842-1913) врач, публицист.

2). Юханцов (Юханцев) Петр — сотрудник министерства финансов, потом общества взаимного поземельного кредита. Совершил крупную растрату. В 1879 г. Юханцова судили, защитником на процессе был А. Ф. Кони.

3). Катон Марк Порций (234-149 до Р.Х.) древнеримский политический деятель и писатель. Заняв должность цензора, пытался вернуть «нравы отцов», т.е. простоту и строгость.

4). Лукулл Луций Лициний (117-56 до Р.Х.) древнеримский государственный деятель, полководец. Прославился роскошью жизни.

5). Апиций Марк Габий (I в.) римский богач, известный гурман, ему приписывалось составление известной кулинарной книги.

6). Благочестивое желание

7). Представители европейского материализма: Фейербах Людвиг Андреас (1804-1872) немецкий философ. Штраус Давид Фридрих (1808-1874) немецкий философ. Штирнер Макс (наст. имя Каспар Шмидт) (1806-1856) немецкий философ, младогегельянец. Фохт Карл (1817-1895) немецкий философ и естествоиспытатель. Малешотт Якоб (1822-1893) немецкий физиолог и философ. Бюхнер Людвиг (1824-1899) немецкий врач, естествоиспытатель, философ. Геккель Эрнст (1834-1919) немецкий зоолог, дарвинист. Лассаль Фердинанд (1825-1864) немецкий социалист, публицист.

8). Альбигойцы — дуалистическая постманихейская секта, возникшая на юге Франции в XII-XIII в. Отрицали учение о Пресвятой Троице, таинства Церкви. Разгромлены в альбигойских войнах 1209-1229 г. Вальденсы — еретическая секта, близкая к альбигойцам. Основана в XII в. лионским купцом Пьером Вальдом. Гугенотами во Франции называли сторонников реформатского учения Жана Кальвина. Во второй половине XVI века получили ряд преимуществ по Нантскому Эдикту 1598 г. Эдикт был отменен в 1685 году королем Людовиком XIV.

9). Предоставить дела своему течению.

10). Страшно сказать.

11). Пересказ евангельского выражения (Мф. II, 23).

12). Шамбор Анри Шарль Фердинанд Мари Д'ьедонне Д'Артуа (1820-1883) последний представитель старшей ветви Бурбонов. Претендовал на французский престол под именем Генриха V. С 1830 г. в эмиграции.

13). Это лучшее из королевств, какие я знаю.

14). Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892) французский филолог-ориенталист. Историк религии, философ, публицист, писатель. Трактовал Христа не как Богочеловека, а как морального героя.

15). В момент рождения.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ О ПРАВОСЛАВИИ И КАТОЛИЦИЗМЕ

(«Известия Славянского Общества» 1885 г. март)

1). Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) русский философ, богослов, поэт, публицист. В своих статьях 80-х годов резко отрицательно высказывался о Византии и критиковал православие. Находился под сильным влиянием хорватского кардинала Иосифа Штроссмайера. Вел резкую полемику с «почвенниками», в том числе с Н. Н. Страховым, в частности по поводу идей

Н. Я. Данилевского. Эта полемика вошла позже в сборник статей Соловьева «Национальный вопрос в России».

2). Пальмер Уильям (1811-1879) архидиакон английской церкви. Богослов, сторонник объединения православной и английской церквей. Часто бывал в России. Не получив разрешение на допущение к православному причастию в 1855 году перешел в католицизм.

3). Аристид (540-467 до Р.Х.) афинский полководец и государственный деятель. Участник греко-персидских войн. Прославился честностью и гражданским мужеством. В античное время написаны его биографии Плутархом и Корнелием Непотом.

4). Сократ (от 470-399 до Р.Х.) древнегреческий мыслитель.

5). Окен Лоренц (1779-1851) немецкий философ и естествоиспытатель. Фицингер Леопольд Иосиф (1802-1889) австрийский зоолог. Рейхенбах Карл (1788-1869) барон. Немецкий ученый, открыл парафин и креозот.

6). Мак-Ли Джеймс — английский зоолог.

7). Росчерком пера.

8). Брами (Брахма) в индуистской мифологии высшее божество, творец мира. Майя в индуистской мифологии иллюзия, обман. Ормузд (Ахурамазда) благое божество зороастризма. Ариман (Ангро-Манью) темное божество зороастризма, противостоящие Ормузду.

9). Римский император Феодосий Великий (379-395) разделил империю между сыновьями. Аркадию досталась восточная часть — Византия, и Гонорию западная — Гисперия.

10). Гвельфы сторонники папства в его борьбе с империей в XII-XV вв. в Италии. Название получили от семьи германских герцогов Вельфов, также враждебных императорам. Гибеллины сторонники империи в борьбе с папством. Название получили от родового замка Гогенштауфенов Верблингена. Боролись с гвельфами.

11). Filiogue (лат. и от сына). Добавление к Никео-Цареградскому «Символу веры», впервые сформулированное ахенскими богословами, близкими к Карлу Великому. Принято католиками в форме догмата после почти двухвековой борьбы.

12). Перегородки между нами не достигают неба.

13). Киреев Александр Алексеевич (1833-1910) генерал от кавалерии, богослов, публицист славянской ориентации.

14). Ватиканский собор (I-й ватиканский собор) проходил в 1869-1870 гг. Участвовало 764 католических иерархов. Собор принял «Догматическую конституцию о католической вере».

15). Переписка между Константинопольским Патриархом Фотием и Римским епископом Иоанном VIII предшествовала преодолению раскола, возникшего ранее между двумя церквями.

16). Гетте Владимир (Рене Франсуа) (1816-1892) француз, католический аббат, перешедший в православие (1862). Богослов, историк церкви. Ссылка дана на его книгу «Папский раскол».

17). Лев III Римский папа (795-816) короновал Карла Великого императорской короной. Отказался от принятия Filioque.

18). С кафедры.

19). Государство — это я.

20). Либерий Римский папа (352-366), Гонорий Римский папа (625-638).

21). Григорий I Великий или Двоеслов (ок. 540-604) папа (590 г.). Один из учителей церкви, крупный церковный писатель, провел литургическую реформу. (Великопостная литургия носит его имя).

22). Зеферин Римский папа (199-217), Калликст (Каллист) Римский папа (217-222), Лев II Римский папа (682-683).

23). Арий (256-336) Александрийский пресвитер, учил, что Иисус Христос создание Бога-отца. Осужден на I-м Вселенском Соборе (325). Ересь арианства долго смущала церковь, чему способствовало распространение ее у ряда германских племен-свевов, готов, бургунцев, лангобардов, вандалов, гепидов. Несторий (ок. 381-451) патриарх Константинопольский (428-443) начальник несторианской ереси, учивший, что Христос не Богочеловек, а праведник. Ересь получила распространение на Востоке. Осуждена III Вселенским собором (431). Гус Ян (1371-1415) идеолог чешской реформации, вдохновитель антинемецкого и антикатолического движения. Некоторые особенности его учения были близки к Православию. Сожжен по обвинению в ереси. Лютер Мартин (1483-1546) глава реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Отрицал культ святых и монашество, учил о спасении только верой. Кальвин (Ковен) Жан (1509-1564) в отличии от многих других деятелей реформации акцентировал свое внимание на Ветхом Завете. Став фактически главой города Женевы, превратил его в центр протестантизма. Многие церкви северной Европы считают себя кальвинистскими.

24). Квакеры (трясущиеся) английская протестантская секта. Методизм, основанный в начале XVII в. английским пастором Джоном Уэсли и его братом Чарльзом, протестантская секта, получившая большое распространение. Мормоны, возникшая в I-й половине XIX в. в США, — протестантская секта. Особенностью быта мормонов было разрешение многоженства, отмененного лишь в XX в. Мормоны считают себя потомками десяти исчезнувших «Колен Израелевых». Хлыстовщина (христоверы) секта, возникшая во 2-й половине XVII в. в России. В своих «радениях» хлысты допускали разврат. В начале XX в. хлыстовская секта «Новый Израиль» эмигрировала в Уругвай, а частично и в Палестину. Молокане секта протестантского направления, возникшая в России в конце 60-х годов XVIII в. под влиянием сочинений протестантских мистиков, носили мистико-этический характер. Переселились на Кавказ и в

Канаду. Штундизм религиозное течение на юге России. Распространялось немецкими переселенцами, слилось с баптизмом. Редстокизм религиозное течение протестантского толка, распространенное в высших слоях русского общества шотландским проповедником лордом Гренвилем Вальгревом Редстоком. Проповеди Редстока привели к образованию секты Пашковцев основным последователем Редстока полковником Василием Александровичем Пашковым.

25). Гагарин Иван Сергеевич (1814-1882) князь. Русский писатель, богослов, историк. С 1843 года эмигрант. Перешел в католицизм (1842) и вступил в орден иезуитов (1843). По свидетельству современника плакал, увидев русских паломников в Иерусалиме.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Берлинский конгресс

Русско-турецкая война 1877-1878 г. была хорошо подготовлена в дипломатическом отношении и завершилась почетным Сан-Стефанским миром. По этому мирному договору потерпевшая полный разгром Турция согласилась на образование номинально зависящего от султана Болгарского княжества, занимавшего территорию от Эгейского моря до Дуная и от Черного Моря до Охотского озера. Турецкие войска выводились из Болгарии. Сербия, Румыния и Черногория становились независимыми, а Босния и Герцеговина получали автономию. Турки обещали расширить самоуправление в населенной греками Фессалии и Албании, улучшить положение в турецкой Армении. Договор вызвал резкое недовольство особенно в Австро-Венгрии и Англии. Австрийский премьер-министр граф Андраши начал протестовать, ссылаясь на нарушения секретной австро-русской договоренности 1876-1877 г. После этого правительство Австрии предложило государствам, подписавшим Парижский мирный договор 1856 г. собраться на конференцию в Вене. Российский император Александр II под влиянием посла в Лондоне графа П. А. Шувалова согласился на участие России в конгрессе держав, считая возможным достижение компромисса с англичанами. Бисмарку удалось сделать местом проведения конгресса Берлин. В работе конгресса принимали участие крупнейшие дипломаты тогдашней Европы. Россию представляли князь Горчаков, граф Шувалов и посол в Берлине Убри, Австро-Венгрию премьер-министр граф Андраши, Германию Бисмарк, он же был председателем конгресса, Великобританию Дизраэли, Солсбери и Россель, а Италию ученик Кавура граф Корти, Францию представлял министр иностранных дел Ваддингтон, англичанин по национальности. Россия была вынуждена уступить давлению Австрии и Англии и изменить некоторые статьи Сан-Стефанского договора, так как Бисмарк отказался от решительной поддержки России заявив о своем, «честном маклерстве». Как написал автор дипломатической истории XIX века А. Дебидур «Это и была, в сущности, та великая измена, которую Санкт-Петербургские политики и русская нация не простили и без сомнения, еще долго не простят Германии.

Ибо все то, что произошло после Берлинского конгресса, было лишь неизбежным следствием этой измены¹.»

Трактат, заключенный в Берлине 13 июля 1878 года устанавливал: Болгария ограничивалась областями к северу от Балканского хребта, а ее южная часть возвращалась под власть Турции, с названием Восточная Румелия и автономным управлением. Турции возвращалась также Алашкертская долина и крепость Баязет с значительным армянским населением. Подтверждались все неотмененные и не измененные Берлинским Конгрессом статьи Парижского договора 1856 года и Лондонской конвенции 1871 года. Конгресс не смог решить важнейших противоречий, и Балканский полуостров остался местом международной напряженности, которая в дальнейшем привела к Балканским войнам 1912-1913 г. и первой мировой войне 1914-1918 г.

А. Дебидур писал: «В Берлинском трактате прежде всего поражает то, что он словно создан не для обеспечения всеобщего мира, а с целью перессорить все великие и даже многие мелкие европейские державы»².

Следствием Берлинского конгресса можно считать оккупацию англичанами Кипра, населенного греками, и захват Австро-Венгрией славянских областей Боснии и Герцеговины.

В России решения конгресса были встречены с крайнем неудовольствием не только славянофилами, но и большинством леволиберальных деятелей. Противоречия с Англией и Австро-Венгрией, а также разочарование в бывшем союзнике Германии привело Россию к сближению с Францией, а потом и к военному союзу с ней.

В результате I-й и II-й мировых войн балканским славянам удалось создать независимые государства, опирающиеся на союз с наследником Российской империи — Советским Союзом. Распад Союза вновь привел к обострению положения на Балканах.

¹ Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814-1878 г. Ростов на Дону, 1995 г. Том II с. 455.

² Там же с. 465.

Падучие звездочки

Небо философии безбурно. А у Вл. Соловьева всегда ветер. И звезды в этом философском небе вечны, а «все сочинения» Вл. Соловьева были «падучие звездочки» — и каждая переставала гореть почти раньше, чем вы успевали сказать желание.

В. В. Розанов

В 1869 году в издаваемой В. В. Кашпиревым «Заре» вышла книга Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». Свой труд Данилевский посвятил национально-государственному бытию России и славянства, их положению в мире, в истории, их будущему.

Не отрицая единства человечества, Данилевский указал на то, что общность человечества составляют отдельные, самобытные, относительно замкнутые «культурно-исторические типы», к которым относятся «всякое племя или семейство народов, характеризующееся отдельным языком или группой языков, довольно близких между собою»¹, причем начала любой цивилизации вырабатываются каждым типом самостоятельно «при большем или меньшем влиянии чуждых ему предшествующих или современных цивилизаций»². Каждый народ или культурно-исторический тип самодостаточен, развивается индивидуально, имеет для своего развития не только пространство, но и время, то есть не бесконечно прогрессирует, а как феномен не только социальный, но и природный, проходит жизненный цикл, включающий рождение, расцвет и умирание.

Каждая цивилизация может реализовать себя в одной или нескольких из четырех сфер бытия — религиозной, культурной, политической, общественно-экономической, но ни один из «культурно-исторических типов», известных в истории, не смог реализоваться во всех четырех сферах.

Такой возможностью, по мнению Данилевского, обладает лишь славянский тип, идущий на смену одряхлевшему романо-германскому. Однако для решения этой мировой задачи славянство должно преодолеть тяжелую болезнь, выявленную еще старыми славянофилами и получившую у Данилевского название «европейничанье».

¹ Данилевский Н. Я. «Россия и Европа». М., 1991, с. 91.

² Данилевский Н. Я. Там же, с. 91.

Идеальным политическим условием для реализации всех возможностей славянства была бы федерация славянских народов со столицей в Константинополе. Однако образование подобного союза и предшествующее ему освобождение славян от турецкого и германского ига неизбежно, по мнению Данилевского, привело бы Россию и славян к войне с Западом, который уже объединялся и вступал на антиславянской основе в союз с исламской Турцией в период Крымской войны и на Берлинском конгрессе.

Сразу после выхода в свет «Россия и Европа» не имела сколько-нибудь значительного отклика. Произошло это отчасти потому, что «Данилевский обладал нестандартным мышлением, мало схожим с академическим философствованием»³ / последнее вообще черта русской мысли — А. Е. /, но, главным образом, книга Данилевского не была сразу воспринята современниками потому, что «для русских литераторов (почти без исключения) существует пункт, на котором они все сходятся. Пункт этот, как ни странным покажется этот факт, — отрицание возможности самостоятельности русской и славянской культуры»⁴. Эти слова знаменитого историка К. Н. Бестужева-Рюмина следует отнести не только к «литераторам», но и к большинству образованного общества России. Правда К. Н. Бестужева-Рюмина подтвердилась и весьма наглядно, после того, как «Россия и Европа» была замечена (не в последнюю очередь благодаря усилиям Н. Н. Страхова) и уже после смерти Данилевского вокруг нее развернулась страстная полемика, в которой яростным антагонистом идей, изложенных Данилевским и защищаемых Страховым, выступил знаменитый философ Владимир Сергеевич Соловьев.

Статьи Соловьева, посвященные борьбе с наследием Данилевского и вообще с идеологией русского почвенничества 70-80-х годов, вошли в сборник «Национальный вопрос в России», имевший значительный резонанс.

В своей критике, как отметил С. И. Бажов, Соловьев выдвинул два типа аргументов — «ценностные и конкретно-научные»⁵.

³ Авдеева Л. Р. Русские мыслители. М. 1992, с. 180.

⁴ Бестужев-Рюмин К. Н. Теория культурно-исторических типов // Данилевский Н. Я. «Россия и Европа». Спб., 1995.

⁵ Бажов С. И. Идеиная борьба вокруг Философско-исторической доктрины Н. Я. Данилевского в России XIX в. / Из истории религиозной философии в России XIX — нач. XX вв., М, 1990, с. 59.

Теория «культурно-исторических типов» как концепция развития цивилизации не соответствует, по мнению В. С. Соловьева, выводам исторической науки, зато дает идеологическое обоснование национализму, и вместе с указанием на возможность борьбы с Западом не только безнравственна, но и прямо направлена против христианства как универсальной религии.

Чрезвычайно одаренный, с мощным полемическим темпераментом, не связанный с какой-либо партией или группой, выступающий с позиций христианской этики Соловьев, безусловно, был наиболее сильным из критиков идей Данилевского, но, возможно, именно благодаря его выдающимся дарованиям сейчас, по прошествии века, еще более отчетливо видна поверхностность, необъективность и «партийность» этой критики.

Следует отметить, что конечная цель всего спора о наследии Данилевского сформулирована Соловьевым довольно пресно и смутно. Если эта цель, по определению самого философа, состоит лишь в том, чтобы показать, что «культурно-исторических типов» Данилевского вовсе не существовало и не существует в действительности»⁶ и развитие цивилизации есть единый процесс, то научная действительность XX века опровергла его, ибо историческая наука в лице наиболее знаменитых своих представителей исходит из круга идей, высказанных Данилевским. Достаточно упомянуть О. Шпенглера, П. Сорокина, А. Тойнби, Л. Гумилева. Более того, не прошло и четверти века после смерти Соловьева, как либеральнейший А. Кизеветтер писал: «Мы, историки, с теорией единого процесса не согласны. У каждого народа свой цикл развития, своя судьба. Мы наблюдаем чрезвычайное разнообразие конфигураций»⁷.

Видимо, прав был В. Ф. Эрн, писавший, что «В. Соловьев в своем «Национальном вопросе» и не ставил себе задачей решать вопрос, хороши или дурны славянофильские взгляды (особенно философские), а просто сокрушал ребра Каткову и К^о»⁸, т.е. задача Соловьева состояла не в поисках истины, а в «сокрушении ребер», дискредитации оппонентов.

Общая оценка Соловьевым «России и Европы» совершенно уничтожительна. «Эта книга, в сущности, могла представлять собою лишь

⁶ Соловьев В. С. Сочинения. Т. I — М. 1989, с. 180.

⁷ Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М. 1992, с. 21.

⁸ Эрн В. Ф. Сочинения. — М. 1991, с. 114.

литературный курьез, за который она и была при своем появлении признана всеми компетентными людьми.»⁹ В частной переписке философ высказывался еще резче, называя работу Данилевского «Кораном всех мерзавцев и глупцов»¹⁰.

Остается, однако, не совсем ясным, каких именно компетентных людей имеет в виду Соловьев. Возможно, это его соученик по гимназии Н. И. Кареев, либеральный историк-позитивист, автор критической в отношении «России и Европы» и близкой по системе доказательств к работам Соловьева статьи «Теория культурно-исторических типов.»¹¹ Но понятно, что к людям «компетентным не относятся ни Ф. Тютчев, ни И. С. Аксаков, ни К. Леонтьев, ни К. Н. Бестужев-Рюмин, ни Ф. М. Достоевский, считавший, что «Россия и Европа» — «будущая настольная книга всех русских»¹².

Главный недостаток «России и Европы», по убеждению Соловьева, носит не научный, а религиозно-нравственный характер, ибо эта книга есть отречение славянофильства от христианского универсализма ради племенного национализма, т.е. «вырождение славянофильства» (термин Соловьева). Действительно, идея славянства понимается Данилевским иначе, чем старыми славянофилами.

Он полагал, что славяне не предназначены обновить мир, найти для человечества окончательного решения исторических задач, синтезировать культуру Востока и Запада во «всечеловеческую» — все это представлялось ему чуждым и ненужным утопизмом. Славяне — это особый, молодой, а значит, потенциально более продуктивный культурно-исторический тип в сравнении с соседним дряхлеющим романо-германским типом.

Следует, однако, остановиться на соответствии самого Соловьева тому высокому назначению, с вершины которого он обрушивал молнии своего гнева на головы оппонентов, т.е. на его христианстве.

По мнению философа, не высказанному с полной ясностью, но явно следующего из хода его мыслей, Православие не содержит всей полноты христианства, а лишь часть христианской истины, которой обладают и католицизм, и даже протестанты. Будущее объединение всех ветвей христианства перед лицом Антихриста патетически описа-

⁹ Соловьев В. С. Сочинения. Т. I — М. 1989, с. 534.

¹⁰ Соловьев В. С. Письма. Т. I — СПб., 1908, с. 59-60.

¹¹ Кареев Н. И. Сочинения Т. II — СПб., 1912.

¹² Достоевский Ф. М. ПСС, Т. 29 кн. I.

но Соловьевым в знаменитых «Трех разговорах», точнее, в их конце, в так называемой «Повести об Антихристе». Вообще, латинские пристрастия Соловьева давно уже не новость, однако не часто упоминается то, что следствием этих пристрастий был не только бесцветный экуменизм, но и часто прямое отрицание Православия.

Впрочем, в свое время Данилевский в статье «Г-н Владимир Соловьев о православии и католицизме» указал на симпатию Соловьева к Церкви западной и антипатию к восточной¹³.

В «Национальном вопросе в России» критическое отношение Соловьева к Вселенскому Православию и живой православной традиции в России стало еще более откровенным: «Для христианского народа внешняя мирская культура может дать цвет, а не плод жизни. Этот последний должен быть выработан более глубокой и всеобъемлющей духовной или религиозной культурой. Но именно в этой высшей области мы и остаемся совершенно бесплодны», — и еще: «несмотря на личную святость отдельных людей, несмотря на религиозное настроение всего народа, наша религиозная бесплодность происходит от неправильного положения нашей церкви и, прежде всего, от ее обособленности и замкнутости, не допускающей благотворного воздействия чужих религиозных сил.»¹⁴

Понятно, что если не смотреть на «святость отдельных людей» и «религиозное настроение всего народа», то, конечно, появится тяга к ликвидации «замкнутого положения» церкви для «благотворного воздействия чужих религиозных сил». Однако всякий, мало-мальский знакомый с христианской традицией, в том числе традицией западной, легко увидит, что тезис Соловьева диаметрально противоположен и учению Церкви, и церковной практике. В России с первых веков христианства светочи Православия от Феодосия Печерского до современников Соловьева Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Иоанна Кронштадтского как раз старались оградить Русь от воздействия чужезверия, из ко- его произошли уния, с ее страшными гонениями на православие и русскую народность, «ересь жидовствующих» с бросанием икон в отхожие места, масонство, редстокизм и так до откровенного сатанизма.

О бесплодности русского Православия философ рассуждал как раз в то время, когда не только история русской церкви, но и цер-

¹³ Данилевский Н. Я. Сборник политических и экономических статей. Спб., 1880, с. 295.

¹⁴ Соловьев В. С. Сочинения. Т. I — М., 1989, с. 291.

ковная современность (например, Оптиная пустынь, где Соловьев бывал) свидетельствовали о богатых плодах русской православной духовности.

Идеалом же политика и человека Соловьев считал Императора Петра I, который, по его утверждению, «действительно любил Россию, то есть сострадал ее действительным нуждам и бедствиям, происходящим от невежества и дикости. Против этих действительных нужд и бедствий он обратился к действительным средствам — европейской цивилизации»¹⁵.

Не вдаваясь в подробное описание деятельности Петра, следует указать лишь на его церковную политику, которая первая должна определять отношение христианина к государственному деятелю. Петр отменил патриаршество, заменив его Св. Сидоном, поставив тем самым Церковь в полное подчинение светской власти (между прочим, именно это подчинение, по мнению Соловьева, — один из главных грехов Русской Церкви). Петр преследовал монашество, закрывая одни монастыри, а другие рассчитывал превратить в больницы и богадельни, принуждал священников к нарушению тайны исповеди. Наконец, Петр вывел образование из-под надзора Церкви, сделал его сугубо светским и передал в руки инославных. (Я уж не говорю о вакханалии «Всешутейшего Собора» с его высмеиванием священных обрядов).

Все вышесказанное позволило Г. Флоровскому назвать время Петра «началом вавилонского пленения»¹⁶ русской Церкви. Почему же деятельность «большевика на троне» (по выражению Бердяева) казалось Соловьеву вполне нравственной, а идеи Данилевского годными лишь для «мерзавцев и глупцов»?

Очевидно, это происходило потому, что основой соловьевского «христианского» взгляда на историю был тезис о едином процессе, главное содержание которого заключалось в усвоении народами «универсальных начал», источником и носителем которых является Запад. «Нужно усвоить все общечеловеческие формы жизни и знания, которые выработаны в Западной Европе»¹⁷. Усвоение этих «универсальных начал» должно, по мнению философа, соединяться с умалением или даже исчезновением народного своеобразия, ибо «народность яв-

¹⁵ Там же с. 273.

¹⁶ Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж. 1937, с. 89.

¹⁷ Соловьев В. С. Сочинения. Т. I. М., 1989, с. 262.

лялась доселе, по преимуществу, как сила дифференцирующая и разделяющая. Между тем, разделяющие и обособляющие действия народности противоречат всеединяющим началам христианства».¹⁸

Мнение об усвоении народами идей и понятий, рожденных на Западе и объявленных «универсальными», как единственно верном пути развития человечества — основа космополитических доктрин, вроде масонской или марксистской. Зато попытка обосновать этот тезис всемирностью христианства и опереться на нравственный авторитет учения Христа абсолютно лжива. Для Бога человечество — это единство народов. «Когда ... сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы» (Мф. 25. 32.). И именно взгляд Данилевского на человечество как на сообщество «соборных личностей» — народов, взгляд христианский, в корне отличный от «двух путей к одному обрыву», т.е. от космополитизма, с его уничтожением всякого национального своеобразия, и от национализма, с его абсолютизацией этого своеобразия, или приданием этому своеобразию ранга «всемирности» и «универсальности».

Данилевский страстно отстаивал ту истину, что общечеловеческого, в понимании этого термина европейцами XIX в., нет вообще, но есть «всечеловеческое», состоящее из «совокупности всего народного во всех местах и временах»¹⁹. Все лучшее всегда создается на конкретной, национальной почве и не отдельными «гражданами мира», а представителями народов, реализующими свои духовные и творческие потенции в рамках определенных культурно-исторических типов. Развитие цивилизации происходит не от замены множества цивилизаций одной, а реализацией всех возможностей, заложенной в каждой из них, и сумма общих достижений составляет как раз цивилизацию мировую.

Особенно актуален этот тезис в сфере культуры, где замена множества культур культурой (а в действительности ее суррогатом) одного культурно-исторического типа, утрата национального своеобразия как источника развития ведет к унификации культуры, превращению ее в утилитарно-секулярное «зрелище», добавленное к «хлебу», в отвратительный, примитивный эрзац.

Действительная культура не может появиться без осознания народом своей единственности, непохожести на других, особенности своей миссии на земле, что и придает смысл его существованию.

¹⁸ Там же. С. 206.

¹⁹ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. 1991. С. 211.

Это, конечно, не означает отрицание или умаление чужого. Быть культурным человеком и культурным народом — это не значит подражать кому-либо, но значит быть самим собою. Но быть самим собою для России и русских, по мнению Соловьева, преступление.

«Будем сами собою — вот, в конце концов, все, что нам нужно, по его (т.е. Страхова и защищаемого им Данилевского) мнению. Значит, нам нечего думать ни о каком существенном, коренном улучшении нашей жизни»²⁰. Совершенно не ясно, почему желание «быть самим собой» значит то, что «нечего думать» об улучшении жизни, пусть даже коренном. Удивительно, что это желание Соловьев считал для России вредным и ненужным. Удивительно и то, что человек, именующий себя православным, считает, что православному народу пагубно «оставаться самим собой». Удивительно и то, что подобный тезис, спорный даже для людоедов африканских лесов, мог звучать как обвинительный аргумент в культурнейшей и либеральной (даже слишком) России XIX в. И если не быть собою, то кем?

Для решения возложенных Богом на Россию задач Соловьев, как лучшее средство, рекомендует национальное отречение, считая, что все лучшее в русской истории связано именно с этим. Но и Данилевский не отрицал возможности подобного акта, однако, по его мнению, «даже самоотречению и самопожертвованию, этим величайшим нравственным подвигам, как и всему на свете, есть предел и мера — истина»²¹.

Эту меру Россия соблюла, преодолев специфический церковный национализм в борьбе с расколом и не смогла соблюсти в 1917 году, когда политика Ленина, этого великого отрицателя национальных интересов, ради всемирной, нравственной задачи освобождения угнетенных, привела к неслыханному в новой истории террору. Большевизм, в конечном счете, только наиболее агрессивная и откровенная часть западного универсализма с пиететом к научному знанию и пафосом социального переустройства мира. Осмелюсь предположить, что политика национальных интересов Александра III и Николая II нравственной и гуманней политики национального отречения не только людей из «пломбированных вагонов», но и болтливых многоликих февралистов, полгода правления которых вполне хватило, чтобы абсолютное большинство русской интеллигенции, оказавшееся в эмиграции, на земле

²⁰ Соловьев В. С. Сочинения. Т. I. М. 1989, с. 547.

²¹ Данилевский Н. Я. Сборник политических и экономических статей. С. 281.

«всеобщих прав и свобод» перестало быть и либеральным, и западничеством.

Поэтому утверждение Соловьева о том, что предпочтение конкретных национальных интересов перед абстрактными «общечеловеческими» ведет к занижению нравственных требований и, в конце концов, доходит до утверждения полного эгоизма как единственной, действительной, конкретной ценности, неверно, ибо не учитывает главного, а именно религиозного сознания как всего народа, так и носителей власти.

Особенно безнравственной и «наивно макиавеллистической» казалась Соловьеву та часть рассуждений Данилевского, где говорилось о будущей борьбе России и Запада. В этих рассуждениях, по мнению философа, особенно отчетливо проявилась у Данилевского националистическая жажда завоеваний. «При скудости и несостоятельности наших духовных и культурных сил, притязания наши и ясны, и определены, и велики,»²² — писал он. Однако уже Кизеветтер, специально разобравший эту тему, писал про «отсутствие какого-либо империализма»²³ у славянофилов всех поколений.

Культурную несостоятельность России, особенно России XIX века, а также несостоятельность духовную (т.е. религиозную) как раз в сравнении с Европой, к этому времени уже не католической и не протестантской, а просто антихристианской, нет нужды комментировать. Характерно, что даже Н. А. Бердяев, мыслитель довольно близкий к Соловьеву, особенно в национально-религиозных вопросах, признавал, что «русское восточничество, русское славянофильство было лишь прикрытой борьбой духа религиозной культуры против духа безрелигиозной цивилизации»²⁴.

«Ясные, определенные и великие притязания» сводились, в конечной счете, к освобождению славянского и христианского населения Балкан и Кавказа от немецкого и особенно от турецкого ига, что Россия и сделала ценою огромных усилий и жертв. Европа, эта носительница «гуманных начал», и особенно старейшая западная демократия — Англия — поддерживали турок, совершающих немыслимые зверства в подвластных им христианских землях. Сошлюсь на сюжет из знаменитой

²² Соловьев В. С. Сочинения. Т. I. М. 1989.

²³ Кизеветтер А. А. О славянстве. // Славяноведение. № 4. 1994, с. 14.

²⁴ Бердяев Н. А. Предсмертные мысли Фауста // Освальд Шпенглер и «Закат Европы». М. 1922, с. 66.

работы самого Соловьева «Три разговора», где генерал, участник войны с Турцией, рассказывает об одном из эпизодов этой кампании.

«Огромный обоз с армянами, и они (турки) его захватили и хозяйничали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Женщина навзничь на земле, а перед ней шест вбит, и на нем младенец голый привязан — ее сын, наверное, — весь почерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потухшими углями валяется».²⁵

Ради этих вот турок, а значит, против этой женщины и ее ребенка, Европа посылала свой флот в Дарнеллы, вела войну с Россией в Крыму, заседала на Берлинском конгрессе. И эти образцы самой отвратительной племенной политики, самого циничного макиавеллизма, самого откровенного шовинизма, причем с явственной примесью антихристианства, философ прощал ради пошлейшего либерального пустословия об «общечеловеческом».

Европа, ради гуманных «универсальных» начал, борясь с русской дикостью и московитским азиатским деспотизмом, имея в авангарде романский народ — французов, во главе с Наполеоном вторглась в Россию в 1812 году. А покидая сгоревшую Москву, гуманные «культуртрегеры» собирались взорвать Кремль, святыни которого были превращены в конюшни. «Русским дикарям», вступившим в 1815 году в Париж, почему-то не пришло в голову взорвать собор Парижской Богоматери или Лувр.

Те же гуманные «универсалисты» в 1941 году, имея в авангарде германский народ, вновь вторглись в Россию. После этой неудачи, «благодарные» за освобождение от Гитлера, европейцы во главе с англосаксами вновь начали борьбу с Россией.

Война с Западом у Данилевского — война оборонительная, это защита и спасение славян от вождедений европейских универсалистов, идущих на смену универсалистам турецким. Прав был Н. Страхов, когда писал, что «во всей книге Данилевского, во всех его соображениях никогда, ни разу не встречается совета кому-нибудь вредить, кого-нибудь ненавидеть, изготавливать для кого-нибудь зло и гибель» и «Европа нам враждебна, но ему /Данилевскому — А.Е./ и в мысль не приходит сказать, что нужно ей в этом подражать и что мы должны быть враждебны Европе»²⁶. Именно Европа враждебна России и славян-

²⁵ Соловьев В. С. Собр. Соч., с. 479-4480.

²⁶ Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Спб. 1896. Кн. 3, с. 191.

ству, а не наоборот. Эта вражда, следствие убежденности европейцев в абсолютности и универсальности своей культуры и своей формы политического бытия, в чем, кстати, они полностью сходились с жителями «серединной империи» — китайцами, считавшими лишь свою культуру действительной, а все остальные народы — варварами. (Так что противопоставление Европы и Китая у Соловьева неверно).

Сомнительной, или, во всяком случае, требующей объяснений представляется и мысль С. И. Бажова о том, что война с Западом понималась Данилевским в качестве реализации «религиозно-догматического тезиса»? Конфликта «избранного» народа с «народом не избранным»²⁷. И, хотя идея священной войны присутствует в христианстве, но уж точно не в форме догмата. «Джихада» в православии нет.

Для оценки методов ведения полемики Соловьевым особенно характерна его статья «Немецкий подлинник и русский список» (1890 г.), где Соловьев, сравнивая работы профессора университета в Бреслау (совр. Братислава) Г. Рюккерта и Данилевского, пытается доказать, что русский мыслитель, в лучшем случае, лишь слабый интерпретатор мыслей ученого немца, из трудов которого заимствованы «основные мысли нашего панслависта /т.е. Данилевского — А. Е./». Тождество терминологии и некоторых частных выводов делают такое предположение совершенно для нас несомненным»²⁸.

Таким образом, в учении Данилевского нет ничего самобытного, и он, как мыслитель, целиком зависит от второстепенного немецкого профессора. Это утверждение Соловьева многие десятилетия повторялось, да и повторяется сейчас.

Между тем, Страхов посвятил этой теме специальную статью²⁹, которая и закрыла бы ее, если бы эту работу потрудились прочитать и отнеслись к ее аргументам хоть с малой долей объективности. Но, увы, слишком высок авторитет Соловьева и слишком известен Страхов как «националист» и т.д.

В 1954 году, может быть, самый известный западный ученый, занимающийся наследием Данилевского, Р. Мак-Мастер, опубликовал статью, в которой, сверив тексты Данилевского и Рюккерта, доказал не только полную самостоятельность русского мыслителя, но и выяс-

²⁷ Бажов С. И. Указ. соч., с. 41.

²⁸ Соловьев В. С. Сочинения. Т. I. М. 1989, с. 563.

²⁹ Страхов Н. Н. Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского / Русский вестник. Спб. 1894, № 10, с. 154-183.

нил, что Соловьев «неожиданно повел себя легкомысленно и для доказательства собственной правоты пошел даже при переводе на русский язык на некоторое «редактирование» текстов Г. Рюккерта, что сильно изменяло их смысл».³⁰

«Легкомыслие» Соловьева косвенно подтверждается и тем фактом, что критикам О. Шпенглера и его «Заката Европы», книги, идейно близкой к «России и Европе» Данилевского, не приходило в голову обвинять знаменитого немца в заимствованиях у своего соотечественника Рюккерта (хотя он обвинялся в заимствованиях даже у араба Ибн Хал Дуна и у того же Данилевского). Строго говоря, различные догадки, которые можно было бы считать в той или иной степени предшествующими выводам Данилевского, можно найти у многих европейских мыслителей, начиная с Дж. Вико. Из русских нечто похожее на Данилевского писали Герцен и Аполлон Григорьев. Последний, между прочим, излагал свои мысли даже в близкой Данилевскому естественно-научной манере: «...Человечество! Это абстрактное человечество худо понятого гегелизма, человечества, которого, в сущности, нет, ибо есть организмы растущие, стареющие, перерождающиеся, но вечные: народы».³¹

Однако формула, фундамент идеи существования «культурно-исторических типов» как структурной основы развития человеческого общества и понимание цивилизации как дискретной общности — несомненная заслуга Данилевского. Эта идея стала господствующей в науке XX века и ни критика, иногда верная в частностях, ни дополнения, внесенные различными учеными и целыми направлениями мысли (напр. евразийцами), не изменили самого принципа, открытого Данилевским.

Константин Леонтьев писал о Данилевском, которого считали своим учителем, что «замечательный человек этот, скончался, не доживши не только до заслуженной славы, но и до справедливой оценки большинства своих русских сограждан»³², а ведь он дал «умственный фундамент... общий очерк плана, представил, как самим развивать, что можем, дальше, не выступая из основных его границ»³³.

³⁰ Пивоваров Ю. С. Н. Я. Данилевский. Проблемы целостности этико-политических воззрений // Русская политическая мысль второй половины XIX в., 1989, с. 37.

³¹ Григорьев А. А. Эстетика и критика. М. 1980, с. 258.

³² Леонтьев К. Н. Избранное. М. 1983, с. 204.

³³ Леонтьев К. Н. Там же. С. 227.

К сожалению, соловьевская критика «России и Европы» сильно влияла на современников³⁴ и продолжает влиять и поныне. «С современной точки зрения «западнические» аргументы В. С. Соловьева выглядят более весомыми»³⁵, — утверждает С. И. Бажов. Он же пишет: «Соловьев справедливо отметил существование негативного потенциала, заключенного в абсолютизации национальных интересов»³⁶.

Действительно, справедливо, но у Данилевского нет абсолютизации этих интересов. Он был славянофилом в широком понимании этого термина, но не был ни панруссистом, ни националистом. Конечно, к «Национальному вопросу в России» восходит и утверждение Л. Р. Авдеевой о том, что «касаясь вопроса о роли и значении религий, Данилевский допустил отступление от своей теории, от идеи множественности и своеобразия культурных миров»³⁷. Это ложное утверждение было, с моей точки зрения, достаточно убедительно опровергнуто еще Н. Страховым³⁸.

В яростной полемике с почвенниками Соловьев предстал не как религиозный мыслитель, а как пошлейший западник и недобросовестный публицист. Чего стоит его сближение с кругом либералов типа М. Стасюлевича, или фразы, часто противоречащие его собственным писаниям, например, утверждение, что «странствующие греческие монахи, в оплату за московское жалованье, подарили Москве этот титул Третьего Рима»³⁹.

А как же старец Филофей, или знаменитые строки самого Соловьева: «И Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть». Именно за «Национальный вопрос в России» Соловьев попал в ленинский план монументальной пропаганды (в последнюю минуту вождь мирового пролетариата вычеркнул фамилию философа из этого списка).

Большевистские критики в лице А. Деборина и М. Покровского, в сущности, лишь повторили обвинения, высказанные против Данилев-

³⁴ Фудель И. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимоотношениях // Русское обозрение. 1892, № 10, с. 29.

³⁵ Бажов С. И. Указ. соч. С. 54.

³⁶ Бажов С. И. Указ. соч. С. 59.

³⁷ Авдеева Л. Р. Указ. соч. С. 99.

³⁸ Страхов Н. Н. Наша культура и всемирное единство // Русский вестник. 1888, № 6.

³⁹ Соловьев В. С. Сочинения, с. 416.

ского Соловьевым, делая упор на пресловутые «национализм и панславизм». Это же относится к либеральной критике, правда у либерала П. Н. Милюкова соловьевское «вырождение славянофильства» заменилось «разложением», причем в разложенцы попал и сам Соловьев. Западные ученые также в своих оценках трудов Данилевского в значительной мере ориентируются на Соловьева. (Подробнее об этом см. Ю. С. Пивоваров «Н. Я. Данилевский. Проблемы целостности этико-политических воззрений». В сб. Русская политическая мысль второй половины XIX века. М. 1989).

Уведя мысли русской интеллигенции, пробудившиеся для обращения к Христу после кошмарного нигилистического сна 60-70-х годов, в софиологический гностицизм, Соловьев и во взглядах на национально-государственное бытие России не стал патриотом, даже в самом широком толковании этого термина. Предпочтя Первый Рим Третьему, он, однако, не сделался католиком, как В. С. Печерин или князь Гагарин, а был то «внецерковным христианином», то «верующим православным западником», то юдофильствующим сверхэкуменистом.

Интерес «Национального вопроса в России» состоит вовсе не в критических замечаниях в адрес славянофилов, а именно в выявлении невозможности любого совмещения действительной православной церковности с западничеством мироощущением.

В. Розанов заметил, что «ни один труд западнического лагеря не может сравниться с книгой Данилевского по сложности, по силе развиваемой мысли»⁴⁰.

Это в полной мере относится к «Национальному вопросу в России».

А. В. Ефремов.

⁴⁰ Розанов В. В. Избранное. М. 1990.

СОДЕРЖАНИЕ

СТЕЗЯ НИКОЛАЯ ДАНИЛЕВСКОГО	
<i>А. В. Ефремов</i>	5
РОССИЯ И ФРАНКО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА	19
ВОЙНА ЗА БОЛГАРИЮ	54
Чего мы вправе благоразумно желать	
от исхода настоящей войны	54
Как отнеслась Европа к русско-турецкой распре	66
Проливы	79
Константинополь	99
I Конференция, или даже конгресс	115
II Парижский трактат 1856 г.	117
III Формальная обязательная сила	
Парижского трактата	127
IV Общеввропейские интересы	143
ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ!	180
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ КОНСТИТУЦИОННЫХ	
ВОЖДЕЛЕНИЙ НАШЕЙ «ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ»	276
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШЕГО НИГИЛИЗМА	288
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ О ПРАВОСЛАВИИ И КАТОЛИЦИЗМЕ	336
ПРИМЕЧАНИЯ	
<i>А. В. Ефремов</i>	384
ПРИЛОЖЕНИЕ	
<i>А. В. Ефремов</i>	398
Берлинский конгресс	398
Падучие звездочки	400

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Николай Яковлевич Данилевский

ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ Политические статьи

Научный редактор *А. Н. Буханов*

Редактор *Р. Е. Алейников*

Технический редактор *В. М. Родин*

Корректор *Л. Я. Антонова*

Издательство «Алир»

ГУП «Облиздат»

ЛР № 040837 от 20.08.97

Ответственный за издание *Г. А. Скубылин*

Подписано в печать 22.03.98. Формат 60х84/16. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура Radge. Усл.-печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 24,32.
Тираж 3000 экз. Заказ № 55. Изд. № 20.

Отпечатано с оригинал-макетов заказчика в типографии
ГУП «Облиздат», г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, тел. 57-40-70.